

# БАЛЪЗАК

ОНОРЕ ДЕ



Книга должна быть возвращена  
в библиотеку по указанному адресу

Количество предыдущих выданных \_\_\_\_\_

298 - 19

и(а)р  
520

Б.О.

№19, 212

Оноре де Бальзак



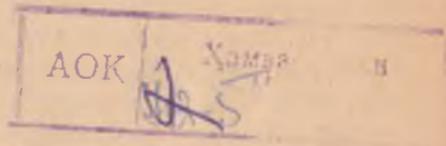
# ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ

Роман. Рассказы

пр 05



9272



~~1691~~

МАТИШ КЭЛ  
АХБОРОТ-РЕСУР  
МАРКАЗИ

~~1031~~



МОСКВА

МОСТЭП и К 1992

ББК 84.4.фр.  
Б21 .

Пер. с французского

И 4703010100 - 91  
К32(03)-92

ISBN 5-88536-003-0

## ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ

РОМАН

*Марии*

*Имя ваше, имя той, чей портрет лучшее украшение этого труда, да будет здесь как бы зеленой веткою благословенного букса, сорванною неведомо где, но, несомненно, освященною религией и обновляемою в неизменной свежести благочестивыми руками во хранение дома.*

*Де Бальзак.*

Бывают в иных провинциальных городах такие дома, что одним уже видом своим наводят грусть, подобную той, какую вызывают монастыри самые мрачные, степи самые серые или развалины самые унылые. В этих домах есть что-то от безмолвия монастыря, от пустынности степей и тления развалин. Жизнь и движение в них до того спокойны, что пришельцу показались бы они необитаемыми если бы вдруг не встретился он глазами с тусклым и холодным изглядом неподвижного существа, чья полумонашеская физиономия появилась над подоконником при звуке незнакомых шагов. Этими характерными чертами меланхолии отмечен облик жилища, расположенного в верхней части Сомюра, в конце кривой улицы, что поднимается в гору и ведет к замку. На улице этой, ныне малолюдной, летом жарко, зимой холодно, местами темно даже днем; примечательна она звонкостью своей мостовой из мелкого булыжника, постоянно сухой и чистой, узостью извилистого пути, тишиною своих домов, принадлежащих к старому городу, над которым высятся древние городские укрепления. Трехвековые эти постройки, хотя и деревянные, еще крепки, и разнородный внешний вид их способствует своеобразию, привлекающему к этой части Сомюра внимание любителей старины и людей искусства. Трудно пройти мимо этих домов и не полюбоваться огромными дубовыми брусьями,

концы которых, вырезанные причудливыми фигурами, увеличивают черными барельефами нижний этаж бедноты этих домов. Перекрестные балки покрыты шифером и вырисовываются синеватыми полосами на ветхих стенах здания, завершенного деревянной островерхой крышей, осевшей от времени, с гнилым гонтом, покоробленным от переменного действия дождя и солнца. Кое где виднеются подоконники, затертые, потемневшие, с едва заметной тонкой резьбой, и кажется, что им не выдержать тяжести темного глиняного горшка с кустиками гвоздик или роз, выращенных какой-нибудь бедной труженицей. Далее бросится в глаза узор из огромных шляпок гвоздей, вбитых в ворота, на которых гений предков наших начертал семейные иероглифы, смысл коих никому не разгадать. Не то протестант изложил здесь свое исповедание веры, не то какой-нибудь член Лиги проклял Генриха IV. Некий горожанин вырезал тут геральдические знаки своего именитого гражданства, своего давно забытого славного звания купеческого старшины. Тут вся целиком история Франции. Бок о бок с шатким домом, стены которого покрыты грубой штукатуркой, увековечившей труд ремесленника, возвышается особняк дворянина, где на самой середине каменного свода ворот еще видны следы герба, разбитого революциями, потрясавшими страну с 1789 года. На этой улице нижние этажи купеческих домов заняты не лавками и не складами; почитатели средневековья могут здесь найти неприкосновенным лабаз наших отцов во всей его откровенной простоте. Эти низкие просторные помещения без витрин, без нарядных выставок, без расписных стекол, лишены всяких украшений, внутренних и наружных. Тяжелая входная дверь грубо обита железом и состоит из двух частей: верхняя откидывается внутрь, образуя окошко, а нижняя, с колокольчиком на пружине, то и дело отворяется и закрывается. Воздух и свет проникают в это подобие сырой пещеры или через фрамугу, вырезанную над дверью, или через проем меж сводом и низенькой, в высоту прилавка, стенкой,— там в пазах укрепляются крепкие внутренние ставни, которые по утрам снимают, а по вечерам ставят на место и задвигают железными засовами. На этой стенке раскладываются товары. И здесь уж не пускают пыль в глаза. Смотря по роду торговли, образцы состоят из двух или трех кадров, доверху наполненных солью и треской, из нескольких тюков парусного полотна, из канатов, из медной посуды, подвешенной к потолочным балкам, из обручей, поставленных вдоль стен, из нескольких штук сукна на полках. Войдите. Опрятная молоденькая девушка, пышущая здоровьем, в белоснежной косынке, с красными руками, оставляет вязанье, зовет мать или отца. Кто-нибудь из них выходит и продаст что вам требуется,— на два су или на двадцать тысяч товару, держась при этом равнодушно, любезно или высокомерно, смотря по характеру. Вы увидите — торговец

дубовыми досками сидит у своих дверей и перебирает большими пальцами, разговаривая с соседом, и по виду у него только и есть, что неказистые доски для бочонков да два-три пучка дранок; а на пристани его лесной двор снабжает всех анжуйских бочаров; он высчитал до единой дощечки, сколько бочек он *осилит*, ежели сбор винограда будет хорош: солнце — и он богач, дождливая погода — он разорен; в одно и то же утро винные бочки стоят одиннадцать франков или падают до шести ливров. В этом краю, как и в Турени, превратности погоды властвуют над торговой жизнью. Зиноградари, землевладельцы, лесоторговцы, бочары, трактирщики, судовщики — все подстерегают солнечный луч; ложась вечером спать, они дрожат, как бы утром не узнать, что ночью морозило; они опасаются дождя, ветра, засухи и хотят влаги, тепла, облаков — что кому наруку. Происходит непрерывный поединок между небом и земной корыстью. Барометр попеременно печаливает, просветляет, озаряет весельем физиономии. Из конца в конец этой улицы, древней Большой улицы Сомюра, слова: «Золотой денек!» — перелетают от крыльца к крыльцу. И каждый отвечает соседу: «Луидоры с неба льются», — понимая, что несет ему луч солнца или дождь, подоспевший вовремя. В летнюю пору по субботам уже с полудня не купить ни на грош товару у этих честных купцов. У каждого свой виноградник, свой хуторок, и всякий дня на два отправляется за город. Тут, когда все рассчитано — покупка, продажа, прибыль, — у торговцев остается десять часов из двенадцати на пикники, на всяческие пересуды, непрестанные подглядывания друг за другом. Хозяйке нельзя купить куропатку без того, чтобы соседи потом не спросили мужа, удачно ли птица зажарилась. Девушке нельзя высунуть голову из окна, чтобы со всех сторон не увидели ее кучки праздных людей. Здесь ведь и душевная жизнь каждого у всех на виду точно так же, как и все события, происходящие в этих непроницаемых, мрачных и безмолвных домах. Жизнь обывателей почти вся проходит на вольном воздухе. Каждая семья усаживается у своего крыльца, тут и завтракает, и обедает, и ссорится. Всякого, кто пройдет по улице, оглядывают с головы до ног. А встарь стоило только чужаку появиться в провинциальном городе, его начинали высмеивать у каждой двери. Отсюда — забавные рассказы, отсюда — прозвище *пересемешники*, данное обывателям Анжера, которые особенно отличались в этих пересудах.

Древние особняки старого города расположены в верхней части улицы, некогда населенной местными дворянами. Угрюмый дом, где протекали события, описанные в этой истории, был как раз одним из таких обиталищ, почтенным осколком былого века, когда вещи и люди отличались той простотою, которую французские нравы утрачивают с каждым днем. Пройдя по этой живописной улице, где каждая извилина пробуждает воспоминания о старине,

а общее впечатление навевает невольную унылую задумчивость, вы замечаете довольно темный свод, в середине которого сокрыта дверь дома *господина Гранде*. Невозможно понять все значение этого словосочетания, не зная биографии г-на Гранде.

Господин Гранде пользовался в Сомюре особой репутацией, и она не вполне будет понята теми, кто не жил хоть короткое время в провинции. Г-н Гранде, все еще именуемый некоторыми «папаша Гранде», хотя число таких стариков заметно уменьшалось, был в 1789 году простым бочаром, но с большим достатком, умел читать, писать и считать. Когда французская республика пустила в продажу в Сомюрском округе земли духовенства, бочар Гранде, которому было тогда сорок лет, только что женился на дочери богатого торговца лесными материалами. Имя на руках свои собственные наличные средства и приданое жены, а всего две тысячи луидоров, Гранде отправился в главный город округа, где благодаря взятке в двести дублонов, предложенной его тестем суровому республиканцу, заведовавшему продажей национальных имуществ, он за бесценок приобрел, если и не вполне законно, то законным порядком, лучшие в округе виноградники, старое аббатство и несколько ферм. Сомюрские обыватели были мало революционны, и папашу Гранде сочли за смелого человека, республиканца, патриота, за умную голову, приверженную новым идеям, тогда как бочар был просто привержен к виноградникам. Он был избран членом административного управления Сомюрского округа, и там его миролюбивое влияние сказалось как в политическом, так и в коммерческом отношении. В политике он покровительствовал бывшим людям и всеми силами противился продаже имений эмигрантов; в коммерции — он снабдил республиканские армии тысячью или двумя тысячами бочек белого вина и сумел добиться, чтобы ему заплатили за них великолепными лугами из владений одного женского монастыря, оставленных для продажи в последнюю очередь. При Консульстве добряк Гранде сделался мэром, управлял хорошо, а собирал виноград и того лучше; во время Империи он уже стал *господином* Гранде. Наполеон не любил республиканцев; г-на Гранде, который слыл за человека, щеголявшего в красном колпаке, он заменил крупным землевладельцем, носившим фамилию с частицею «де», будущим бароном Империи. Г-н Гранде расстался с муниципальным почетом без малейшего сожаления. Он уже успел проложить «на пользу города» превосходные дороги, которые вели к его собственным владениям. Дом и имения Гранде, очень выгодно для него оцененные по поземельной росписи, облагались налогами умеренными. Виноградники его благодаря непрестанным заботам хозяина стали «головкой края» — техническое выражение, обозначающее виноградники, которые дают вино высшего качества. Он мог бы испросить себе крест Почетного легиона. Это и произошло в 1806 году. Г-ну Гранде

было в то время пятьдесят семь лет, а жене его — около тридцати шести. Единственная их дочь, плод законной любви, была тогда в возрасте десяти лет. Г-н Гранде, которого, несомненно, провидение пожелало вознаградить за его служебную опалу, в этом году получил одно за другим три наследства: от г-жи де ла Годиньер, урожденной де ла Бертельер, матери г-жи Гранде; затем — от старика де ла Бертельер, отца покойной тещи; и еще от г-жи Жантийе, бабушки с материнской стороны, — три наследства, размеры которых никому не были известны. Скупость этих трех стариков превратилась в такую сильную страсть, что уже с давних пор они держали свои деньги в сундуках, чтобы тайком любоваться ими. Старик де ла Бертельер всякое помещение денег в оборот называл мотовством, находя больше радости в созерцании золота, нежели в доходах от ростовщичества. Город Сомюр предположительно определял накопления г-на Гранде по его недвижимости. В ту пору Гранде приобрел тот высокий титул, который наше безумное пристрастие к равенству никогда не уничтожит: он стал первостепенным налогоплательщиком округа. У него было сто арпанов виноградника, который в урожайные годы давал ему от семисот до восьмисот бочек вина. Ему принадлежали также тринадцать ферм, старое аббатство, где из бережливости он заштукатурил окна, стрелки сводов и витражи, что их и сохраняло; да еще — сто двадцать семь арпанов лугов, где росли и увеличивались в объеме три тысячи тополей, посаженных в 1793 году. Наконец и дом, где он жил, был его собственностью. Так определяли размеры его состояния, очевидные для всех. Что до его капиталов, то только два лица могли иметь смутное представление об их величине: одним из этих лиц был нотариус Крюшо, постоянный поверенный г-на Гранде по помещению в рост его капиталов; другим — г-н де Грассен, самый богатый сомюрский банкир, в операциях и барышах которого винодел имел долю по тайному соглашению. Хотя старик Крюшо и г-н де Грассен умели хранить тайну, — это в провинции вызывает доверие и выгодно отражается на делах, — однако оба они весьма откровенно оказывали г-ну Гранде столь великое уважение, что наблюдательные люди могли догадаться о внушительных размерах капиталов бывшего мэра по угодливому заискиванию, предметом которого он являлся. В Сомюре все были уверены, что у г-на Гранде припрятан целый клад, что у него есть тайник, полный луидоров, и там он по ночам доставляет себе несказанное наслаждение, созерцая груды накопленного золота. Скупцы чувствовали какую-то уверенность в этом, поглядев в глаза старику Гранде, которым желтый металл как будто передал свои краски. Взгляд человека, привыкшего извлекать из своих капиталов огромные барыши, как и взгляд сластолюбца, игрока или царедворца, неизбежно приобретает некие неопределимые навыки, выражая беглые, жадные, загадочные движения чувств, которые не ускользают

от единоверцев. Этот тайный язык образует в некотором роде франкмассонство страстей. Итак, г-н Гранде внушал всем уважение, как человек, который никогда и никому ничего не был должен, как старый бочар и старый винодел, определявший с астрономической точностью, нужно ли для сбора винограда заготовить тысячу бочек или только пятьсот; как человек, который не упускал ни одной спекуляции, имел всегда на продажу бочки, когда бочка стоила дороже, чем само вино, мог спрятать все свое вино нового урожая в подвалы и выжидать случая сбыть бочку за двести франков, когда мелкие виноделы уступают свои за пять золотых. Его знаменитый сбор 1811 года, благоразумно припрятанный, неспешно проданный, принес ему более двухсот сорока тысяч ливров. В коммерции г-н Гранде был похож на тигра и на боа: он умел лечь, свернуться в клубок, долго вглядываться в свою добычу и ринуться на нее; потом он раззевал пасть своего кошелька, проглатывал очередную долю эку и спокойно укладывался, как змея, переваривающая пищу; все это продлевал он бесстрастно, холодно, методически. Когда он проходил по улицам, все смотрели на него с чувством почтительного восхищения и страха. Каждый в Сомюре испытал на себе вежливую хватку его стальных когтей: такому-то нотариус Крюшо достал у него денег на покупку имения, но из одиннадцати процентов; этому г-н де Грассен учел вексель, но с ужасающим учетным процентом. Редко выдавались дни, когда имя г-на Гранде не упомянулось либо на рынке, либо вечерами в разговорах обывателей. Для иных богатство старого винодела служило предметом патриотической гордости. И не один купец, не один трактирщик говаривал приезжим с некоторой хвастливостью:

— Есть, сударь, тут у нас два или три торговых предприятия миллионных. А уж что до господина Гранде, так он и сам своим деньгам счету не знает.

В 1816 году наиболее искусные счетчики Сомюра оценивали земельные владения старика Гранде почти в четыре миллиона; но так как, по среднему расчету, он за время с 1793 по 1817 год должен был выручать со своих владений по сто тысяч франков ежегодно, то можно было предполагать, что наличными деньгами у него была сумма, почти равная стоимости его недвижимого имущества. И когда после партии в бостон или какой-нибудь беседы о виноградниках заходила речь о г-не Гранде, люди сообразительные говорили:

— Папаша Гранде?.. У папаши Гранде верных шесть-семь миллионов.

— Вы ловчее меня. Мне так и не удалось узнать общей суммы, — отвечали г-н Крюшо или г-н де Грассен, если слышали такой разговор.

Когда засезжий парижанин говорил о Ротшильдах или о г-не

Лафите, сомюрцы спрашивали, так же ли они богаты, как г-н Гранде. Если парижанин с пренебрежительной улыбкой бросал положительный ответ, они переглядывались и недоверчиво покачивали головами. Такое огромное состояние накидывало золотое покрывало на все поступки этого человека. Прежде некоторые странности его жизни давали повод к насмешкам и шуткам, но теперь и насмешки и шутки иссякли. Что бы ни делал г-н Гранде, авторитет его был непререкаем. Его речь, одежда, жесты, мигание его глаз были законом для всей округи, где всякий, предварительно изучив его, как натуралист изучает действия инстинкта у животных, мог познать всю глубокую и безмолвную мудрость его ничтожнейших движений.

— Суrowая будет зима,— говорили люди,— папаша Гранде надел меховые перчатки. Нужно убирать виноград.

— Папаша Гранде берет много бочарных досок,— быть в этом году вину.

Г-н Гранде никогда не покупал ни мяса, ни хлеба. Его фермеры-испольщики привозили ему каждую неделю достаточный запас каплунов, цыплят, яиц, масла и пшеницы. У него была мельница; арендатор обязан был, помимо договорной платы, приезжать за определенным количеством зерна, смолотить его и привезти муку и отруби. Нанета-громадина, его единственная прислуга, хотя была уже не молода, каждую субботу сама пекла хлеб для семьи. Г-н Гранде уговорился со своими съемщиками-огородниками, чтобы они снабжали его овощами. А что касается фруктов, то он собирал их так много, что значительную часть отправлял продавать на рынок. На дрова он рубил сухой в своих живых изгородах или пользовался старыми, полусгнившими пнями, корчуя их по краям своих полей; его фермеры безвозмездно привозили ему в город дрова уже распиленными, из любезности складывали их в сарай и получали словесную благодарность. Расходовал он деньги, как то известно было всем, только на освященный хлеб, на одежду жене и дочери и на оплату их стульев в церкви, на освещение, на жалованье Нанете, на лужение кастрюль, на налоги, на ремонт построек и издержки по своим предприятиям. У него было шестьсот арпанов лесу, недавно купленного; надзор за ним Гранде поручил соседскому сторожу, пообещав ему за это вознаграждение. Только после приобретения лесных угодий к столу у него стали подавать дичь. В обращении он был чрезвычайно прост, говорил мало и обычно выражал свои мысли короткими поучительными фразами, произнося их вкрадчивым голосом. Со времени революции, когда Гранде привлек к себе внимание, он стал утомительнейшим образом заикаться, как только ему приходилось долго говорить или выдерживать спор. Косноязычие, несвязность речи, поток слов, в котором он топил свою мысль, явный недостаток логики, приписываемый отсутствию образования,— все это подчеркивалось им и будет в должной мере

объяснено некоторыми происшествиями этой истории. Впрочем, четыре фразы, точные, как алгебраические формулы, обычно помогали ему соображать и разрешать всевозможные затруднения в жизни и торговле: «Не знаю. Не могу. Не хочу. Посмотрим». Он никогда не говорил ни да, ни нет и никогда не писал. Если ему что-нибудь говорили, он слушал хладнокровно, подерживая подбородок правой рукой и опершись локтем на ладонь левой руки, и о каждом деле составлял себе мнение, которого уже не изменял. Он длительно обдумывал даже самые мелкие сделки. Когда, после хитрого разговора, собеседник, уверенный, что держит его в руках, выдавал ему тайну своих намерений, Гранде отвечал:

— Ничего не могу решить, пока с женой не посоветуюсь.

Его жена, доведенная им до полного рабства, была для него в делах самой удобной ширмой. Он никогда ни к кому не ходил и к себе не приглашал, не желая устраивать званных обедов; никогда не производил никакого шума и, казалось, экономил на всем, даже на движимых. У чужих он ни к чему не притрагивался из укореившегося в нем почтения к собственности. Тем не менее, наперекор вкрадчивости голоса, наперекор осмотрительной манере держаться, у него прорывались выражения и замашки бочара, особенно когда он был дома, где сдерживал себя меньше, чем в любом другом месте. По внешности Гранде был мужчина в пять футов ростом, коренастый, плотный, с икрами ног по двенадцати дюймов в окружности, с узловатыми суставами и широкими плечами; лицо у него было круглое, топорное, рябое; подбородок прямой; губы без всякого изгиба, а зубы очень белые; выражение глаз спокойное и хищное, какое народ приписывает василиску; лоб, испещренный поперечными морщинами, не без характерных бугров, волосы — рыжеватые с проседью, — золото и серебро, как говорил кое-кто из молодежи, еще не зная, что значит подшучивать над г-ном Гранде. На носу у него, толстом к концу, была шишка с кровяными жилками, которую народ не без основания считал признаком коварства. Это лицо выдавало опасную хитрость, холодную честность, эгоизм человека, привыкшего сосредоточивать все свои чувства на утехах скряжничества; только одно существо было ему хоть немного дорого — дочь Евгения, единственная его наследница. Манера держать себя, приемы, походка — все в нем свидетельствовало о той уверенности в себе, какую дает привычка к удаче во всех своих предприятиях. Г-н Гранде, на вид нрава уживчивого и мягкого, отличался железным характером. Одет он был всегда одинаково и по внешности был все тот же, что и в 1791 году. Его грубые башмаки завязывались кожаными шнурками; во всякое время года он носил валяные шерстяные чулки, короткие штаны толстого коричневого сукна с серебряными пряжками, бархатный двубортный жилет в желтую и темнокоричневую полоску, просторный, всегда

наглухо застегнутый длиннополый сюртук каштанового цвета, черный галстук и квакерскую шляпу. Перчатки, прочные, как у жан-дармов, служили ему двадцать месяцев, и, чтобы не пачкать, он привычным движением клал их на поля шляпы, всегда на то же место. Сомюр ничего больше не знал об этом человеке.

Из всех городских обывателей только шестеро пользовались правом посещать дом г-на Гранде. Самым значительным из первых трех был племянник г-на Крюшо. Со дня своего назначения председателем сомюрского суда первой инстанции этот молодой человек к фамилии Крюшо присоединил еще *де Бонфон* и всеми силами старался, чтобы Бонфон возобладал над Крюшо. Он уже и подписывался: К. де Бонфон. Несообразительный истец, назвавший его «господином Крюшо», вскоре на судебном заседании догадывался о своей оплошности. Судья мирволил тем, кто называл его «господин председатель», и отличал благосклоннейшими улыбками льстецов, именовавших его «господин де Бонфон». Председателю было тридцать три года; ему принадлежало имение Бонфон (*Boni fontis*<sup>1</sup>), дававшее семь тысяч ливров дохода; он ждал наследства после своего дяди-нотариуса и после другого своего дяди — аббата Крюшо, сановного члена капитула Сен-Мартен де Тур, — оба считались довольно богатыми. Трое этих Крюшо, поддержанные изрядным числом родственников, связанные с двадцатью семьями в городе, образовали своего рода партию, как некогда Медичи во Флоренции; и как у Медичи, у Крюшо были свои Пацци. Г-жа де Грассен, родительница двадцатитрехлетнего сына, неукоснительно являлась к г-же Гранде составить ей партию в карты, надеясь женить своего дорогого Адольфа на мадемуазель Евгении. Банкир де Грассен усиленно содействовал проискам своей жены постоянными услугами, которые тайне оказывал старому скряге, и всегда во-время являлся на поле битвы. У этих троих де Грассенов тоже были свои приверженцы, свои родичи, свои верные союзники.

Со стороны Крюшо старик-аббат, Галейран\* этого семейства, опираясь на своего брата-нотариуса, бодро оспаривал позицию у банкирши и пытался уберечь богатое наследство для своего племянника, председателя суда. Тайный бой между Крюшо и Грассенами, в котором наградой была рука Евгении Гранде, страстно занимал разнообразные круги сомюрского общества. Выйдет ли мадемуазель Гранде за господина председателя или за господина Адольфа де Грассена? Одни разрешали эту проблему в том смысле, что г-н Гранде не отдаст свою дочь ни за того, ни за другого. Бывший бочар, снедаемый честолюбием, говорили они, подыскивает себе в зятя какого-нибудь пэра Франции, которого триста тысяч ливров дохода заставят помириться со всеми прежними, настоящими

<sup>1</sup> *Bonus fons* — хороший источник (лат.).

и будущими бочками дома Гранде. Другие возражали, что супруги де Грассен оба благородного происхождения и очень богаты, что Адольф очень милый кавалер, и, если только за Евгению не посягается племянник самого папы, такой союз должен был бы удовлетворить человека, вышедшего из низкого звания, бывшего бочара, которого весь Сомюр видел со скобелем в руках и к тому же носившего в свое время красный колпак. Наиболее рассудительные указывали, что для г-на Крюшо де Бонфон двери дома были открыты во всякое время, тогда как его соперника принимали только по воскресеньям. Одни утверждали, что г-жа де Грассен теснее, чем Крюшо, связана с дамами семейства Гранде, имеет возможность внушить им определенные мысли, а поэтому рано или поздно добьется своего. Другие возражали, что аббат Крюшо самый вкрадчивый человек на свете и что женщина против монаха — игра равная. «Два сапога — пара», — говорил некий сомюрский остроумец.

Местные старожилы, более осведомленные, полагали, что Гранде слишком осторожен и не выпустит богатства из рук семьи, — сомюрская Евгения Гранде выйдет за сына парижского Гранде, богатого оптового виноторговца. На это и крюшотинцы и грассенисты отвечали:

— Прежде всего, за тридцать лет братья не виделись и двух раз. А затем, парижский Гранде для своего сына метит высоко. Он — мэр своего округа, депутат, полковник национальной гвардии, член коммерческого суда. Он не признает сомюрских Гранде и намерен породниться с семьей какого-нибудь герцога милостью Наполеона.

Чего только не говорили о наследнице этого состояния, о ней судили и рядили на двадцать лье кругом и даже в дилижансах от Анжера до Блуа включительно! В начале 1819 года крюшотинцы явно взяли перевес над грассенистами. Как раз тогда было назначено в продажу имение Фруафон, замечательное своим парком, восхитительным замком, фермами, речками, прудами, лесами, — имение ценностью в три миллиона; молодой маркиз де Фруафон нуждался в деньгах и решил реализовать свое недвижимое имущество. Нотариус Крюшо, председатель Крюшо и аббат Крюшо с помощью своих приверженцев сумели помешать распродаже имения мелкими участками. Нотариус заключил с маркизом очень выгодную сделку, уверив его, что пришлось бы вести бесконечные судебные тяжбы с отдельными покупателями, прежде чем они уплатят за участки, гораздо лучше продать все поместье г-ну Гранде, человеку состоятельному и к тому же готовому заплатить наличными деньгами. Прекрасный фруафонский маркизат был препровожден в глотку г-на Гранде, который, к великому удивлению всего Сомюра, после необходимых формальностей, учтя проценты, заплатил за поместье чистоганом. Это событие наделало шуму и в Нанте и в Орлеане.

Ген Гранде отправился посмотреть свой замок, воспользовавшись оказией, — в тележке, которая туда возвращалась. Окинув хозяйским взором свое владение, он возвратился в Сомюр, уверенный, что затраченные им деньги будут приносить пять процентов, и задавшись смелой мыслью округлить фруафонский маркизат, присоединив к нему все свои владения. Затем, чтобы пополнить свою почти опустевшую казну, он решил начисто вырубить свои рощи и леса, а также свести на продажу и тополя и у себя на лугах.

Теперь легко понять все значение слов: «дом господина Гранде», — дом угрюмо-холодный, безмолвный, расположенный в высокой части города и укрытый развалинами крепостной стены. Два столба и глубокая арка, под которой находились ворота, были, как и весь дом, сложены из песчаника — белого камня, которым изобилует побережье Луары, настолько мягкого, что его прочности едва хватает в среднем на двести лет. Множество неровных, причудливо расположенных дыр — следствие переменчивого климата, — сообщали арке и косякам входа характерный для французской архитектуры вид, как будто они были источены червями, и некоторое сходство с тюремными воротами. Над аркой высился продолговатый барельеф из крепкого камня, но высеченные на нем аллегорические фигуры — четыре времени года — уже выветрились и совершенно почернели. Над барельефом выступал карниз, на котором росло несколько случайно попавших туда растений — желтые стенницы, повилика, пынок, подорожник и даже молоденькая вишня, уже довольно высокая. Массивные дубовые ворота, темные, ссохшиеся, растрескавшиеся со всех концов, ветхие с виду, крепко поддерживались системой болтов, составлявших симметрические рисунки. Посредине порот, в калитке, было прорезано маленькое квадратное отверстие, забранное частой решеткой с побуревшими от ржавчины железными прутьями, и она служила, так сказать, основанием для существования дверного молотка, прикрепленного к ней кольцом и ударявшего по кривой приплюснутой головке большого гвоздя. Этот молоток, продолговатой формы, из тех, что наши предки называли «жакмаром», походил на жирный восклицательный знак; исследуя его внимательно, антиквар нашел бы в нем некоторые признаки характерной шутовской физиономии, каковую он некогда изображал; она истерлась от долгого употребления молотка. Поглядев в это решетчатое оконце, предназначавшееся во времена гражданских войн для распознавания друзей и врагов, любопытные могли бы увидеть темный зеленоватый свод, а в глубине двора несколько обветшалых ступеней, по которым поднимались в сад, живописно огражденный толстыми стенами, сочащимися влагой и сплошь покрытыми худосочными пучками зелени. Это были стены городских укреплений, над которыми на земляных валах высились сады нескольких соседних домов.

В нижнем этаже дома самой главной комнатой был зал, — вход

туда был устроен под сводом ворот. Немногие понимают, какое значение имеет зал в маленьких городах Анжу, Турени и Берри. Зал представляет собою одновременно переднюю, гостиную, кабинет, будуар и столовую, является основным местом домашней жизни, ее средоточием; сюда являлся два раза в год местный цирюльник подстригать волосы г-ну Гранде; здесь принимали фермеров, приходского священника, супрефекта, подручного мельника. В этой комнате с двумя окнами на улицу пол был дощатый; сверху донизу она была обшита серыми панелями с древним орнаментом; потолок состоял из неприкрытых балок, также выкрашенных в серый цвет, с промежутками, заткнутыми белой пожелтелой гаклей. Полку камина, сложенного из белого камня с грубой резьбой, украшали старые медные часы, инкрустированные роговыми арабесками; на ней стояло также зеленоватое зеркало, края которого срезаны были фацетом, чтобы показать его толщину, они отражались светлой полоской в старинном трюмо, оправленном в стальную раму с золотой насечкой. Пара медных позолоченных жирандольей, поставленных по углам камина, имели два назначения: если убрать служившие розетками розы, большая ветка которых была приложена к подставке из голубоватого мрамора, отделанной старой медью, то эта подставка могла служить подсвечником для малых семейных приемов. На обивке кресел старинной формы были вытканы сцены из басен Лафонтена, но это нужно было знать заранее, чтобы разобрать их сюжеты,— с таким трудом можно было разглядеть выцветшие краски и протертые до дыр изображения. По четырем углам зала помещались угловатые шкафы вроде буфетов с засаленными этажерками по сторонам. В простенке между двумя окнами помещался старый ломберный столик, верх которого представлял собою шахматную доску. Над столиком висел овальный барометр с черным ободком, украшенный перевязями из гозолоченного дерева, но до того засиженный мухами, что о позолоте можно было только догадываться. На стене, противоположной камину, красовались два портрета, которые должны были изображать деда г-жи Гранде, старого г-на де ла Бертельер, в мундире лейтенанта французской гвардии, и покойную г-жу Жантийе в костюме пастушки. На двух окнах были красные гродетуровые занавеси, перехваченные шелковыми шнурами с кистями по концам. Эта роскошная обстановка, так мало соответствовавшая привычкам Гранде, была приобретена им вместе с домом, так же как трюмо, часы, мебель с гобеленовой обивкой и угловые шкафы розового дерева. У окна, ближайшего к двери, находился соломенный стул с ножками, поставленными на подпорки, чтобы г-жа Гранде могла видеть прохожих. Простенький рабочий столик вишневого дерева занимал всю нишу окна, а возле вплотную стояло маленькое кресло Евгении Гранде. В течение пятнадцати лет с апреля по ноябрь все дни матери и дочери мирно

протекали на этом месте в постоянной работе; первого ноября они могли переходить на зимнее положение — к камину. Только с этого дня Гранде позволял разводить в камине огонь и приказывал гасить его тридцать первого марта, не обращая внимания на весенние и осенние заморозки. Ножная грелка с горячими углями из кухонной печи, которые умело сберегала для своих хозяек Нанета-громарина, помогала им переносить холодные утра или вечера в апреле и октябре. Мать и дочь шили и чинили белье для всей семьи, обе добросовестно работали целыми днями, словно поденщицы, и когда Евгении хотелось вышить воротничок для матери, ей приходилось урывать время от часов, назначенных для сна, обманывать отца, пользуясь украдкой свечами. Уже с давних пор скряга по счету выдавал свечи дочери и Нанете, точно так же как с утра распределял хлеб и съестные припасы на дневное потребление.

Нанета-громарина была, пожалуй, единственным человеческим существом, способным полностью примириться с деспотизмом хозяина. Весь город завидовал супругам Гранде из-за этой Нанеты. Нанета-громарина, прозванная так за свой рост в пять футов восемь дюймов, служила у Гранде уже тридцать пять лет. Хотя она получала всего только шестьдесят ливров жалованья, ее считали одной из самых богатых служанок во всем Сомюре. Эти шестьдесят ливров, нараставшие в течение тридцати пяти лет, дали ей возможность недавно поместить у нотариуса Крюшо четыре тысячи ливров в обеспечение пожизненной ренты. Такой итог долгих и настойчивых сбережений Нанеты-громарины представлялся непомерным. Всякая служанка, видя, что у бедной шестидесятилетней женщины оказался кусок хлеба на старости лет, завидовал ей, не думая о том, ценою какого жестокого рабства он достался. Когда Нанете было двадцать два года, она ни у кого не могла найти себе места, до такой степени внешность ее казалась отталкивающей; а на самом деле это впечатление было очень несправедливо: будь ее голова на плечах какого-нибудь гвардейского гренадера, ею любовались бы, но всему, говорят, свое место. Нанета, принужденная после пожара покинуть ферму, где она ходила за коровами, пришла в Сомюр и искала себе места, воодушевляемая твердой решимостью не отказываться ни от какой работы. В то время Гранде подумывал о женитьбе и уже хотел налаживать свое хозяйство. Он высмотрел эту девушку, которую спроваживали от двери к двери. Умея, как истый бочар, ценить физическую силу, он понял, какую выгоду можно извлечь из существа женского пола, сложенного, как Геркулес, твердо стоявшего на ногах, как шестидесятилетний дуб на корнях своих, существа с широкими бедрами и квадратной спиной, с руками ломового извозчика и с честностью непоколебимой, как ее нетронутое целомудрие. Ни бородавки, украшавшие это лицо воина, ни его кирпичный цвет, ни жилистые руки, ни рубище Нанеты не отпугнули

бочара, который был еще в тех годах, когда сердце способно трепетать. Он накормил, одел, обул бедную девушку и взял ее на работу, положил ей жалованье и обращался с нею не слишком сурово. Видя такой прием, Нанета-громадина втихомолку плакала от радости и искренне привязалась к бочару, который, впрочем, пользовался ее трудом по-феодалному. Нанета делала все: она стирала, стирала, ходила на Луару полоскать белье, тащила его на своих плечах; она поднималась с рассветом, ложилась поздно, готовила еду для всех работников во время сбора винограда, наблюдала за ними, охраняла, как верный пес, добро своего хозяина; наконец, питая к нему слепое доверие, она безропотно повиновалась самым нелепым его фантазиям. В знаменитом 1811 году, когда сбор винограда стоил неслыханных трудов, Гранде решил подарить Нанете за двадцатилетнюю службу свои старые часы — единственный подарок, полученный ею от него за всю жизнь. Правда, он отдавал ей свои старые башмаки (они ей были впору), однако башмаки Гранде после трехмесячной носки невозможно рассматривать как подарок, настолько они бывали уже изношены. Бедная девушка волсь-неволей сделалась такой скупой, что Гранде в конце концов полюбил ее, как любят собаку, и Нанета допустила, чтобы на нее надели ошейник, утыканный шипами, которые уже не кололи ее. Если Гранде нарезал хлеб слишком уж скаредно, она на это не жаловалась; она весело переносила вместе со всеми строгий режим питания, установленный Гранде и имевший некоторые гигиенические преимущества: в доме никто никогда не хворал.

Нанета стала членом семьи: она смеялась, когда смеялся Гранде, печалилась, зябла, отогревалась, работала вместе с ним. Сколько сладостного удовлетворения в этом равенстве! Никогда хозяин не попрекал служанку, если она съедала под деревом падалицу — персик или сливу.

— Ладно, угощайся, Нанета,— говорил он ей в такие годы, когда в садах ветви сгибались под тяжестью плодов и фермерам приходилось кормить ими свиней.

Для деревенской девушки, в юности встречавшей только плохое обращение, для нищенки, призренной из милости, лукавый смешок папаши Гранде был истинным лучом солнечного света. К тому же чистое сердце и ограниченный ум Нанеты не могли вместить более одного чувства и одной мысли. Тридцать пять лет подряд ей все вспоминалось, как она подошла к порогу мастерской г-на Гранде, босиком, в лохмотьях, постоянно слышалось, как бочар сказал ей: «Что вам угодно, красавица?» — и признательность ее была всегда юной. Порою Гранде, думая о том, что это бедное создание никогда не слышало хотя бы малейшего лестного слова, что ей неизвестны нежные чувства, внушаемые женщиной, и что она может в свое

время предстать перед богом более непорочной, нежели сама дева Мария,— Гранде, охваченный умилением, говорил, глядя на нее:

— Бедняжка Нанета!

На это восклицание старая служанка всегда отвечала ему неясным взглядом. Эти слова, повторяемые хозяином время от времени, издавна образовали цепь неразрывной дружбы и каждый раз прибавляли к ней новое звено. В жалости, нашедшей себе место в сердце Гранде и благодарно принятой старой девой, было нечто невыразимо ужасное. То была жестокая жалость скряги, весьма приятно щекотавшая себялюбие старого бочара, но для Нанеты она являлась вершиною счастья. Кто не повторит: «Бедняжка Нанета!» Господь узнает ангелов своих по оттенкам их голосов и по сокровенному смыслу их сочувствия. В Сомюре было очень много семейств, где со слугами обращались лучше, но, несмотря на это, они не питали к хозяевам особой признательности, и в городе говорили:

— Что же такое делают господа Гранде для своей Нанеты-грамадины? Почему она так к ним привязана? Она ради них в огонь бросится!

Ее кухня с решетчатыми окнами во двор была всегда чистой, опрятной, холодной — настоящей кухней скряги, где ничто не должно было пропадать зря. Кончив мыть посуду, прибрав остатки обеда, Нанета гасила огонь под плитой, уходила из кухни, отделенной от зала коридором, и шла пряхть пеньку возле своих хозяев. Одной свечи было достаточно для всей семьи на целый вечер.

Служанка спала в конце коридора, в закоулке, еле освещенном оконцем, которое заслонялось стеной. Могучее здоровье позволяло ей жить безнаказанно в этой конуре, откуда она могла слышать малейший шум среди глубокого безмолвия, царившего в доме день и ночь. Она была обязана, как сторожевой пес, спать вполглаза и отдыхать бодрствуя.

Описание прочих комнат этого обиталища будет связано с событиями нашего повествования; а впрочем, набросок зала, где блистала вся роскошь дома Гранде, позволит догадаться, до чего убого было убранство покосов в верхних этажах.

В половине октября 1819 года ранним вечером Нанета в первый раз затопила камин. Осень стояла прекрасная. На этот день приходился праздник, хорошо памятный крошотинцам и грассенистам. Все шестеро противников готовились прийти во всеоружии, встретиться в этом зале и превзойти друг друга в доказательствах дружбы. Утром весь Сомюр видел, как г-жа Гранде и Евгения в сопровождении Нанеты шли в приходскую церковь к обедне, и всякий вспомнил, что это день рождения мадемуазель Евгении. Поэтому, рассчитав час, когда должен был кончиться семейный обед, нотариус Крюшо, аббат Крюшо и г-н де Вонфон поспешили явиться раньше Грассенов поздравить мадемуазель Гранде. Все трое

несли по огромному букету, набранному в их маленьких теплицах. Стебли цветов, которые собирался поднести председатель суда, были искусно обернуты белой атласной лентой с золотою бахромой. Утром г-н Гранде, следуя обыкновению, заведенному для памятных дней рождения и именин Евгении, пришел в ее комнату, когда она еще лежала в постели, и торжественно вручил ей отеческий свой подарок, состоявший, вот уже тринадцать лет, из редкой золотой монеты. Г-жа Гранде обыкновенно дарила дочери платье, зимнее или летнее (смотря по обстоятельствам). Эти платья да золотые монеты, которые Евгения получала от отца в Новый год и в день именин, составляли маленький доход, приблизительно в сотню эю, и Гранде приятно было видеть, как она его копит. Ведь это было все равно, что перекаладывать свои деньги из одного ящика в другой и на мелочах, так сказать, воспитывать скупость в наследнице; иногда он требовал отчета о ее казне, когда-то приумноженной ла Бертельерами, и говорил ей:

— Это будет твоей свадебной дюжиной.

Дарить дюжину — старинный обычай, еще процветающий и свято хранимый в некоторых местностях средней Франции. В Берри, в Анжу, когда девушка выходит замуж, ее семья или семья ее жениха обязана подарить невесте кошелек, содержащий, смотря по состоянию, двенадцать монет или двенадцать дюжин монет, или двенадцать сотен серебряных или золотых монет. Самая бедная пастушка не пошла бы замуж без своей «дюжины», пусть она состоит хоть из медяков. В Иссудене до сих пор рассказывают о «дюжине», поднесенной одной богатой наследнице и состоявшей из ста сорока четырех португальских золотых. Папа Климент VII, дядя Екатерины Медичи, выдавая ее за Генриха II, подарил ей дюжину золотых античных медалей огромной ценности.

За обедом отец, любуясь своей дочерью, похорошевшей в новом платье, воскликнул:

— Раз уж сегодня рождение Евгении, затопим камин! Это будет доброй приметой!

— Выйти барышне замуж в этот год, уж это верно! — сказала Нанета-громалина, унося остатки гуся, этого фазана бочаров.

— Я не вижу для нее достойной партии в Сомюре, — ответила г-жа Гранде, глядя на своего мужа с робким видом, совсем не соответствовавшим ее годам и показывавшим полное супружеское рабство, под гнетом которого изнывала эта бедная женщина.

Гранде оглядел дочь и весело крикнул:

— Ей, деточке, исполнилось сегодня двадцать три года, скоро нужно будет позаботиться о ней.

Евгения с матерью молча переглянулись понимающим взглядом.

Госпожа Гранде была женщина иссохшая, желтая, как лимон, неловкая, медлительная, — одна из тех женщин, которые, кажется,

созданы для того, чтобы над ними тиранствовали. Она была ширококостна, с большим носом, большим лбом, большими глазами и привычке, и при первом взгляде на нее вспоминались дряблые плоды, в которых больше нет ни вкуса, ни сока. Зубы у нее были черные и редкие, рот увядший, подбородок, как говорится, калашей. Однако это была прекрасная женщина, истинная ла Бертельер. Аббат Крюшо не раз находил предлог сказать ей, что она в свое время была недурна собой, и она этому верила. Ангельская ее кротость, покорность букашки, истязаемой детьми, редкое благочестие, невозмутимое смирение, доброе сердце вызывали у всех жалость и уважение к ней. Муж никогда не давал ей больше шести франков враз на ее мелкие расходы, хотя своим приданым и полученными ею наследствами она принесла г-ну Гранде более трехсот тысяч франков. Однако эта женщина, смешная по внешности, была наделена высокой душой, она всегда чувствовала себя столь глубоко униженной зависимостью и порабощением, против которого кротость не позволяла ей восставать, что никогда не спросила у мужа ни гроша, ни разу не сделала никаких замечаний по поводу бумаг, которые нотариус Крюшо представлял ей для подписи. Гордость, деленая и тайная гордость, благородство душевное, постоянно оскорбляемое г-ном Гранде, преобладали в ее поведении. Она ходила неизменно в платье зеленоватого левантина, привыкнув носить его по целому году, в большой белой нитяной косынке, в соломенной шляпе и почти всегда в переднике из черной тафты. Редко выходя из дому, она мало изнашивала башмаков. Словом, для себя она никогда ничего не желала. И Гранде, чувствуя иногда угрызения совести при воспоминании, как много времени прошло со дня выдачи шести франков жене, давал ей обыкновенно «на булавки» при продаже сбора винограда. Четыре или пять луидоров из денег, уплаченных голландским или бельгийским покупателем урожая с виноградников мужа, составляли наиболее определенный ежегодный доход г-жи Гранде. Но после того как она получала свои пять луидоров, супруг часто говорил ей, словно кошелек был у них общий: «Не можешь ли ты одолжить мне несколько су?» — и за этим он таким образом отбирал у нее несколько экю из «булавочных» денег, а бедная женщина была счастлива, что может что-то сделать для человека, которого духовник изображал ей как ее господина и повелителя. Когда Гранде вынимал из кармана монету в сто су, назначенную на кое-какие месячные расходы — нитки, иголки и мелочи туалета дочери, — он никогда не забывал, застегнув жилетный карман, сказать жене:

— А тебе, мать, не нужно ли сколько-нибудь?

— Друг мой, — отвечала г-жа Гранде с чувством материнского достоинства, — там видно будет.

Напрасное величие души! Г-н Гранде считал себя весьма щедрым

по отношению к жене. Философы, встречая в жизни природы, подобные Нанете, г-же Гранде, Евгении, не вправе ли полагать, что в основе воли providения лежит ирония?

После обеда, за которым впервые зашел разговор о замужестве Евгении, Нанета отправилась за бутылкой смородиновой наливки в комнату г-на Гранде и чуть не упала, сходя оттуда по лестнице.

— Дурища,— сказал ей хозяин,— неужто тебя угораздило свалиться? Я думал, ты ловчее других.

— Сударь, ступенька-то на лестнице еле держится.

— Она права,— сказала г-жа Гранде,— вам давно следовало распорядиться, чтобы починили эту ступеньку. Вчера Евгения чуть себе ногу не вывихнула.

— Ну, ладно,— обратился Гранде к Нанете, видя, что она совсем побледнела,— по случаю дня рождения Евгении и по тому случаю, что ты чуть не упала, выпей рюмочку смородиновки, подкрепись.

— Право, я ее заслужила,— сказала Нанета.— На моем месте всякий бы разбил бутылку, а уж я лучше себе локоть расшибу, да удержу бутылку в воздухе.

— Бедняжка Нанета,— сказал Гранде, наливая ей смородиновки.

— Ты ушиблась? — спросила Евгения, с сочувствием глядя на нее.

— Нет, ведь я всей поясницей удержалась.

— Ну, уж ради рождения Евгении почино вам лестницу,— сказал Гранде.— Нет у вас догадки ставить ногу в уголок. Там ступенька еще крепка.

Гранде взял свечу, оставив жену, дочь и служанку только при свете камина, ярко горевшего, и пошел в кухню за досками, гвоздями и инструментами.

— Не помочь ли вам? — крикнула ему Нанета, слыша, как он стучит на лестнице.

— Нет, нет! Дело привычное,— отвечал бывший бочар.

Как раз в то время, когда он сам чинил источенную червями лестницу и свистел изо всей мочи, вспоминая годы юности, в калитку постучались трое Крюшо.

— Это вы там, господин Крюшо? — спросила Нанета, глядя сквозь решеточку.

— Я,— отвечал председатель.

Нанета отворила калитку, и при свете камина, отражавшемся на своде ворот, трое Крюшо разглядели вход в зал.

— Ах, вы с поздравлением,— сказала им Нанета, услышав запах цветов.

— Виноват, господа,— вскричал Гранде, узнавая голоса друзей,— сейчас буду к вашим услугам! Я человек негордый, вот кое-как сам прилаживаю ступеньку собственной лестницы.

— Работайте, работайте, господин Гранде. «И угольщик у себя

дома голова», — сентенциозно заметил председатель, один усмехаясь на свой намек, которого никто не понял.

Мать и дочь Гранде поднялись со своих мест. Тут председатель, пока было темно, сказал Евгении:

— Позвольте мне, сударыня, пожелать вам сегодня, в день вашего рождения, жить долго, счастливо и в таком же добром здоровье, как и ныне.

Он поднес огромный букет редких в Сомюре цветов; потом, сжимая локти наследницы, он поцеловал ее с обеих сторон в шею с галантностью, от которой Евгении стало неловко. Председатель, похожий на длинный ржавый гвоздь, воображал, что так действуют светские волокиты.

— Однако вы не церемонитесь! — сказал Гранде. — Так и быть, польщичайте, господин председатель, по случаю семейного праздника!

— В обществе вашей дочери, — отвечал аббат Крюшо, держа букет в руках, — всякий день был бы для моего племянника праздником.

Аббат поцеловал руку Евгении. А старик-нотариус попросту расцеловал девушку в обе щеки и промолвил:

— Как время-то наше идет! Что ни год, то двенадцать месяцев.

Ставя свечу на место, перед часами, Гранде, который никогда не мог отвязаться от шутки, показавшейся ему забавной, и повторял ее до пресыщения, сказал:

— Так как сегодня праздник Евгении, возжем светильники.

Он старательно снял ветвистый канделябр, надел по розетке на каждую подставку, взял из рук Нанеты сальную новую свечу, обернутую снизу бумагой, воткнул ее в подсвечник, укрепил, зажег и сел возле жены, поглядывая поочередно на друзей, на дочь и на обе свечи. Аббат Крюшо, низенький, пухлый, жирный человек в рыжем гладеньком парике, с лицом старой картежницы, вытянул ноги, обутые в прочные башмаки с серебрянными пряжками, и спросил:

— А что, Грассены не приходили?

— Нет еще, — отвечал Гранде.

— А разве они должны прийти? — спросил старый нотариус с гримасой на лице, рябом, как шумовка.

— Я думаю, — отвечала г-жа Гранде.

— Ну как, собрали виноград? — спросил Гранде председатель Бонфон.

— Везде! — ответил старый винодел, вставая и прохаживаясь назад и вперед по залу; при этом он выпятил грудь движением, исполненным той же горделивости, что и слово «везде».

В дверь коридора он увидел, что Нанета-громадина при свече сидит у очага, собираясь там заняться пряжей, чтобы не мешать торжеству.

— Нанета,— сказал он, выходя в коридор,— загаси-ка ты и очаг и свечу да садись с нами. Право, в зале хватит места на нас всех.

— Но у вас, сударь, будут знатные гости.

— А чем ты хуже их? Они ровно столько же из адамова рода, как и ты.

Гранде возвратился к председателю и спросил его:

— Урожай ваш продали?

— Нет, откровенно сказать — приберегу. Коли сейчас вино хорошо, через год будет еще лучше. Владельцы, ведь вы знаете, договорились не спускать условленной цены, и нынче бельгийцы нас не обломают. А уедут,— ну что же, воротятся.

— Да, но будем держаться крепко,— сказал Гранде таким тоном, что председатель затрепетал.

«Уж не ведет ли он переговоры?» — подумал Крюшо.

В эту минуту стук молотка возвестил о приходе семейства Грассен, и их появление прервало разговор, завязавшийся между г-жой Гранде и аббатом.

Госпожа де Грассен принадлежала к числу тех маленьких женщин, подвижных, пухленьких, белых и румяных, которые благодаря затворническому провинциальному быту и привычкам добродетельной жизни и в сорок лет еще моложавы. Они похожи на последние розы поздней осени: вид их приятен, но в лепестках есть какой-то холодок и аромат их все слабеет! Одевалась она довольно хорошо, выписывая парижские моды, задавала тон всему Сомюру и устраивала у себя вечера. Муж ее, бывший квартирмейстер императорской гвардии, тяжело раненный под Аустерлицем и вышедший в отставку, сохранял, при всем своем почтении к Гранде, подчеркнутую прямоту военного человека.

— Здравствуйте, Гранде,— сказал он, протягивая виноделу руку с подчеркнутым выражением превосходства, которым он постоянно подавлял господ Крюшо.— Сударыня,— обратился он к Евгении, сначала поклонившись г-же Гранде,— вы всегда прекрасны и умны. Право, не знаю, что возможно вам пожелать.

Он преподнес свой подарок, который внес за ним слуга: ящичек с капским вереском — цветком, недавно привезенным в Европу и весьма редким.

Госпожа де Грассен очень сердечно поцеловала Евгению и, пожав ей руку, сказала:

— Адольф взялся передать вам мой маленький подарок.

Высокий белокурый молодой человек, бледный и хрупкий, с довольно хорошими манерами, по виду робкий, но только что промотавший в Париже, куда он ездил изучать право, восемь или десять тысяч франков сверх своего содержания, подошел к Евгении, поцеловал ее в обе щеки и преподнес ей рабочую шкатулку с принадлежностями из позолоченного серебра — настоящий рыноч-

ный товар, несмотря на дощечку с готическими инициалами Е. Г., неплохо вырезанными и позволявшими предполагать, что и вся отделка очень тщательна. Открывая шкатулку, Евгения испытала неожиданную и полную радость, которая заставляет девушек краснеть, вздрагивать, трепетать от удовольствия. Она взглянула на отца, словно желая спросить: можно ли ей принять подарок, и г-н Гранде сказал что-то вроде: «Возьми, дочь моя», с таким выражением, какое сделало бы честь иному актеру. Все трое Крюшо остолбенели, заметив радостный и оживленный взгляд, брошенный на Адольфа де Грассена наследницей, которой подарок показался неслыханным сокровищем.

Господин де Грассен предложил Гранде щепотку табаку, сам захватил такую же, стряхнул пыль с ленточки Почетного легиона, красовавшейся в петлице его синего фрака, потом посмотрел на г-на Крюшо с торжествующим видом, казалось говорившим: «Ну-ка, отбейте этакий удар!» Г-жа де Грассен с деланным простодушием насмешливой женщины взглянула на синие вазы с букетами Крюшо, как будто искала, где же их подарки. При создавшемся щекотливом положении аббат Крюшо предоставил обществу расположиться кружком перед камином, а сам прошелся вместе с Гранде по залу. Когда оба старика оказались в нише окна, наиболее отдаленной от Грассенов, священник сказал скряге на ухо:

— Эти люди швыряют деньги в окошко.

— Что ж такого, коли они попадают в мой подвал, — ответил старый винодел.

— Если б вам захотелось, вы бы вполне могли подарить дочери золотые ножницы, — промолвил аббат.

— Мои подарки лучше ножниц, — ответил Гранде.

«Экий олух мой племянник! — подумал аббат, глядя на председателя, растрепанные волосы которого делали еще более непривлекательной его смуглую физиономию. — Неужели не мог он придумать какую-нибудь имеющую ценность безделушку!»

— Мы составим вам партию, госпожа Гранде, — сказала г-жа де Грассен.

— Но сегодня мы все в сборе, можно играть за двумя столами...

— Раз сегодня день рождения Евгении, играйте все вместе в лото, — сказал папаша Гранде, — в нем примут участие и эти двое детей.

Бывший бочар, никогда не игравший ни в какие игры, указал на дочь и на Адольфа.

— Ну, расставляй столы, Нанета.

— Мы вам поможем, мадемуазель Нанета, — весело сказала г-жа де Грассен, от всей души радуясь, что доставила радость Евгении.

— Никогда в жизни не была я так довольна, — сказала ей наследница. — Нигде не видывала я такой прелести.

— Это Адольф привез из Парижа, сам выбрал,— шепнула ей на ухо г-жа де Грассен.

Так, так, продолжай свое дело, интриганка проклятая!— ворчал про себя председатель.— Вот будет когда-нибудь у тебя или у супруга твоего судебное дело, так вряд ли оно удачно для вас повернется.

Нотариус сидел в углу и, со спокойным видом посматривая на аббата, думал:

«Пускай себе де Грассены хлопочут,— мое состояние вместе с состоянием брата и племянника доходит до миллиона ста тысяч франков. У де Грассенов самое большое — половина этого, да еще у них дочь. Пускай дарят, что им угодно! И наследница и подарки — все будет наше».

В половине девятого были поставлены два стола. Хорошенькой г-же де Грассен удалось посадить сына возле Евгении. Действующие лица этой сцены, чрезвычайно занимательной, хотя и обыденной на первый взгляд, запаслись пестрыми карточками с рядами цифр и, закрывая их марками из синего стекла, как будто слушали шутки старого нотариуса, сопровождавшего каждое выходившее число каким-нибудь замечанием, а на самом деле все думали о миллионах г-на Гранде. Старый бочар кичливо поглядывал на розовые перья и свежий наряд г-жи де Грассен, на воинственную физиономию банкира, на Адольфа, на председателя, аббата, нотариуса и говорил себе:

«Они здесь ради моих денег. Они приходят сюда скучать ради моей дочки. Ха-ха! Моя дочь не достанется ни тем, ни другим, и все эти господа — только крючки на моей удочке».

Это семейное празднество в старом сером зале, тускло освещенном двумя свечами; этот смех под шум самопрялки Нанеты-громедины, искренний только у Евгении да и у ее матери; эта мелочность при таких огромных доходах; эта девушка, напоминающая птиц — жертв высокой цены, по какой они идут, неведомо для себя, опутанная и связанная изъявлениями дружбы, которую она мнила искренней,— все содействовало тому, чтобы сделать эту сцену грустно-комической. Впрочем, не была ли она сценой обычной во все времена и для всех стран, только сведенной к простейшему выражению?

Фигура старого Гранде, пользовавшегося с огромной выгодой для себя мнимой привязанностью двух семей, господствовала в этой драме и вскрывала ее смысл. Не был ли он воплощением единственного божества, в которое верит современный мир, олицетворением могущества денег? Нежные человеческие чувства занимали здесь только второстепенное место в жизни; ими одушевлялись три чистых сердца: Нанеты, Евгении и ее матери. Зато сколько неведения в их простодушии! Евгения с матерью понятия не имели о богатстве Гранде; они судили о житейских делах по своим смутным пред-

ставлениям о них; деньги они не презирали и не почитали, привыкнув обходиться без них. Чувства их, неведомо для них подавленные, по живучие, составлявшие тайную основу их существования, делали их любопытным исключением среди этих людей, жизнь которых была ограничена чисто материальными интересами. Страшный удел человека! Всякое счастье исходит от неведения. В ту минуту, когда г-жа Гранде выиграла «котел» в шестнадцать су, самый крупный, какой когда-либо выпадал в этом зале, и когда Нанета-громадина смеялась от радости, глядя, как ее хозяйка прячет в карман эту большую сумму, у подъезда раздался стук молотка, и с такой силой, что женщины привскочили на стульях.

— Сомюрцы так не стучатся,— сказал нотариус.

— Можно ли так колотить? — сказала Нанета.— Что они, дверь, что ли, хотят выломать?

— Кого это черт принес? — воскликнул Гранде.

Нанета взяла одну из двух свечей и пошла отворять в сопровождении Гранде.

— Гранде! Гранде! — воскликнула жена его и, движимая смутным чувством страха, бросилась к дверям зала.

Игроки переглянулись.

— Не пойти ли и нам? — проронил г-н де Грассен.— Мне сдается, этот стук не к добру.

Господин де Грассен едва успел заметить фигуру молодого человека, сопровождаемого комиссионером конторы дилижансов, который нес два огромных чемодана и спальный мешок. Гранде резко повернулся к жене и сказал:

— Госпожа Гранде, вернитесь к вашему лоту. Дайте мне переговорить с этим господином.

Затем он быстро затворил дверь в гостиную, где возбужденные игроки снова заняли свои места, но игры не продолжали.

— Это кто-нибудь из сомюрских? — спросила мужа г-жа де Грассен.

— Нет, приезжий.

— Не иначе как из Парижа.

— В самом деле,— сказал нотариус, вытаскивая старые часы в два пальца толщиной, похожие на голландский корабль,— сейчас ровно девять часов. Тьфу ты пропасть! Дилижанс главной конторы никогда не опаздывает.

— А человек-то молодой? — спросил аббат Крюшо.

— Да,— отвечал г-н де Грассен.— С ним багажа по меньшей мере кило триста.

— Нанета не возвращается,— заметила Евгения.

— Возможно, кто-нибудь из ваших родственников присехал,— сказал председатель.

— Возобновим ставки,— тихо воскликнула г-жа Гранде. По

голосу я заметила, что господин Гранде чем-то недоволен. Может быть, ему будет неприятно, ежели он заметит, что мы говорим о его делах.

— Это, верно, ваш двоюродный брат,— обратился Адольф к своей соседке.— Очень красивый молодой человек, я видел его на балу у господина де Нусингена...

Адольф остановился: мать толкнула его ногой и, громко попросив у него два су для своей ставки, шепнула ему на ухо:

— Да замолчи ты, простофиля!

В эту минуту вошел Гранде без Нанеты-громадины: шаги ее и комиссионера послышались на лестнице. Вслед за Гранде шел приезжий, возбуждавший такое любопытство и так живо занявший воображение присутствовавших; его неожиданное прибытие в этот дом и в среду этих людей, куда он свалился как снег на голову, можно было сравнить с падением улитки в улей или с появлением павлина на каком-нибудь невзрачном деревенском птичьем дворе.

— Садитесь к огню,— сказал Гранде приезжему.

Прежде чем сесть, молодой человек очень мило поклонился присутствовавшим. Мужчины поднялись и ответили вежливым поклоном, дамы чопорно сделали реверанс.

— Вы, верно, озябли, сударь? — сказала г-жа Гранде.— Вы, может быть, приехали из...

— Ах, уж эти женщины! — сказал старый винодел, отрываясь от чтения письма, которое держал в руке.— Дайте же человеку отдохнуть.

— Но, папенька, может быть, гостю нашему что-нибудь нужно,— сказала Евгения.

— У него у самого есть язык,— строго ответил винодел.

Только незнакомец удивился этой сцене, прочие привыкли к деспотической манере хозяина. Тем не менее после этих двух вопросов и ответов незнакомец поднялся с места, повернулся спиной к огню, поднял ногу, чтобы согреть подошву сапога, и сказал Евгении:

— Благодарю вас, кузина, я обедал в Туре. И мне ничего не нужно,— прибавил он, глядя на Гранде.— Я даже совсем не устал.

— Вы, сударь, приехали из столицы? — спросила г-жа де Грассен.

Шарль,— так звали сына парижского г-на Гранде,— слыша обращенный к нему вопрос, достал маленький лорнет на цепочке, висевший у него на шее, приставил его к правому глазу, чтобы рассмотреть и то, что было на столе, и тех, кто был за столом, оглядел весьма беззастенчиво г-жу де Грассен и, все обозрев, сказал ей:

— Да, сударыня. Вы играете в лото, тетушка? — прибавил он.— Пожалуйста, продолжайте. Разве можно бросать такую занимательную игру...

«Я была уверена, что это кузен»,— думала г-жа де Грассен, кокетливо поглядывая на него.

— Сорок семь!— выкрикнул старый аббат.— Ставьте же марку, госпожа де Грассен, ведь это ваш номер.

Господин де Грассен положил стеклянный кружочек на карту жены, между тем как она, охваченная грустными предчувствиями, наблюдала попеременно то за парижским кузеном, то за Евгенией, не думая о лото. Время от времени молодая наследница бросала беглые взгляды на двоюродного брата, и жена банкира легко могла заметить в них *crescendo*<sup>1</sup> удивления или любопытства.

Шарль Гранде, красивый молодой человек двадцати двух лет, представлял собой в эту минуту необычайную противоположность этим добрым провинциалам, которых достаточно возмущали уж одни его аристократические манеры; все разглядывали приезжего, чтобы понасмехаться над ним. Это требует объяснения. В двадцать два года молодые люди еще настолько близки к детству, что склонны ребячиться. Да, пожалуй, из сотни юношей ровно девяносто девять стали бы вести себя так же, как Шарль Гранде. Незадолго до этого вечера отец предложил ему отправиться на несколько месяцев к дяде в Сомюр. Быть может, парижский Гранде думал женить его на Евгении. Шарль, попадавший в провинцию впервые, вознамерился появиться там во всем блеске парижанина, поразить всю округу роскошью своих нарядов, составить для нее эпоху и ввезти туда новейшие затей парижской жизни. Словом, он намеревался в Сомюре проводить больше времени, чем в Париже, за полированием ногтей и одеваться с подчеркнутой изысканностью, которую эlegantный молодой человек иногда заменяет небрежностью, не лишенной изящества. Шарль взял с собой лучший парижский охотничий костюм, лучшее ружье, лучший нож в лучших ножнах, захватил целую коллекцию изумительных жилетов: были среди них серые, белые, черные, цвета скарабея, с золотистым отливом, с блестками, с разводами, двойные, с отворотами шалью, с воротниками стоячими, отложными, с широким вырезом или застегивающиеся доверху, на золотых пуговицах. Взял всевозможные воротники и галстуки, бывшие тогда в моде. Взял два костюма, сшитые у Бюиссона, и самое тонкое белье. Взял прекрасный золотой туалетный прибор — подарок матери. Взял всякие безделушки, необходимые для денди, не забыв восхитительный маленький письменный прибор, подаренный ему любезнейшей из женщин, — по крайней мере по отношению к нему, — великосветскою дамой, которую он называл Анетой и которая теперь скучнейшим образом путешествовала вместе с супругом по Шотландии, как жертва неких подозрений, заставивших ее на время пожертвовать своим счастьем; затем — обильный запас красивой

<sup>1</sup> Парастание — музыкальный термин (итал.).

бумаги, чтобы писать к ней. каждые две недели. Короче говоря, он привез с собой набор парижских ненужностей, полный как только возможно, и где — от хлыста, пригодного для завязки дуэли, до превосходных чеканных пистолетов, ее заканчивающих, — были налицо все те орудия, коими пользуется юный бездельник, чтобы вспахать поле жизни. Так как отец наказал ему путешествовать в одиночестве и скромно, он приехал в купе дилижанса, взятом для него одного, довольный, что не портит прелестной дорожной кареты, заказанной им для того, чтобы отправиться навстречу Анете, великосветской даме, которую... и так далее, и с которой он должен был увидеться в июне месяце на водах в Бадене. Шарль рассчитывал встретить у дяди общество человек во сто, забавляться псовой охотой в дядиных лесах, — словом, пожить помещичьей жизнью. Он не думал застать дядю в Сомюре, осведомился о нем только для того, чтобы расспросить, как проехать в Фруафон, и, узнав, что Гранде в городе, полагал найти его в огромном особняке. Чтобы достойным образом показаться впервые у дяди, в Сомюре или в Фруафоне, он облекся в дорожный наряд, весьма кокетливый, но изысканно простой и очаровательный, — воспользуемся словом, каким в то время определяли особое совершенство вещи или человека. В Туре парикмахер завил ему прескрасные каштановые волосы, там он переменял сорочку, надел черный атласный галстук и круглый воротник, приятно обрамлявший его белое смеющееся лицо. Дорожный наполовину застегнутый сюртук обрисовывал его талию и открывал кашемировый жилет шалью, под которым был второй — белый. Часы его, небрежно брошенные в карман, как бы по воле случая, были прикреплены к одной из петель золотой цепочкой. Серые панталоны застегивались по бокам, где швы были украшены узорами, вышитыми черным шелком. Он играл изящной тросточкой, и золотой резной набалдашник лишь оттенял безукоризненную свежесть его серых перчаток. Фуражка его была отличного вкуса. Парижанин, только парижанин из самой высокой сферы, мог не казаться смешным в таком наряде и сообщить какую-то фатовскую гармонию всем этим безделицам, впрочем придававшим их носителю мужественный вид, вид молодого человека — обладателя превосходных пистолетов, меткого глаза и Анеты.

Теперь, если вы желаете как следует понять обоюдное удивление сомюрцев и молодого парижанина, увидеть, каким ярким блеском сияло изящество путешественника среди серых стен зала и действующих лиц этой семейной картины, попытайтесь представить себе господ Крюшо. Все трое нюхали табак и уже давно не пытались избавиться ни от следов капель, падавших из носа, ни от маленьких черных пятен, которыми были усеяны манишки их порыжелых рубашек со съезжившимися воротничками и желтоватыми складками. Мягкие галстуки скручивались веревочкой, как только их повязывали

на шею. Огромные запасы белья позволяли им не устраивать стирки по полугоду и хранить его в глубине шкафов, поэтому время успевало окрасить его в свои серые, ветхие тона. Они вполне подходили друг другу по угрюмости и старообразности. Их лица, такие же выцветшие, как потертые их одежды, такие же сморщенные, как их панталоны, казались поношенными, заскорузлыми и как будто строили гримасы. Неряшливости Крюшо соответствовала и небрежность одеяния всех остальных, неказистого, несвежего, как подится в провинции, где незаметным образом перестают одеваться для других и боятся потратиться на пару перчаток. Отвращение к моде было единственным пунктом, где грассенисты и крюшотинцы совершенно сходились. Стоило парижанину взяться за лорнет с намерением рассмотреть своеобразную отделку зала, брусья потолка, цвет деревянной обшивки или мушиные следы, испещрившие ее в таком обилии, что их хватило бы на расстановку точек в «Методической энциклопедии» или «Монитере» \*, — немедленно игравшие и лото поднимали нос и глядели на него с таким любопытством, словно перед ними очутился жираф. Г-н де Грассен и сын его, для которых человек, следящий за модой, не был диковинкой, тем не менее выражали такое же изумление, как и их соседи, — потому что они поддавались непреодолимому влиянию всеобщего чувства, или же потому, что одобряли его, говоря своим согражданам ироническими подмигиваниями: «Вот каковы *они* там, в Париже». Все, впрочем, могли наблюдать за Шарлем сколько угодно, без опасения рассердить хозяина дома. Гранде был поглощен длинным письмом, бывшим у него в руках, и для его прочтения взял со стола единственную свечу, нimalo не заботясь о гостях и об их удовольствии. Евгения еще не видывала подобного совершенства и в манере одеваться и во всем облиции; двоюродный брат представлялся ей существом, спустившимся из каких-то ангельских сфер. С наслаждением вдыхала она благоухания, исходившие от его кудрей, таких блестящих, так красиво вьющихся. Ей хотелось погладить тонкую атласную кожу его прелестных перчаток. Она завидовала маленьким рукам Шарля, свежему цвету его лица и тонкости его черт. Словом, если только это сравнение может выразить все впечатления, внушенные изящным юношей девушке, ничего не знавшей, непрерывно занятой штопкою чулок, починкою отцовского платья, жизнь которой протекала под этим грязным потолком, на этой грязной улице, где она видела разве что одного прохожего за целый час, то появление кузена всколыхнуло в ее сердце такое же страстное волнение, какое вызывают в молодом человеке фантастические женские головки, рисованные Вестлом \* в английских кипсеках и гравированные резцом Финденов \* с таким искусством, что, подув на бумагу, боишься, как бы не улетели эти небесные видения. Шарль вынул из кармана носовой платок, вышитый великосветской

дамой, путешествовавшей по Шотландии. При виде этой прекрасной вышивки, выполненной с любовью в часы, потерянные для любви, Евгения взглянула на кузена, чтобы узнать, неужто он в самом деле пользуется таким платком. Манеры Шарля, его жесты, то, как он брался за свой лорнет, подчеркнутая беззастенчивость, презрение его к шкатулке, только что доставившей так много удовольствия богатой наследнице и которую он находил, очевидно, или грошовой, или смешной, — словом, все, что неприятно поражало и Крюшо и Грассенов, ей нравилось так сильно, что в тот вечер она, верно, долго не могла уснуть и грезила об этом фениксе среди кузенов.

Номера вынимались еще очень долго, но, наконец, лото кончилось. Нанета-громалина вошла и громко сказала:

— Сударыня, выдайте мне простыни на постель гостю.

Госпожа Гранде вышла вслед за Нанетой. Тогда г-жа де Грассен тихо сказала:

— Возьмем наши деньги и бросим игру.

Каждый взял свои два су со старого щербатого блюдечка; потом собравшиеся встали все сразу и несколько приблизились к огню.

— Что ж, кончили? — сказал Гранде, не отрываясь от письма.

— Да, да, — ответила г-жа де Грассен, заняв место возле Шарля.

Евгения, побуждаемая одной из тех мыслей, какие возникают у девушек, когда в сердце их впервые закрадывается чувство, вышла из зала, чтобы помочь матери и Нанете. Если бы умелый исповедник спросил ее, она бы несомненно призналась, что не думала ни о матери, ни о Нанете, но что ее одолевало острое желание осмотреть комнату, отведенную кузену, заняться там его устройством, что-нибудь там поставить, поглядеть, не забыли ли чего, все предусмотреть, постараться сделать ее насколько возможно уютной и чистой. Евгения уже считала, что лишь она одна способна угадать вкусы и привычки кузена. В самом деле, она явилась очень кстати: и мать и Нанета уже собирались уйти, думая, будто они уже сделали все необходимое, но она доказала им, что все только еще предстояло сделать. Она подала Нанете-громалине мысль согреть простыни грелкою с угольями из печи; она сама покрыла скатертью старый стол и крепко наказала Нанете менять ее каждое утро. Она убедила мать, что необходимо затопить камин, и уговорила Нанету притащить в коридор объемистую вязанку дров, ничего не говоря отцу. Она сама побежала в зал взять там в одном из угловых шкафов старый лакированный поднос — наследство от покойного старика де ла Бертельера, взяла там же шестигранный хрустальный стакан, ложечку со стершейся позолотой, старинный флакон с вырезанными на нем амурами и все это торжественно поставила на камин. За четверть часа у нее возникло больше мыслей, чем со дня появления ее на свет.

— Маменька,— сказала она,— братцу будет невыносим запах сальной свечки. Что, если бы нам купить восковую?..

Она вспорхнула легче птички и взяла из своего кошелька монету в сто су, выданную ей на месячный расход.

— Вот тебе, Нанета, беги скорей.

— А что папенька скажет?

Это страшное возражение было выдвинуто г-жой Гранде, когда она увидела в руках дочери сахарницу старинного северского фарфора, привезенную из замка Фруафон самим Гранде.

— А где же ты возьмешь сахару? Да ты с ума сошла!

— Маменька, Нанета купит и сахару и свечку.

— А папенька?

— Прилично ли, чтобы в его доме племянник не мог выпить стакана сахарной воды? Впрочем, папенька и внимания не обратит.

— Отец все видит,— сказала г-жа Гранде, качая головой.

Нанета колебалась: она знала хозяина.

— Ступай же, Нанета, ведь сегодня мое рождение!

Нанета громко захохотала, услышав первую в жизни шутку своей молодой хозяйки, и повиновалась ей. Пока Евгения с матерью изо всех сил старались украсить комнату, предназначенную г-ном Гранде для племянника, Шарль был предметом любезностей г-жи де Грассен, старавшейся привлечь его внимание.

— Вы очень мужественны, сударь,— сказала она ему,— если решились покинуть зимние удовольствия столицы для жизни в Сомюре. Но если вы не слишком боитесь нас, то увидите, что и здесь можно развлекаться.

Она бросила на него многозначительный взгляд, как истая провинциалка: в провинции женщины по привычке вкладывают в свои шоры столько сдержанности и осторожности, что сообщают им как-то слащавое вождление, свойственное иным духовным лицам, которым всякое удовольствие кажется или воровством, или греховным заблуждением. Шарль чувствовал себя в этом зале совершенно чужим, все здесь было так далеко от прекрасного замка и роскоши, какую он предполагал найти у дяди, что рад был встретить сочувствие, и, внимательно взглядываясь в г-жу де Грассен, разглядел, наконец, в ней полустершийся образ парижанки. Он любезно отвечал на косвенное приглашение, обращенное к нему, и разговор завязался сам собой, причем г-жа де Грассен постепенно понижала голос в соответствии с характером своих излияний. И она и Шарль испытывали одинаковую потребность в доверии. Таким образом, после нескольких минут кокетливого разговора и степенных шуток ловкая провинциалка, убедившись, что ее не слышат другие, говорившие о продаже вин, чем в это время был занят каждый сомюрец, успела сообщить парижанину:

— Сударь, если вы пожелаете оказать нам честь своим посеще-

нием, вы, разумеется, доставите большое удовольствие и моему мужу и мне. Наш салон — единственный в Сомюре, где собираются представители крупной коммерции и представители дворянства: мы принадлежим к двум кругам общества, и они предпочитают встречаться только у нас, потому что у нас весело. Моего мужа — я с гордостью говорю это — одинаково уважают и те и другие. Таким образом, мы постараемся доставить вам развлечение в дни вашего скучного пребывания здесь. Если бы вы безвыходно сидели у господина Гранде, — боже мой, что случилось бы с вами! Дядюшка ваш — скряга и думает только о своих виноградных отводках, ваша тетушка — святоша, неспособная связать две мысли в голове, а ваша кузина — дурочка, необразованная, пошленькая, без приданого, весь свой век проводит за чинкой тряпья.

«Она очень мила, эта барынька», — заметил про себя Шарль, отвечая на жеманные заигрывания г-жи де Грассен.

— Да ты, жена, сдаётся мне, собираешься взять на откуп господина Гранде, — сказал со смехом грузный и рослый банкир.

На это замечание нотариус и председатель отозвались более или менее схидными словами; но аббат взглянул на них с лукавым видом, взял понюшку табаку и, предлагая табакерку окружающим, кратко выразил их мысли:

— Кто же лучше госпожи де Грассен мог бы для господина Гранде олицетворить сомюрское радушие?

— Вот как! В каком же смысле вы это понимаете, господин аббат? — спросил г-н де Грассен.

— Я это понимаю, сударь, в смысле самом лестном для вас, для вашей супруги, для города Сомюра и для столичного гостя, — прибавил хитрый старик, оборачиваясь к Шарлю.

Не обращая, казалось, ни малейшего внимания на разговор Шарля и г-жи де Грассен, аббат Крюшо сумел угадать его смысл.

— Сударь, — обратился, наконец, к Шарлю Адольф, стараясь придать себе непринужденный вид, — не знаю, помните ли вы меня сколько-нибудь. Я имел удовольствие быть вашим визави на балу у барона де Нусингена, и...

— Совершенно верно, сударь, совершенно верно, — отвечал Шарль, с удивлением видя, что оказался предметом всеобщего внимания. — Это ваш сын, сударыня? — спросил он г-жу де Грассен.

Аббат ехидно взглянул на мамашу.

— Да, сударь, — ответила она.

— Так вы, очевидно, еще совсем юным были в Париже? — продолжал Шарль, обращаясь к Адольфу.

— Что поделаешь! — сказал аббат. — У нас сыновей госылают в Вавилон, как только их отнимут от груди. — Г-жа де Грассен бросила на аббата удивительно глубокий, вопрошающий взгляд. — Нужно приехать в провинцию, — сказал он, продолжая разговор, — чтобы

встретить женщин тридцати лет с небольшим, так прекрасно сохранившихся, как госпожа де Грассен, у которой сыновья скоро будут лицензиатами прав. Мне кажется, я еще переживаю день, когда в бальном зале молодые люди и дамы становились на стулья, чтобы видеть, как вы танцуете, сударыня,— прибавил аббат, поворачиваясь к своему противнику в женском образе.— Право, ваш триумф как будто был только вчера...

«Ах, старый злодей! — воскликнула в душе г-жа де Грассен.— Неужто он меня разгадал?»

«Кажется, мне предстоит большой успех в Сомюре»,— думал про себя Шарль, расстегивая сюртук, закладывая руку за жилет и устремляя вдаль задумчивый взор,— подражание позе, приданной Чантри \* лорду Байрону.

Невнимание старика Гранде, или, лучше сказать, озабоченность, в какую погружало его чтение письма, не ускользнули ни от нотариуса, ни от председателя, и они старались угадать содержание этого письма по неуловимым движениям лица хозяина, как раз ярко освещенного свечой. Винодел с трудом сохранял привычно спокойное выражение лица. Впрочем, каждый сможет себе представить нарочито спокойный вид этого человека, читая нижеследующее роковое письмо:

«Дорогой брат, вот уже скоро двадцать три года, как мы не виделись с тобой. Моя женитьба была поводом для нашего последнего свидания, после чего мы расстались, радуясь друг на друга. Конечно, я никак не мог предвидеть, что со временем ты будешь единственной опорой семьи, процветание которой ты приветствовал. Когда это письмо попадет в твои руки, меня уже не будет на свете. Я попал в безвыходное положение и не хочу пережить позор банкротства. Я до последней минуты держался на краю бездны, все еще надеясь выбраться. Приходится упасть в нее. Банкротство моего биржевого маклера и де Рогена, моего нотариуса, отняло у меня последние средства,— у меня ничего не осталось. К моему отчаянию, я должен около четырех миллионов, а могу уплатить кредиторам не более двадцати пяти процентов всей суммы долга. Мои вина лежат на складе мертвым грузом из-за сокрушительного понижения цен, которое вызвано обильным урожаем винограда прекрасного качества. Через три дня Париж скажет: «Господин Гранде был мошенник!» Я, честный человек, буду лежать, покрытый саваном бесчестия. Я лишаю своего сына и честного имени, запятнанного мною, и состояния его матери. Бедный мальчик об этом ничего не знает. Я боготворю его. Мы нежно простились. К счастью, он и не знал, что в этом прощании излилась последняя волна жизни моей. Неужели он когда-нибудь будет проклинать меня? Брат мой, брат мой! как ужасно проклятие детей! Они могут обжаловать наше проклятие,

но их проклятие неотменно. Гранде, ты — старший, ты обязан за меня вступиться. Сделай так, чтобы у Шарля не вырвалось ни одного горького слова на моей могиле. Брат мой, если бы я писал к тебе кровью и слезами, в них не было бы столько страдания, сколько стоит мне это письмо; тогда я плакал бы, истекал кровью, я умер бы, и кончились бы мои муки. Но я страдаю без единой слезы — и вижу перед собой смерть. И вот ты теперь — отец Шарля: у него нет родных со стороны матери — ты знаешь почему. Зачем я не послушался общественных предрассудков? Зачем покорился любви? Зачем женился на побочной дочери большого барина? У Шарля нет больше семьи. О мой несчастный сын! Мой сын!

Слушай, Гранде, я взываю к тебе не с мольбой за себя, — и возможно, ты не столь богат, чтобы выдержать залог в три миллиона, — но я молю за сына. Знай, брат, я с мольбой простираю к тебе руки. Гранде, умирая, я вверяю тебе Шарля. Я уверен, что ты заменишь ему отца, и без душевной боли смотрю на пистолеты. Шарль очень любил меня; я был к нему добр, никогда не огорчал его. Нет, он не проклянет меня. Ты сам увидишь, он кроток, — он так похож на свою мать, он никогда не причинит тебе горя.

Бедный мальчик, он привык к роскоши, не ведает ни одного из лишений, на какие обрекла нас с тобою бедность с первых дней. И вот он разорен, он одинок. Все друзья покинут его, и это я буду виновником его унижения. Ах, хотелось бы мне обладать достаточно твердой рукой, чтобы одним ударом избавить его от этого и соединить его в небесах с матерью. Безумная мысль!

Возвращаюсь к моему счастью, к несчастью Шарля. Я послал его к тебе, чтобы ты должным образом объявил ему о моей смерти и о его грядущей судьбе. Будь отцом для него, и отцом добрым. Не отрывай его сразу от беспечной жизни, а то ты убьешь его. На коленях молю его отказаться от судебного иска, который он мог бы предъявить как наследник матери. Но эта излишняя просьба, у него есть чувство чести, он поймет, что не должен вступать в число моих кредиторов. Уговори его во-время отказаться от наследства. Открой ему, в какие суровые условия жизни я поставил его, и если он сохранит нежность ко мне, убеди его от моего имени, что не все для него потеряно. Да, труд спас нас обоих, труд может и ему вернуть богатство, которое я у него похищаю. И если он захочет внять голосу отца, который ради него хотел бы встать на миг из могилы, пусть он уезжает, пусть отправится в Индию. Брат мой! Шарль — честный и мужественный юноша. Ты снабдишь его товаром, и он скорее умрет, чем не вернет того, что ты одолжишь ему на первые расходы. Ведь ты же дашь ему ссуду, Гранде! Иначе совесть тебя замучит. Помни, если мое дитя не найдет у тебя ни помощи, ни ласки, я вечно буду молить создателя об отомщении за твою черствость. О, если бы я мог спасти хоть кое-какие ценности,

и имел бы полное право передать ему сколько-нибудь денег в счет наследства от матери, но уплаты при окончании месяца поглотили все мои средства. Мне тяжело умирать, терзаясь сомнениями об участи моего сына; я хотел бы почувствовать святые обещания в горячем пожатии твоей руки, которое меня согрело бы. Но времени у меня нет. Пока Шарль в дороге, я должен составить баланс. Я постараюсь доказать с добросовестностью, руководившей всеми моими действиями, что в моем разорении нет ни вины, ни бесчестности. Разве это не забота о Шарле? Прощай, брат! Да будет над тобою во всем благословение божье за великодушную опеку над моим сыном, ибо, я не сомневаюсь, ты примешь ее на себя. Будет голос, вечно молящийся за тебя в том мире, куда мы рано или поздно должны перейти, и я уже стою на пороге его.

*Виктор-Анж-Гильом Гранде».*

— Беседуете? — сказал старый Гранде, старательно складывая письмо по стибам и пряча его в жилетный карман.

Он посмотрел смущенно и опасливо на племянника, скрывая свое волнение и свои расчеты.

— Согрелись?

— Отлично, дядюшка!

— Ну, а где же наши дамы? — сказал дядя, совсем позабыв, что племянник ночует у него.

В эту минуту вошли Евгения и г-жа Гранде.

— Готово ли все наверху? — спросил старик, овладев собой.

— Да, папенька.

— Ну-с, племянничек, если ты устал, Нанета проводит тебя в твою комнату. Только это не какие-нибудь франтовские апартаменты! Но ты не посетуешь на бедных виноделов, у которых нет никогда копейки за душой. Налоги поглощают у нас все.

— Мы не хотим мешать вам, Гранде, — сказал банкир. — Вам, наверно, нужно поговорить с племянником. Желаем вам доброго вечера. До завтра!

При этих словах все поднялись с мест, и каждый откланялся соответственно своему характеру. Старый нотариус пошел взять у двери свой фонарь и стал его зажигать, предложив де Грассенам проводить их. Г-жа де Грассен не могла предвидеть происшествия, заставившего кончить вечер преждевременно, и слуга ее еще не пришел.

— Может быть, вы разрешите мне взять вас под руку, сударыня? — сказал аббат Крюшо г-же де Грассен.

— Благодарю, господин аббат. Я пойду с сыном, — ответила она сухо.

— Со мной дамы не могут себя скомпрометировать,— возразил аббат.

— Дай же руку господину Крюшо,— сказал супруг.

Аббат повел хорошенькую даму достаточно быстро, чтобы оказаться на несколько шагов впереди шествия.

— А молодой человек очень мил, сударыня,— сказал он, прижимая ее руку.— *Прощайте, корзины, виноград собран.* Придется вам попроситься с барышней Гранде. Евгения достанется парижанину. Если только у этого кузена нет какой-нибудь страстишки в Париже, будет вашему сыну Адольфу соперник, самый...

— Да перестаньте, господин аббат! Молодой человек очень скоро заметит, что Евгения глупенькая девушка, да она уж и потеряла свежесть. Всмотрелись вы в нее? Она нынче вечером была желтая, как лимон.

— Вы помогли кузену это разглядеть?

— Даже без всякого стеснения.

— Садитесь всегда, сударыня, около Евгении, и вам не придется много наговаривать молодому человеку на кузину, он сам сумеет сделать сравнение, которое...

— Прежде всего, он обещал прийти ко мне обедать послезавтра.

— Эх, захотели бы вы, сударыня...— сказал аббат.

— А чего мне, по-вашему, нужно захотеть, господин аббат? Не собираетесь ли вы давать мне дурные советы? Не для того я дожидая до тридцати девяти лет с незапятнанной, слава богу, репутацией, чтобы подвергать ее опасности, даже если бы дело шло о целой империи великого Могола. Мы с вами в таком возрасте, когда люди отвечают за свои слова. Для духовного лица мысли у вас в самом деле весьма непристойные. Фи, это ведь подстать Фоблазу\*.

— Так вы читали «Фоблаза»?

— Нет, господин аббат, я хотела сказать — «Опасные связи»\*.

— О, эта книга бесконечно более нравственная,— со смехом сказал аббат.— Да вы меня считаете таким же испорченным, как нынешние молодые люди. Я просто хотел вас...

— Посмейте только сказать, что вы не собирались насочетовать мне всяких гадостей! Разве это не ясно? Если бы этот молодой человек,— очень милый, я согласна,— стал ухаживать за мной, он бы и не думал о своей кузине. В Париже, я знаю, иные добродетельные маменьки таким образом жертвуют собой ради счастья и будущего своих детей, но мы живем в провинции, господин аббат...

— О сударыня!

— И ни я,— продолжала она,— ни сам Адольф не пожелаем получить и сто миллионов такой ценой.

— Сударыня, о ста миллионах я и не говорил. Такое искушение было бы, пожалуй, не под силу ни мне, ни вам. Я лишь ползгаю, что порядочная женщина может, не нарушая приличий, позволить

себе легкое кокетство, без последствий, это даже входит в число ее светских обязанностей, и...

— Вы думаете?

— Разве мы не должны стараться, сударыня, быть приятными друг другу?.. Позвольте высморкаться. Уверяю вас, сударыня, что он рассматривал вас в лорнет более лестным взглядом, чем меня. Но я ему прощаю, что он чтит красоту больше, чем старость.

— Все ясно,— говорил председатель своим грубым голосом.— Господин Гранде из Парижа послал своего сына в Сомюр с целями в высшей степени матримониальными.

— Но тогда кузен не ворвался бы неожиданно-негаданно,— ответил нотариус.

— Это ничего не значит,— заметил де Грассен,— наш старик себе на умс.

— Де Грассен, друг мой, я этого молодого человека пригласила к нам пообедать. Тебе надо сходить и просить к нам господина и госпожу Ларсоньер и господ дю Отуа, с красавицей дочкой, разумеется. Только бы в этот день она получше оделась! Мамаша из ревности наряжает ее так скверно. Я надеюсь, господа, что и вы окажете нам честь посетить нас?— прибавила она, останавливая шествие, чтобы повернуться к обоим Крюшо.

— Вот вы и дома, сударыня,— сказал нотариус.

Раскланявшись с тремя Грассенами, трое Крюшо отправились домой, и пустив в ход тот гений анализа, которым обладают провинциалы, со всех сторон обсудили великое событие этого вечера, совершенно менявшее позиции крющотинцев и грассенистов по отношению друг к другу. Поразительный здравый смысл, неизменно управлявший действиями этих великих дипломатов, заставил их всех почувствовать необходимость временного союза против общего неприятеля. Не должны ли они совместными усилиями помешать Евгению влюбиться в своего кузена, а Шарлю — помышлять о своей кузине? Разве сможет парижанин противостоять коварным наветам, слащавой клевете, хвалебному злорочию, простодушным уверениям, которые настойчиво будут виться вокруг него, облепят его, как пчелы облепляют воском несчастную улитку, попавшую в их улей.

Когда родственники остались в зале одни, г-н Гранде сказал племяннику:

— Пора спать. Сейчас поздно разговаривать о делах, которые привели вас сюда. Завтра найдем подходящую минуту. Мы тут завтракаем в восемь часов. В полдень закусываем — немного фруктов, кусочек хлеба — и выпиваем стакан белого вина, а обедаем, как и парижане, в пять часов. Вот наш распорядок. Если тебе хочется посмотреть город и окрестность, ты свободен, как ветер. Только уж извини, дела не всегда мне позволят сопутствовать тебе. Ты, пожалуй, услышишь в городе разговоры о моем богатстве:

«Господин Гранде — здесь, господин Гранде — там». Пусть говорят: их болтовня моему кредиту не повредит. Но у меня нет ни гроша, и я в мои годы работаю, как мальчишка-подмастерье, у которого только и есть, что плохой рубанок да пара здоровых рук. Вот, может быть, скоро по себе увидишь, чего стоит каждый грош, когда он потом достается... Эй, Нанета, свечу!

— Надеюсь, дорогой племянник, что там найдется все, что вам понадобится,— сказала г-жа Гранде.— А если чего не достанет, кликните Нанету.

— Дорогая тетушка, не беспокойтесь. Я как будто захватил все, что мне нужно. Позвольте пожелать спокойной ночи вам и кузине.

Шарль взял из рук Нанеты зажженную свечу, свечу анжуйскую, густо-желтого цвета, залежавшуюся в лавочке и столь похожую на салную, что г-н Гранде, неспособный заподозрить существование восковых свечей в его доме, даже не заметил этого великолепия.

— Я вас провожу,— сказал старик.

Вместо того чтобы выйти из зала в дверь под аркой ворот, Гранде проделал церемониальный путь коридором, отделявшим зал от кухни. Со стороны наружной лестницы коридор закрывала дверь с большим овальным стеклом, снабженная пружиной, чтобы не давать доступа холоду, тянувшемуся со двора. Однако зимой ветер прорывался в коридор очень резко, и, несмотря на прокладку под дверью зала, тепло там с трудом поддерживалось в надлежащей мере. Нанета пошла заложить на засов наружную дверь, заперла зал, затем спустила в конюшне волкодава, лаявшего так хрипло, как будто у него был ларингит. Этот пес, знаменитый своей свирепостью, признавал только Нанету. Два деревенских существа понимали друг друга.

Когда Шарль увидел пожелтелые и закопченные стены лестничной клетки, почувствовал, как трясутся полусгнившие ступеньки под грузными шагами дядюшки, его отрезвление пошло *rinforzando*<sup>1</sup>. Ему показалось, что он на насесте для кур. Обернувшись, он посмотрел на тетку и кузину вопрошающим взглядом, но они так привыкли к этой лестнице, что, не догадываясь о причине его удивления, сочли этот взгляд за дружелюбный привет и ответили приятной улыбкой, повергшей его в отчаяние.

«Какого черта отец послал меня сюда?» — подумал Шарль.

Поднявшись на первую площадку лестницы, он заметил три двери, выкрашенные этрусской красной краской; эти двери без наличников, сливавшиеся с пыльной стеной, были обиты бросающимися в глаза железными полосами, на заклепках, изогнутыми в виде огненных языков; такие же языки были и вокруг продолговатой замочной скважины. Дверь, что находилась ближе к лестнице и

<sup>1</sup> Быстрым темпом (*итал.*).

вела в комнату над кухней, явно была заложена. И действительно, в эту комнату, служившую Гранде кабинетом, можно было пройти только через его спальню. Единственное окно кабинета, выходящее во двор, было забрано железной решеткой с толстыми прутьями. Никому, даже самой г-же Гранде, не позволялось туда входить. Хозяин желал оставаться здесь один, как алхимик у своего горна. Здесь, разумеется, был весьма искусно устроен тайник; здесь хранились всяческие документы, здесь находились весы для взвешивания луидоров, здесь тайно по ночам писались квитанции, расписки, производились подсчеты и расчеты; и деловые люди, находя Гранде всегда готовым на любые финансовые операции, могли воображать, что к его услугам постоянно были не то фея, не то дьявол. Когда Нанета храпела так, что тряслись стены, когда волкодав сторожил и, зевая, бродил по двору, когда г-жа Гранде и Евгения спали мирным сном, несомненно старый бочар приходил сюда ссыпать, лелеять, перебирать, пересыпать, перекладывать свое золото. Стены были толсты, ставни надежны. У него одного был ключ от этой лаборатории, где, как говорили, он рассматривал планы своих владений с обозначенными на них плодовыми деревьями и высчитывал своей прибыли до последнего отводка виноградной лозы, до малейшего прутика.

Вход в комнату Евгении был напротив этой заделанной двери. Затем, в конце площадки находились покои обоих супругов, занимавших всю переднюю часть дома. Г-жа Гранде спала в комнате, соседней с комнатой Евгении, куда вела стеклянная дверь. Комната хозяина отделялась от комнаты жены перегородкою, а от таинственного кабинета — толстой стеною.

Папаша Гранде поместил племянника на третьем этаже, в высоком мансарде, как раз над своей комнатой, чтобы слышать, когда он приходит и уходит. Дойдя до середины площадки, Евгения и ее мать перед расставаньем поцеловались; потом, сказав Шарлю на прощанье несколько слов, холодных на устах, но, несомненно, горячих в сердце девушки, они разошлись по своим комнатам.

— Вот ты и у себя, племянничек,— сказал старый Гранде, отворяя ему дверь.— Если понадобится выйти, можешь позвать Нанету. Предупреждаю, без нее собака может тебя загрызть, ты и крикнуть не успеешь. Приятного сна, спокойной ночи. Ха! Ха! наши дамы у тебя натопили,— прибавил он.

В эту минуту появилась Нанета-громадина, вооруженная грелкой.

— Это еще что за новости? — воскликнул г-н Гранде.— Вы что, принимаете моего племянника за беременную женщину? Унеси-ка уголья, Нанета.

— Да ведь простыни отсырели, хозяин, а, видать, племянник ваш неженка не хуже женщины.

— Ну уж ладно, коли вбила себе это в голову,— сказал Гранде, толкая ее за плечи,— да смотри, не зарони огня.

И скряга пошел вниз, бормоча какие-то неясные слова.

Шарль, растерявшись, остановился среди своих баулов. Он окинул взглядом стены мансарды, оклеенные, как в трактире, желтыми обоями с букетиками; потрескавшийся камин, сложенный из известняка и одним видом своим нагонявший холод; стулья желтого дерева, украшенные лакированным камышом и, казалось, имевшие более четырех углов; ночной столик с раскрытым шкапчиком, где мог бы поместиться маленький канатный плясун; тощий ковер, постланный у кровати с пологом, суконные полотнища которого, изъеденные молью, дрожали, словно собирались упасть,— затем Шарль пристально посмотрел на Нанету-громadini и сказал ей:

— Вот что, голубушка, я в самом деле у господина Гранде, бывшего сомюрского мэра, брата парижского господина Гранде?

— Да, сударь, у него самого, у приятнейшего, добрейшего господина. Не помочь ли вам разложить ваши сундуки?

— Да, да, помогите, пожалуйста, старый служака. А не служили ли вы в императорских морях гвардейского экипажа?

— О-хо-хо!— произнесла Нанета.— А что же это такое — моряки в экипаже? Что же это, соленое? По воде ходит?

— Ну-ка, найдите халат, вот в этом чемодане. Нате ключ.

Нанета была потрясена, как чудом, увидев шелковый зеленый халат с золотыми цветами и с античным узором.

— И вы это наденете на ночь?— спросила она.

— Да.

— Мать божья! Что за прекрасный вышел бы из этого покров на престол. Непременно, барин мой миленький, отдайте его в церковь. Вы душу спасете, а этак ее и загубите. Ах, какой же вы в нем красавчик! Позову барышню поглядеть на вас.

— Ладно, Нанета, раз уж вы Нанета, помолчите. Не мешайте мне спать. Вещи свои я разложу завтра. А уж если мой халат вам так нравится, может спасти свою душу. Я хороший христианин и подарю его вам, когда буду уезжать; сделайте из него все, что вам заблагорассудится.

Нанета так и застыла на месте, глядя на Шарля во все глаза, не смея верить его словам.

— Подарить мне такой красивый наряд! — сказала она уходя.— Это он уж во сне. Спокойной ночи!

— Спокойной ночи, Нанета...

«За каким делом я здесь оказался? — спрашивал себя Шарль засыпая— Отец ведь разумный человек — какая-нибудь цель должна быть у моего путешествия. Ладно, «до завтра важные дела», как говорил какой-то греческий олух».

«Пресвятая дева! Как мил мой кузен»,— сказала про себя Евгения,

прерывая молитвы,— в этот вечер они так и не были дочитаны до конца.

Госпожа Гранде, укладываясь в постель, ни о чем не думала. За дверью, находившейся посреди перегородки, она слышала, как скривга шагала взад и вперед по своей комнате. Подобно всем робким женщинам, она давно изучила характер своего властелина. Как чайка предвидит бурю, так она по неуловимым признакам всегда угадывала бури, бушевавшие в груди Гранде, и, по ее обычному выражению,— она тогда лежала ни жива ни мертва.

Гранде посматривал на дверь кабинета, обитую изнутри, по его распоряжению, листовым железом и говорил себе:

«Что за нелепая мысль пришла брату — завещать мне свое детище! Вот так наследство, нечего сказать! Я и двадцати экю дать не могу. А что такое двадцать экю для этого франта! Он так рассматривал в лорнет мой барометр, словно хотел сжечь его в печке».

Раздумывая о последствиях этого скорбного завещания, Гранде испытывал, может быть, еще большее волнение, чем брат, когда писал его.

«И это раззолоченное платье будет моим?...» — думала Нанета и, засыпая, видела себя в мечтах одетой в свой напестольный покров, грезила о цветах, коврах, узорчатых шелках, в первый раз в жизни, как Евгения грезила о любви.

В чистой и безмятежной жизни девушек наступает чудесный час, когда солнце заливает лучами их душу, когда каждый цветок что-то говорит им, когда биение сердца сообщает мозгу горячую плодотворность и сливает мечты в смутном желании,— день невинного раздумья и сладостных утех. Когда ребенок впервые начинает видеть, он улыбается. Когда девушке впервые открывается непосредственное чувство, она улыбается, как улыбалась ребенком. Если свет — первая любовь в жизни, то любовь не свет ли сердцу?

Минута ясного представления об окружающем наступила и для Евгении. Ранняя птичка, как все провинциальные девушки, она поднялась на заре, помолилась и принялась за свой туалет,— занятие, с этих пор получившее для нее смысл. Сначала она расчесала свои каштановые волосы, с величайшей тщательностью свернула их толстыми жгутами на голове, стараясь, чтобы ни одна прядка не выбилась из косы, и привела в симметрию локоны, оттенявшие робкое и невинное выражение ее лица, согласуя простоту прически с чистотою его линий. Она несколько раз вымыла свои прекрасные округлые руки в прозрачной холодной воде, от которой грубела и краснела кожа, и глядя на них, задавала себе вопрос: почему у ее кузена такие мягкие белые руки и так изящно отделаны ногти, что он для этого делает. Она надела новые чулки и лучшие башмаки, она туго зашнуровалась, не пропуская ни одной петельки

словами. Ее черты, контуры ее лица, которых никогда не искажало и не утомляло выражение чувственного удовольствия, походили на линии горизонта, так нежно обрисовывающиеся вдаль, за тихими озерами. Это спокойное лицо, исполненное красок, озаренное солнцем, словно только что распустившийся цветок, веяло на душу отдохновением, отражало внутреннее очарование спокойной совести и притягивало взор. Евгения находилась еще на том берегу жизни, где цветут младенческие грезы, где собирают маргаритки с отрадою, позднее уже неизвестной. И вот, рассматривая себя, она сказала, еще не ведая, что такое любовь:

— Я совсем некрасива, он не обратит на меня внимания!

Потом она отворила дверь своей комнаты, выходящую на площадку лестницы, и, вытянув шею, прислушалась к звукам, раздававшимся в доме.

«Он еще не встает», — подумала она, слыша, как покашливает Нанета, всегда кашлявшая по утрам, как эта усердная девица ходит по коридору, метет зал, разводит огонь, привязывает на цепь собаку и говорит с коровой в хлеву. Евгения тотчас же сошла вниз и побежала к Нанете, доившей корову.

— Нанета, милая Нанета, подай братцу сливок к кофею.

— Барышня, да ведь молоко-то для отстою надо было поставить вчера, — сказала Нанета, залившись басистым хохотом. — Не могу я сделать сливок. А братец ваш — миленький, миленький, воистину миленький! Вы вот его не видали в раззолоченном да шелковым халатике. А я-то видела, видела. А белье носит он тонкое, словно стихарь у господина кюре.

— Нанета, испеки, пожалуйста, печенья.

— А где мне взять дров для духовки, да муки, да масла? — сказала Нанета, иной раз приобретающая в качестве первого министра Гранде огромное значение в глазах Евгении и ее матери. — Что ж мне, обворовывать его, что ли, самого-то, чтобы ублажать вашего братца?.. Спросите у него масла, муки, дров, — он вам отец, он вам и дать может. Да вот он как раз идет вниз распорядиться насчет припасов.

Евгения убежала в сад, охваченная ужасом, чуть только услышала, как дрожит лестница под шагами ее отца. Она уже сгорала от затаенного стыда, ибо переполняющее душу чувство счастья заставляет нас опасаться, и, может быть, не напрасно, что мысли наши написаны у нас на лбу и всем бросаются в глаза. Осознав, наконец, всю холодом веющую скудость отцовского дома, бедная девушка почувствовала досаду оттого, что ничего не может сделать, чтобы все тут было достойно ее изящного кузена. Ее томила страстная потребность что-то сделать для него, но что — она сама не знала. Простодушная и правдивая, она поддавалась влечению ангельской своей природы, была чужда недоверия и к собственным впечатлениям

и к чувствам. Нежданная встреча с кузеном пробудила в ней природные склонности женщины, и они должны были развернуться тем живее, что ей уже пошел двадцать третий год и она вступила в пору расцвета умственных и телесных сил. Впервые она испытала страх при виде отца, увидела в нем владыку своей судьбы и почувствовала себя виновной, утаив от него некоторые свои мысли. Она принялась ходить по саду стремительным шагом, изумленная тем, что дышит воздухом более чистым, чувствует лучи солнца более живительными и черпает в них жар душевный, обновленную жизнь.

В то время как она придумывала хитрость, чтобы добиться к завтраку печенья, между Нанетой и Гранде поднялись пререкания, столь же редкие между ними, как редко появление ласточек зимой. Хозяин, вооруженный ключами, пришел отвешивать припасы на дневной расход.

— Осталось ли сколько-нибудь вчерашнего хлеба? — спросил он Нанету.

— Ни крошки, сударь.

Гранде взял большой круглый каравай, густо обсыпанный мукой, выпеченный в круглых плоских плетенках, употребляемых анжуйскими булочниками, и уже хотел его разрезать, но тут Нанета сказала ему:

— Сегодня нас пятеро, сударь.

— Правда, — ответил Гранде, — но в твоём хлебе шесть фунтов, должно еще остаться. К тому же эти парижские молодчики, вот у видишь, совсем не едят хлеба.

— Они едят только *фрипп*? — спросила Нанета.

В Анжу *фрипп*, выражение народное, означает все, что намазывается на хлеб, начиная с масла — самый обычный «фрипп» — и кончая персиковым вареньем, самым изысканным из *фриппов*; и всякий, кто в детстве слизывал *фрипп* и оставлял хлеб, поймет смысл этого слова.

— Нет, — отвечал Гранде, — они не едят ни *фриппа*, ни хлеба. Они вроде разборчивых невест.

Наконец, скаречно распорядившись заказом блюд на предстоящий день, старик запер шкапы в кладовой и направился было к фруктовому саду, но Нанета остановила его:

— Сударь, дайте-ка мне теперь муки и масла, я испеку печенья детям.

— Ты что? Собираешься разграбить дом ради моего племянника?

— Столько же я думала о вашем племяннике, сколько о вашей собаке, — не больше, чем сами вы о нем думаете... Не вы ли сейчас мне выдали всего шесть кусков сахара? А мне нужно восемь.

— Вот как! Нанета, я никогда тебя такой не видел. Что у тебя

в голове? Ты что, хозяйка здесь? Не будет тебе больше шести кусков сахару.

— Ну, а как же племянник ваш? С чем он кофей будет пить?

— С двумя кусками. Я без сахару обойдусь.

— Вы обойдетесь без сахару — в ваши годы! Да уж лучше я вам из своего кармана куплю.

— Не суйся не в свое дело.

Несмотря на понижение цен, сахар все-таки оставался, по мнению бочара, самым дорогим из колониальных товаров, в его представлении сахар все еще стоил шесть франков за фунт. Обыкновение экономить сахар, принятое во времена Империи, стало неискоренимою привычкою для г-на Гранде. Все женщины, даже самые простоватые, умеют хитрить, чтобы поставить на своем. Нанета оставила вопрос о сахаре, чтобы добиться печенья.

— Барышня! — закричала она в окошко. — Ведь хочется вам печенья?

— Нет, нет! — ответила Евгения.

— Ладно, Нанета, — сказал Гранде, услышав голос дочери, — держи!

Открыв ларь с мукой, он насыпал мерку и прибавил несколько унций масла к куску, отрезанному раньше.

— Надо дров, чтобы духовку подтопить, — сказала неумолимая Нанета.

— Ну, так и быть, возьми сколько нужно, — отвечал он в раздумье, — только тогда уж ты нам сделай торт с фруктами и свари в духовке весь обед: не придется разводить огонь в двух местах.

— Эка! — возмутилась Нанета. — Не к чему мне это и говорить. Гранде бросил на своего верного министра взгляд почти отеческий.

— Барышня, — закричала кухарка, — будет печенье!

Старик Гранде возвратился с фруктами и выложил первую тарелку на кухонный стол.

— Гляньте-ка, сударь, что за красота сапоги у вашего племянника, — сказала Нанета. — Кожа-то какова и до чего хорошо пахнет! А чем это чистят? Нужно ли их смазывать вашей яичной ваксой?

— Думаю, Нанета, что яичной ваксой можно такую кожу испортить. Лучше скажи ему, что ты не знаешь, как чистят сафьян. Да, это сафьян. Он сам купит в Сомюре и даст тебе, чем начищать эти сапоги. Я слышал, будто для них в ваксу прибавляют сахару, чтобы лучше блестело.

— Так, верное, это и на вкус хорошо! — сказала служанка, поднося сапоги к носу. — Ну, ну! Они пахнут, как барынин одеколон. Вот так потеха!

— Потеха? — повторил хозяин. — По-твоему, потеха просаживать на сапоги уйму денег. Тот, кто их носит, сам таких денег не стоит.

— Сударь,— сказала она, когда хозяин пришел второй раз, уже заперев калитку фруктового сада,— не хотите ли раз-другой в неделю подать к столу бульон — по случаю приезда...

— Ладно.

— Придется сбегать в мясную.

— Вовсе не надо: ты сваришь нам бульон из птицы, фермеры зададут тебе работы. Вот я скажу Корнуае настрелять мне воронов. Из воронов выходит лучший бульон на свете.

— А правда, сударь, будто вороны едят мертвецов?

— Ты дура, Нанета! Они, как и все не свете, едят, что найдут. Разве мы-то не живем мертвецами? А наследство что такое?

Закончив распоряжения, папаша Гранде вынул часы и, видя, что завтрака еще ждать полчаса, взял шляпу, пошел к дочери поцеловать ее и сказал:

— Не хочешь ли прогуляться по берегу Луары на мои луга? У меня там есть дело.

Евгения пошла надеть соломенную шляпу, подбитую розовой тафтой; затем отец с доречью спустились по извилистой улице к площади.

— Куда это вы в такую рань? — спросил нотариус Крюшо, повстречавшийся Гранде.

— Кое-что посмотреть,— отвечал старик, которого не ввела в обман утренняя прогулка приятеля.

Когда папаша Гранде шел «кое-что посмотреть», нотариус по опыту знал, что тут можно кое-что заработать. И он пошел вместе с Гранде.

— Пойдемте, Крюшо,— сказал тот нотариусу.— Мы с вами друзья. Вот я вам докажу, до чего глупо сажать тополя на хороших землях.

— А вы ни во что считаете шестьдесят тысяч франков, которые мы выручили за тополя с ваших лугов на Луаре? — сказал Крюшо, недоуменно вытаращив глаза.— И повезло же вам! Срубили тополя как раз, когда в Нанте был недостаток белого дерева, и сбыли по тридцать франков!

Евгения слушала, не подозревала, что близится страшная минута ее жизни, что нотариус даст повод ее отцу и повелителю произнести над нею приговор.

Гранде дошел до принадлежавших ему великолепных лугов по берегу Луары; там были заняты тридцать работников, они расчищали, засыпали и уравнивали места, прежде занятые тополями.

— Любезный Крюшо, посмотрите, какой кусок земли занимает каждый тополь,— сказал Гранде нотариусу.— Жан! — крикнул он работнику.— П... п... прикинь-ка меркой по... по... всем направлениям!

— Четыре раза по восьми футов,— отвечал работник примерив.

— Тридцать два фута потери,— обратился Гранде к Крюшо.— У меня в этом ряду было триста тополей, не так ли? Стало быть, т... т... триста раз по т... т... тридцать два фута... эти тополя съедали у меня п... п... пятьсот вязанок сена. Прибавьте ровно вдвое по краям — полторы тысячи; да средние ряды по столько же. Скажем, ты... ты... тысяча вязанок сена.

— Итого,— поспешил Крюшо на помощь приятелю,— тысяча вязанок такого сена стоят около шестисот франков.

— П... п... правильное — ты... ты... тысяча двести франков, п... потому что от трехсот до четырехсот франков дает отава. Так вот по... по... по... подсчитайте: т... т... т... тысяча двести франков в год за... за... сорок лет да... да... дадут с сложными п... п... процентами — вы сами з... з... знаете...

— Считайте шестьдесят тысяч франков,— сказал нотариус.

— Вот я и говорю! В... в... всего только шестьдесят тысяч франков. Дело в том,— продолжал винодел, уже не заикаясь,— что две тысячи сорокалетних тополей не дали бы мне пятидесяти тысяч франков. Здесь убыток. И вот я это подсчитал,— сказал Гранде вызывающе.— Жан,— продолжал он,— засыпай все ямы, кроме тех, что у берега Луары,— в них посадите тополя, которые я купил. Посадим их корнями к воде, они и будут жить на казенный счет,— прибавил он, оборачиваясь в сторону Крюшо, и шишка на его носу произвела легкое движение, что соответствовало самой насмешливой улыбке.

— Это ясно: тополя следует сажать только на плохой земле,— сказал Крюшо, пораженный расчетами Гранде.

— Да-с, сударь мой,— иронически ответил бочар.

Евгения любовалась великолепным видом на Луару, не вникая в выкладки отца, но вскоре стала прислушиваться к словам Крюшо, услышав, как он сказал своему клиенту:

— Так вот как! Вы из Парижа зятя себе выписали! Вс всем Сюморе только и разговору, что о вашем племяннике. Скоро мне придется свадебный контракт составлять,— а, папаша Гранде?

— Вы... вы... вы... так рано вы... вышли, чтобы мне это сообщить?— заговорил вновь Гранде, и этот вопрос сопровождался движением шишки на носу.— Ну, ладно, ст... т... тарый приятель, я буду откровенен и скажу вам то, что вы... вы же... желаете узнать. Я предпочел бы, извольте видеть, б... б... бросить свою дочь в Луару, чем вы... вы... выдать ее за этого ку... ку... кузена: мо... мо... можете объявить об этом. Да нет, п... п... пусть люди бо... болтают.

Такой ответ ошеломил Евгению. Смутные надежды, начинавшие пробиваться в ее сердце, вдруг расцвели, получили бытие и предстали купюю цветов, которые теперь на ее глазах срезали и швырнули на землю. Со вчерашнего дня она привязалась к Шарлю всеми

узами счастья, соединяющего души; отныне же эти узы должно было укреплять страдание. Не свойственно ли благородному предназначению женщины больше соприкасаться с величием страдания, нежели с великолепием счастья? Как могло отеческое чувство погаснуть в сердце ее отца? В каком же преступлении виноват был Шарль? Мучительная загадка! Едва возникшую любовь ее, тайну столь глубокую, уже окутывали другие тайны. На обратном пути ноги ее дрожали, и, когда она дошла до старой темной улицы, обычно такой радостной для нее, все тут показалось Евгении унылым; она почувствовала меланхолию, запечатленную былыми веками и событиями. Она уже усваивала все, чему учит любовь. За несколько шагов до дома она опередила отца и, постучавшись, остановилась у калитки, поджидая его. Но Гранде, видя в руке нотариуса газеты еще в бандероли, спросил его:

— Как с процентными бумагами?

— Вы не хотите меня слушать,— ответил ему Крюшо.— Покупайте их скорее, еще можно в два года нажить двадцать на сто. На восемьдесят тысяч франков, помимо великолепных процентов, наберит пять тысяч ливров ренты. Курс теперь восемьдесят франков пятьдесят сантимов.

— Посмотрим! — отвечал Гранде, потирая подбородок.

— Боже мой! — воскликнул нотариус, развернув газету.

— В чем дело? — спросил Гранде. Крюшо сунул газету ему в руки со словами: «Прочтите эту заметку».

«Вчера после обычного появления на бирже застрелился г-н Гранде, один из наиболее уважаемых коммерсантов Парижа. Он успел послать председателю палаты депутатов заявление об отставке, а также сложил с себя обязанности члена коммерческого суда. Причина самоубийства — разорение, вызванное несостоятельностью нотариуса г. Рогена и биржевого маклера г. Суше. Уважение, которым пользовался г. Гранде, и его кредит были тем не менее таковы, что он, несомненно, нашел бы поддержку в парижском коммерческом мире. Нельзя не сожалеть, что этот почтенный человек подался первому порыву отчаяния...» и пр.

— Я это знал,— спокойно сказал старый винодел нотариусу.

Эти слова обдали холодом Крюшо, и, несмотря на добавочное нотариусу бесстрашие, у него мороз пробежал по спине при мысли, что парижский Гранде, может быть, тщетно взывал с мольбой к миллионам сомюрского Гранде.

— А сын его такой был вчера веселый...

— Он еще ничего не знает,— отвечал Гранде так же спокойно.

— Прощайте, господин Гранде,— сказал Крюшо; он все понял и отправился успокоить председателя де Бонфона.

Войдя в зал, Гранде застал завтрак на столе. Евгения бросилась

на шею матери, целуя ее с страстной нежностью, ища утешения в тайной своей печали; г-жа Гранде уже сидела в кресле с подпорками и взяла себе на зиму фуфайку.

— Можете кушать, — сказала Нанета, спускаясь с лестницы сразу через три ступеньки. — Мальчик спит, словно херувим. До чего же он мил с закрытыми глазками! Вошла я, позвала егс. Не тут-то было: ни гу-гу.

— Оставь его, пускай спит, — сказал Гранде, — сегодня чем позже проснется, тем позже услышит дурную весть.

— Что случилось? — спросила Евгения, положив себе в кофе два крошечных кусочка сахара, весивших трудно сказать по сколько граммов: старик любил сам колоть на досуге сахар. Г-жа Гранде, не смея задать тот же вопрос, только взглянула на мужа.

— Отец его застрелился.

— Дядюшка?.. — произнесла Евгения.

— Бедный юноша! — воскликнула г-жа Гранде.

— Да, бедный, — продолжал Гранде. — У него нет ни гроша.

— А он-то спит, словно царь земной, — сказала Нанета растроганным голосом.

Евгения перестала есть. Сердце ее сжалось, как сжимается оно, когда впервые страдание, рожденное несчастьем любимого, охватывает все существо женщины. Слезы полились у нее из глаз.

— Ты и не знала дяди, чего же ты плачешь? — сказал ей отец, бросая на нее взгляд голодного тигра, — таким же взглядом он, вероятно, смотрел на свои груды золота.

— Ну, сударь, — сказала служанка, — как же не пожалеть этого бедненького молодчика. Спит себе, как убитый, а судьбы своей и не знает!

— Я не с тобой разговариваю, Нанета! Помалкивай.

Евгения поняла в эту минуту, что женщина, которая любит, постоянно должна скрывать свои чувства. Она ничего не ответила.

— Пока я не вернусь, вы, надеюсь, ни о чем с ним не будете говорить, госпожа Гранде, — продолжал старик. — Мне надо пойти сказать, чтобы выравняли канаву вдоль дороги у моих лугов. Я буду дома в полдень, ко второму завтраку, и поговорю с племянником об его делах. А ты, сударыня моя, Евгения, коли ты об этом франте плачешь, так пора кончить с этим, дитя мое. Он живо отправится в Ост-Индию. Ты его больше не увидишь.

Отец взял перчатки с полей шляпы, надел их с обычным спокойствием, расправил, натянул хорошенько на пальцы и вышел.

— Ах, маменька, я задыхаюсь! — всхлинула Евгения, оставшись одна с матерью. — Я никогда так не страдала...

Госпожа Гранде, видя, что дочь побледнела, распахнула окно, чтобы дать ей подышать свежим воздухом.

— Мне лучше, — сказала Евгения минуту спустя.

Это нервное возбуждение натуры, до сих пор как будто спокойной и холодной, подействовало на г-жу Гранде, она посмотрела на дочь с тем сочувственным проникновением, каким одарены матери, горячо любящие своих детей,— и угадала все. Да и в самом деле, жизнь известных сестер-венгерок, игрою природы сращенных одна с другой, была связана не теснее, чем жизнь Евгении и ее матери, они всегда были вместе, и в этой нише окна, и в церкви, и во сне дышали одним и тем же воздухом.

— Бедное дитя мое,— сказала г-жа Гранде, обхватив обеими руками голову Евгении и прижав ее к своей груди.

При этих словах девушка приподняла голову, посмотрела на мать вопрошающим взглядом, угадала ее сокровенные мысли и сказала ей:

— Зачем посылать его в Индию? Раз он несчастен, не следует ли ему оставаться здесь? Ведь он самый близкий нам родственник?

— Да, дитя мое, это было бы вполне естественно. Но у отца твоего есть свои соображения, мы обязаны их уважать.

Мать и дочь в молчании сели к окну — одна на стул с подпорками, другая — в свое креслице, и обе снова принялись за работу. Чувствуя признательность за удивительную чуткость сердца, выказанную матерью, Евгения поцеловала ей руку.

— Какая ты добрая, мама милая!

От этих слов увядшее за годы страданий лицо матери просияло.

— Он тебе нравится? — спросила Евгения.

Госпожа Гранде ответила лишь улыбкой; потом, после минутного молчания, сказала тихо:

— Неужели ты уже любишь его? Это было бы нехорошо.

— Нехорошо? — возразила Евгения.— Почему? Тебе он нравится, нравится Нанете, почему же не может он понравиться мне? Давай, мамочка, накроем ему стол для завтрака.

Она бросила свою работу, мать сделала то же, говоря ей:

— Ты с ума сошла!

Но ей захотелось разделить безумие дочери, чтобы его оправдать... Евгения позвала Нанету.

— Что вам еще, барышня?

— Нанета, будут у тебя сливки к полднику?

— Ладно, к полднику-то будут,— отвечала старая служанка.

— Ну а пока подай ему кофе покрепче. Я слышала, как господин де Грассен говорил, что в Париже варят очень крепкий кофе. Положи его побольше.

— А где мне его взять?

— Купи.

— А если мне встретится хозяин?

— Он ушел на свои луга.

— Ладно, сбегаяю, куплю. А только господин Фессар и так уже

спрашивал, когда отпускал мне восковую свечку, не зашли ли к нам три волхва? Теперь весь город узнает, как мы раскутились.

— Если отец что-нибудь заметит,— сказала г-жа Гранде,— он готов будет нас поколотить.

— Ну и что ж, и поколотит, мы на коленях примем его удары.

Вместо всякого ответа г-жа Гранде подняла глаза к небу. Нанета надела чепчик и вышла. Евгения достала белоснежную скатерть, пошла взять несколько гроздьев винограда, которые любила развешивать в амбаре на веревках; она тихонько прошла по коридору, чтобы как-нибудь не разбудить кузена, и не удержалась — прислушалась у двери к его ровному, спокойному дыханию.

«Он спит, а несчастье сторожит»,— сказала она про себя.

Нарвав самых свежих виноградных листьев, она уложила виноград так привлекательно, как это сумел бы сделать старый дворецкий, и торжественно принесла тарелку на стол. В кухне она похитила груши, сосчитанные отцом, и уложила их пирамидой, украсив ее листьями. Она ходила взад и вперед, бегала, прыгала. Она была бы способна опустошить отцовский дом, но ключи решительно ото всего были у отца. Нанета возвратилась и принесла два свежих яйца. Увидев яйца, Евгения готова была броситься ей на шею.

— Встретила фермера с Пустоши, гляжу — у него в корзине яйца; я попросила — дай парочку, голубчик, он и дал, чтобы сделать мне удовольствие.

Прохлопотав целых два часа, в продолжение которых Евгения раз двадцать бросала работу, чтобы сбежать посмотреть, не кипит ли кофе, чтобы пойти и прислушаться, не встает ли кузен, она добилась, что был приготовлен завтрак очень простой, дешевый, но который был чудовищным нарушением закоренелых обычаев в доме. За полуденным завтраком обыкновенно не садились. Каждый брал со стола немножко хлеба, масла или что-нибудь из фруктов и стакан вина.

Окинув взглядом стол, переставленный к камину, кресло перед прибором кузена, бутылку белого вина, хлеб и кучку сахара на блюде, Евгения задрожала всем телом, только тут представив, какие взгляды метал бы на нее отец, если бы случайно вошел в эту минуту. Она то и дело посматривала на часы, чтобы рассчитать, успеет ли кузен позавтракать до возвращения старика Гранде.

— Будь покойна, Евгения: если отец раньше времени вернется, я все возьму на себя,— сказала г-жа Гранде.

Евгения, не сдержав волнения, уронила слезу.

— Ах, милая маменька,— воскликнула она,— я недостаточно тебя любила!

Шарль, напевая, долго прохаживался по комнате, затем спустился вниз. Было, к счастью, только одиннадцать часов. Уж этот парижанин! Он оделся с таким щегольством, как будто очутился в замке

той благородной дамы, что путешествовала по Шотландии. Он вошел с приветливым и веселым видом, что так к лицу молодости, но его улыбка грустной радостью отозвалась в сердце Евгении. Шарль уже посмеивался над разрушением своих анжуйских замков и совсем весело подошел к тетке.

— Хорошо ли вы провели ночь, дорогая тетушка? А вы, кузина?

— Хорошо, сударь. А вы? — сказала г-жа Гранде.

— Я — превосходно.

— Вы, верно, проголодались, братец, — сказала Евгения, — садитесь за стол.

— Нет, я никогда не завтракаю раньше двенадцати, потому что обычно встаю лишь в полдень. Однако после дорожного образа жизни мне уж это неважно. Впрочем...

Он вынул очаровательные плоские часы работы Брегета.

— Как? Только еще одиннадцать? Рано я поднялся.

— Рано? — удивилась г-жа Гранде.

— Да, но мне хотелось заняться делами. Пожалуй, я с удовольствием съем что-нибудь, так, пустячок — кусочек дичи, куропатку.

— Матерь божья! — вскричала Нанета при этих словах.

«Куропатку!» — мысленно повторила Евгения: она бы с радостью отдала за куропатку все свои сбережения.

— Садитесь, пожалуйста, — обратилась к нему тетка.

Денди грациозно опустился в кресло, как хорошенькая женщина усаживается на диван. Евгения с матерью придвинули стулья и сели возле него перед камином.

— Вы постоянно здесь живете? — спросил их Шарль, которому мал при дневном свете показался еще безобразнее, чем при свечах.

— Постоянно, — отвечала Евгения, глядя на него. — Кроме поры сбора винограда. Тогда мы отправляемся на помощь Нанете и живем все в аббатстве Нуайе.

— Вы никогда не гуляете?

— Иногда по воскресеньям, после вечерни, если хорошая погода, — сказала г-жа Гранде, — мы ходим на мост или же посмотреть, как косят сено.

— Есть ли у вас тут театр?

— Ходить на представления? — воскликнула г-жа Гранде. — Смотреть комедиантов? Но неужели вы не знаете, сударь, что это смертный грех?

— Кушайте, сударь, — сказала Нанета, ставя на стол яйца, — мы вам подадим цыплят в скорлупке.

— А, свежие яйца! — сказал Шарль, который, как человек, привыкший к роскоши, уже и не думал о куропатке. — Да это чудесно! А нельзя ли масла, а, голубушка?

— Ладно, масла! Только уж тогда не будет вам печенья,— сказала служанка.

— Подай же масла, Нанета!— воскликнула Евгения.

Девушка наблюдала, как ее кузен резал узенькие кусочки хлеба, и находила в этом такое же удовольствие, как самая чувствительная парижская гризетка, глядя на представление мелодрамы, где порок наказан и торжествует добродетель. Правда, Шарль, воспитанный баловницей матерью, окончательно отшлифованной модной барыней, отличался щегольством изящных и мелких движений, какие бывают у манерных женщин. Сочувствие и нежность молодой девушки обладают в самом деле магнетической силой влияния. Поэтому Шарль, чувствуя особую заботливость кузины и тетки, не мог не поддаться воздействию чувств, щедро изливаемых на него. Он бросил на Евгению взгляд, сиявший добротой и ласковостью, взгляд, который, казалось, улыбался.

Рассматривая Евгению, он заметил гармонию черт этого ясного лица, всю ее невинную повадку, чарующий свет ее глаз, говоривших о мечтах юной любви, о желаниях, не ведавших страсти.

— Ей-богу, милая кузина, пояись вы в вечернем туалете в ложе оперного театра,— я вам ручаюсь, тетушка оказалась бы права,— вы бы ввели мужчин в тяжкий грех вожделения, а женщинам внушили бы ревность.

От этого комплемента у Евгении забилося сердце, и она затрепетала от радости, хотя ничего в нем не поняла.

— Ах, кузен, вам хочется посмеяться над бедной провинциалкой.

— Если бы вы меня знали, кузина, вы поверили бы, что я ненавижу насмешку: она сушит сердце, оскорбляет все чувства.

И он очень мило проглотил кусочек хлеба с маслом.

— Нет, у меня, вероятно, не хватает остроты ума, чтобы смеяться над другими, и этот недостаток мне очень мешает. В Париже умеют убить человека, сказав: «У него доброе сердце». Эта фраза означает: «Бедный малый глуп, как носорог». Но, так как я богат и, что всем известно, попадаю в мишень на открытом месте с первого выстрела в тридцати шагах, из пистолета любой системы,— насмешники остерегаются задевать меня.

— Ваши слова, племянник, показывают, что у вас доброе сердце.

— Какое у вас красивое кольцо,— сказала Евгения.— Не будет нескромностью попросить его у вас посмотреть?

Сняв с руки кольцо, Шарль подал его Евгении; принимая это кольцо, она покраснела, чуть коснувшись кончиками пальцев розовых ногтей кузена.

— Посмотрите, маменька, что за прекрасная работа!

— Ого, тут золота не мало,— заявила Нанета, подавая кофе.

— Что это такое? — спросил Шарль смеясь.

И он указал на продолговатый темный глиняный горшочек,

муравленный, покрытый внутри белой глазурью, с бахромой золы по краям; на дно его спускался кофе, поднимаясь затем на поверхность кипящей жидкости.

— Это *взваренный* кофей,— сказала Нанета.

— Ах, тетушка, я оставлю хоть какой-нибудь благотворный след моего приезда сюда. Вы ужасно отстали! Я вас научу варить хороший кофе в кофейнике а ля Шапталъ,— и он попытался объяснить устройство этого кофейника.

— Чего там, ежели с этим столько возни,— сказала Нанета.— Так и жизни не хватит. Никогда я этак не стану кофей варить. Ладно! А кто же корове травы задаст, покуда я буду с кофеем позиться?

— Я сама буду варить,— сказала Евгения.

— Дитя! — произнесла г-жа Гранде, глядя на дочь.

При этом слове, напоминавшем о горе, готовом обрушиться на молодого человека, все три женщины умолкли и посмотрели на него с таким явным состраданием, что он был поражен.

— Что с вами, кузина?

— Т-сс! — остановила г-жа Гранде Евгению, готовую ответить.— Ты знаешь, дочь моя, что папенька собирается говорить с господином...

— Называйте меня просто Шарль,— сказал молодой Гранде.

— Ах, вас зовут Шарль? Прекрасное имя! — воскликнула Евгения.

Несчастья, которые предчувствуют, почти всегда случаются. Нанета, г-жа Гранде и Евгения, которые не могли без содрогания подумать о возвращении старого бочара, услышали удары молотка — стук, хорошо им знакомый.

— Вот папенька! — сказала Евгения.

Она убрала блюдечко с сахаром, оставив несколько кусков на скатерти. Нанета унесла тарелку с яичной скорлупой. Г-жа Гранде вскочила, как испуганная лань. Этот панический страх изумил Шарля, он не мог его объяснить себе.

— Да что же это с вами? — спросил он их.

— Ведь это папенька,— сказала Евгения.

— Так что же?

Господин Гранде вошел, бросил свой острый взгляд на стол, на Шарля и понял все.

— Эге! Вы устроили праздник племяннику,— хорошо, очень хорошо, чрезвычайно хорошо! — произнес он не заикаясь.— Когда кот бегаёт по крышам, мыши пляшут на полу.

«Праздник?» — с удивлением подумал Шарль, не зная еще образа жизни и нравов этого дома.

— Подай мой стакан, Нанета,— сказал хозяин.

Евгения принесла стакан. Гранде вынул из кармана нож в

роговой оправе с широким лезвием, отрезал ломтик хлеба, взял кусочек масла, тщательно его намазал на хлеб и стоя приступил к еде. В эту минуту Шарль клал сахар себе в кофе. Старый Гранде заметил куски сахара, пристально посмотрел на жену, та побледнела и подошла к нему; он наклонился к уху несчастной старухи и спросил:

— Где же это вы взяли столько сахара?

— Нанета сходила и купила у Фессара, у нас не было сахара.

Невозможно представить себе глубокую значительность этой сцены для трех женщин: Нанета вышла из кухни и заглядывала в зал, чтобы узнать, чем разрешится это дело. Шарль, отхлебнув кофе, нашел его недостаточно сладким и поискал взглядом сахар, но Гранде уже зажал сахар в руках.

— Что вам угодно, племянник? — спросил старик.

— Сахару.

— Подлейте молока, — ответил хозяин дома, — кофе будет слаще.

Евгения взяла блюдечко с сахаром, которое Гранде было захватил, и поставила его на стол, глядя на отца со спокойным видом. Право, парижанка, которая для облегчения бегства любовнику поддерживает слабыми руками шелковую лестницу, выказывает не больше храбрости, чем проявила ее Евгения, ставя сахар обратно на стол. Любовник вознаградит парижанку, когда она с гордостью покажет ему прекрасно онемевшую руку, каждая жилка которой будет орошена его слезами, покрыта поцелуями и исцелена наслаждением, между тем как Шарлю никогда не суждено было проникнуть в тайну глубоких волнений, сокрушавших сердце кузины, сраженное в ту минуту взглядом бочара.

— Отчего ты не ешь, жена?

Бедная рабыня подошла, с жалким видом отрезала кусочек хлеба и взяла грушу. Евгения отважно предложила отцу винограда.

— Попробуй же моих запасов, папенька! Братец, вы скушаете, не правда ли? Я нарочно принесла для вас эти прекрасные гроздья.

— О, если их не остановить, они для вас, племянничек, весь Сомюр разорят. Когда вы кончите, пойдемте в сад, мне нужно вам сказать кое-что совсем не сладкое.

Евгения и мать бросили на Шарля взгляд, значение которого он не мог не понять.

— Что означают эти слова, дядюшка? Со смерти моей бедной матери... (при этих словах голос его дрогнул) уж нет несчастья, для меня возможного...

— Милый Шарль, кто может знать, какими скорбями господь желает нас испытать? — сказала ему тетка.

— Та-та-та-та! — сказал Гранде. — Уже начинаются глупости. Мне досадно смотреть на ваши холеные, белые руки.

Он показал племяннику свои руки, похожие на бараньи лопатки, которыми наградила его природа.

— Вот руки, не вашим чета, руки, созданные для того, чтобы собирать золото! Мы набиваем бумажники банковскими билетами, а вот вы были воспитаны так, что носите сапожки из кожи, предназначенной для выделки бумажников. Скверно, племянничек, скверно!

— Что вы хотите сказать, дядюшка? Пусть меня повесят, если я понимаю хоть слово.

— Пойдемте, — сказал Гранде.

Скряга зашелкнул нож, допил вино и отворил дверь.

— Кузен, будьте мужественны!

Особая выразительность восклицания девушки оледенила Шарля, он в смертельной тревоге последовал за грозным родственником. Евгения, мать и Нанета перешли в кухню, побуждаемые непреодолимым влечением последить за двумя действующими лицами той сцены, которая должна была развернуться в сыром садике, где дядя сначала молча прохаживался с племянником.

Гранде не пугала необходимость сообщить Шарлю о смерти отца, но он испытывал нечто вроде сострадания, зная, что тот остался без гроша, и скряга подыскивал выражения, чтобы смягчить эту жестокую правду. «Вы потеряли отца» — этим ничего не было бы сказано. Отцы по закону природы умирают раньше детей. Но сказать: «Вы потеряли все свое состояние» — в этих словах соединялись все земные несчастья. И старик в третий раз молча прошелся по средней аллее; песок хрустел под его ногами. В великих событиях жизни душа крепкими узами связывается с теми местами, где на нас обрушивается горе или изливается радость. Так и Шарль с особым вниманием всматривался в кусты букса, в поблеклые, опавшие листья, в неровности стен, в причудливые выгибы фруктовых деревьев — живописные подробности, которым было суждено навек врезаться в его память, сочетаясь с этим страшным мгновением путем особой мнемотехники, свойственной страданиям.

— Какая теплынь! Прекрасная погода! — сказал Гранде, глубоко вдыхая воздух.

— Да, дядюшка, но зачем...

— Так вот, мой милый, — продолжал дядя, — я должен сообщить тебе плохие вести. Отец твой очень болен...

— Зачем же я здесь? — воскликнул Шарль. — Нанета, — закричал он, — почтовых лошадей! Ведь я найду здесь коляску? — прибавил он, оборачиваясь к дяде, стоявшему неподвижно.

— Лошади и коляска бесполезны, — отвечал Гранде, глядя на Шарля, который стоял молча, с остановившимися глазами. — Да, бедный мальчик, ты догадываешься. Он умер. Но это ничего. Дело серьезнее, — он застрелился...

— Отец?

— Да. Но и это ничего. Газеты толкуют об этом, как будто они имеют на то право. На вот, прочти.

Гранде, взявший газету у Крюшо, развернул роковую статью перед глазами Шарля. В эту минуту бедный молодой человек, еще ребенок, еще в том возрасте, когда чувства проявляются непосредственно, залился слезами.

«Ну, обошлось! — подумал Гранде.— Глаза его меня пугали. Он плачет — он спасен».

— Это еще ничего, мой бедный мальчик,— сказал Гранде, не зная, слушает ли его Шарль,— это ничего, ты утетишься, но...

— Никогда! Никогда! Отец! Отец!

— Он тебя разорил, ты остался ни с чем.

— Что мне до этого? Где мой отец... Отец!

Плач и рыдания звучали в этих стенах с ужасающей силой и отдавались эхом. Три женщины, охваченные жалостью, плакали: слезы так же заразительны, как и смех. Шарль, не слушая дяди, выбежал во двор, разыскал лестницу, поднялся в свою комнату и упал поперек кровати, зарывшись лицом в одеяла, чтобы поплакать вволю подальше от родных.

— Надо дать вылиться первому ливню,— сказал Гранде, возвращаясь в зал, где Евгения с матерью быстро заняли свои места и, вытерев глаза, работали дрожащими руками.— Но этот молодчик никуда не годится: он больше занят покойниками, чем деньгами.

Евгения вздрогнула, услышав, что отец так говорит о самом святом страдании. С этой минуты она стала судить своего отца. Рыдания Шарля, хотя и приглушенные, раздавались в этом гулком доме, и его глухие стоны, которые, казалось, шли из-под земли, постепечно ослабевая, стихли только к вечеру.

— Бедный юноша! — сказала г-жа Гранде.

Роковое восклицание! Старик Гранде посмотрел на жену, на Евгению, на сахарницу; он вспомнил необыкновенный завтрак, приготовленный для несчастного родственника, и стал посреди зала.

— Вот что! Надеюсь,— сказал он с обычным своим спокойствием,— вы прекратите это мотовство, госпожа Гранде. Я не на то даю вам деньги, чтобы пичкать сахаром этого щеголя.

— Маменька здесь ни при чем,— сказала Евгения,— это все я...

— Уж не по случаю ли совершеннолетия,— прервал дочь Гранде,— ты собралась мне перечить? Подумай, Евгения...

— Паленька, разве можно, чтобы сын вашего брата, приехав к вам, нуждался в...

— Та-та-та-та! — ответил бочар четырьмя тонами хроматической гаммы.— То сын брата, то племянник! Этот Шарль для нас ничто, у него ни гроша, отец его банкрот, и когда этот фронт

наплачется досыта, он отсюда уберется вон: не желаю, чтоб он мне дом мутил.

— Папенька, а что такое банкрот?— спросила Евгения.

— Оказаться банкротом,— отвечал отец,— это значит совершить самое позорное из всех деяний, какие могут опозорить человека.

— Это, должно быть, большой грех,— сказала г-жа Гранде,— и брат ваш, пожалуй, будет осужден на вечные муки

— Ну, завела канитель!— сказал старик, пожимая плечами.— Банкротство, Евгения,— продолжал он,— это кража, которой закон, к сожалению, мирволит. Люди доверили свое имущество Гильому Гранде, полагаясь на его доброе имя и честность, а он, взявши все, разорил их, и теперь они слезы кулаками утирают. Разбойник с большой дороги — и тот лучше несостоятельного должника: грабитель на вас нападает, вы можете защищаться, он хоть рискует головой, а этот... Короче говоря, Шарль опозорен.

Эти слова отозвались в сердце бедной девушки и пали на него всей своей тяжестью. Чистая душой, как чист и нежен цветок, родившийся в лесной глуши, она не знала ни правил света, ни его обманчивых рассуждений, ни его софизмов; она доверчиво приняла жестокое объяснение, какое дал ей отец относительно банкротства, намеренно умолчав о разнице между банкротством неумышленным и злым.

— Значит, вы, папенька, не могли отвратить эту беду?

— Брат со мной не посоветовался. К тому же у него долгов на четыре миллиона.

— А что такое миллион, папенька? Сколько это денег? — спросила Евгения с простодушием ребенка, который уверен, что немедленно получит желаемое.

— Миллион? — сказал Гранде.— Да это миллион монет по двадцать су.— Нужно пять монет по двадцать су, чтобы получить пять франков, а двести тысяч таких монет составят миллион.

— Боже мой, боже мой!— воскликнула Евгения.— Как же это у дяденьки могло быть у одного целых четыре миллиона? Есть ли еще кто-нибудь во Франции, у кого может быть столько миллионов?

Старик Гранде поглаживал подбородок, улыбался, и, казалось, шишка на его носу расплывалась.

— Но что же будет с братцем Шарлем?

— Он отправится в Ост-Индию и там, согласно воле отца, постарается составить себе состояние.

— А есть ли у него деньги на дорогу?

— Я оплачу его путешествие... до... ну, до Нанта.

Евгения бросилась отцу на шею.

— Ах, папенька, какой вы добрый!

Она с такой нежностью целовала отца, что заставила Гранде почти устыдиться, в нем чуть-чуть зашевелилась совесть.

— Много нужно времени, чтобы накопить миллион? — спросила Евгения.

— Еще бы! — сказал бочар. — Ты знаешь, что такое наполеондор? Так вот, их нужно пятьдесят тысяч, чтобы получился миллион.

— Маменька, мы закажем для него напутственный молебен.

— Я тоже думала.

— Так и есть! Вам бы только тратить деньги! — вскричал отец. — Вы что думаете — у меня сотни тысяч?

В эту минуту в мансарде раздался глухой стон, еще более скорбный, чем прежде; Евгения и ее мать похолодели от ужаса.

— Нанета, подымись наверх и посмотри, не покончил ли он с собой, — сказал Гранде. — Ну вот, — продолжал он, оборачиваясь к жене и дочери, побледневшим от его слов, — бросьте глупости вы обе! Я ухожу! Надо обломать ваших голландцев, они уезжают сегодня. Потом зайду к Крюшо поговорить обо всем этом.

Он ушел. Когда Гранде затворил за собою дверь, Евгения и мать облегченно вздохнули. До этого утра дочь никогда не чувствовала себя принужденно в присутствии отца, но за эти несколько часов ее мысли и чувства менялись с каждой минутой.

— Маменька, сколько луидоров получают за бочку вина?

— Отец продает вино от ста до полутора ста франков за бочку; иногда берет по двести, как я слышала.

— Если он выделяет по тысяче четыреста бочек вина...

— Право, дитя мое, я не знаю, сколько это выходит: отец никогда не рассказывает мне о своих делах.

— Да ведь тогда папенька, наверно, богат.

— Может быть. А только господин Крюшо мне говорил, что два года назад он купил Фруафон. Должно быть, он теперь стеснен в средствах.

Евгения ничего не могла понять в размерах состояния отца и остановилась в своих подсчетах.

— Он меня вовсе и не заметил, красавчик, — сказала Нанета возвратившись. — Лежит на постели, как теленок, и плачет навзрыд. Жалко смотреть на него! До чего же горюет бедненький молодчик!

— Пойдемте же скорее утешить его, маменька. А если постучатся, мы сейчас же спустимся.

Госпожа Гранде не в силах была воспротивиться гармоническим звукам голоса дочери. Евгения была возвышенно прекрасна: в ней проснулась женщина. У обеих сильно бились сердца, когда они поднимались к комнате Шарля. Дверь была отворена настежь. Юноша ничего не видел и не слышал. Заливаясь слезами, он что-то приговаривал и жалостно стонал.

— Как он любит отца! — тихо сказала Евгения.

Невозможно было в самом звук ее голоса не распознать надежд сердца, неведомо для себя охваченного страстью. И г-жа Гранде

бросила на дочь свой взгляд, исполненный материнской любви; затем, едва слышно, шепнула ей на ухо:

— Берегись, ты можешь полюбить его.

— Его любить!— отозвалась Евгения.— О, если бы ты только знала, что сказал отец!

Шарль обернулся, увидел тетку и кузину.

— Я лишился отца. Бедный мой, зачем он не захотел доверить мне тайну своего несчастья! Мы стали бы вместе работать, чтобы все поправить! Боже мой! Отец! Дорогой мой! Я так был уверен, что мы скоро увидимся, что даже, кажется, холодно обнял его на прощанье...

Рыдания не дали ему говорить.

— Мы будем горячо за него молиться,— сказала г-жа Гранде.— Предайтесь воле божией.

— Братец,— сказала Евгения,— будьте мужественны! Утрата ваша непоправима, так подумайте же теперь о спасении своей чести...

С верным инстинктом, с душевной тонкостью женщины, влагающей разум в каждое дело, даже в дело утешения, Евгения хотела усыпить страдания кузена, заняв его самим собой.

— Моей чести?! — вскричал юноша, резким движением откидывая волосы. И он сел на кровати, скрестив руки.

— Ах, в самом деле! Дядя говорил, что отец обанкротился.

Он испустил душераздирающий крик и закрыл лицо руками.

— Оставьте меня, кузина, оставьте меня! Боже мой! Боже мой! Прости отца, он, должно быть, ужасно страдал!

Было что-то жутко привлекательное в выражении этой юной скорби, искренней, без расчетов и без задних мыслей. То была стыдливая скорбь, сразу понятая простыми сердцами Евгении и ее матери, когда Шарль сделал движение, моля оставить его наедине с собой. Они сошли вниз, молча сели опять на свои места у окна и около часа работали, не проронив ни слова.

Евгения окинула беглым взглядом маленькое хозяйство молодого человека, тем взглядом, каким девушки мгновенно видят все окружающее, и заметила красивые безделушки его туалета, его ножницы, его бритвенные принадлежности, оправленные в золото. Этот блеск роскоши в убогой комнате, где лились слезы страдания, сделал для нее Шарля еще интереснее — может быть, по противоположности. Никогда еще столь важное событие, никогда зрелище столь драматическое не поражало воображения этих двух существ, живших до сих пор в спокойствии и в одиночестве.

— Маменька,— сказала Евгения,— мы наденем траур по дядюшке.

— Это как решит отец,— ответила г-жа Гранде.

Они опять замолчали. Евгения делала стежки с такой равномерностью движений, которая выдала бы наблюдателю, как много

мыслей нахлынуло на нее. Первым желанием прелестной девушки было разделить печаль кузена.

Около четырех часов резкий стук молотка отдался в сердце г-жи Гранде.

— Что такое с папенькой?— сказала она дочери.

Винодел вошел веселый. Сняв перчатки, он с такой силой потер себе руки, что содрал бы кожу, если б она не была выдублена, как русский кожаный товар, с той лишь разницей, что она не отдавала ни лиственницей, ни душистой смолой. Старик прохаживался по комнате, смотрел на часы. Он не мог больше таить свой секрет.

— Жена,— сказал он, нисколько не заикаясь,— я их всех провел. Вино наше продано! Нынче утром голландцы и бельгийцы уезжали, я стал прогуливаться по площади мимо их постоянного двора, таким простачком. Дело, тебе известное, само далось мне в руки. Владельцы всех хороших виноградников берегут свой сбор и хотят выждать,— я им в этом не препятствовал. Бельгиец наш был в отчаянии. Я это видел. Дело решенное: он берет весь наш сбор по двести франков бочка, половина наличными. Получаю золотом. Документы готовы, вот тебе шесть луидоров. Через три месяца вина упадут в цене.

Последние слова были сказаны спокойно, но с такой глубокой иронией, что сомюры, собравшиеся в этой время, кучкой на площади и подавленные известием о продаже, только что совершенной стариком Гранде,— содрогнулись бы от этих слов, если бы их услышали. Панический страх снизил бы цену вин наполовину.

— У вас в этом году тысяча бочек, папенька?— спросила Евгения.

— Да, дочурка.

Это слово было высшим выражением радости старого бочара.

— Это выходит двести тысяч монет по двадцать су?

— Да, мадмуазель Гранде.

— Значит, папенька, вы легко можете помочь Шарлю.

Изумление, гнев, оцепенение Валтасара, увидевшего надпись: *Мане — Текел — Фарес* \*, не могли бы сравниться с холодной яростью Гранде, когда, забыв и думать о племяннике, он вдруг снова увидел, что Шарль заполонил и сердце и расчеты дочери.

— А, вот как! Чуть этот франт сунулся в мой дом, вы все тут перевернули вверх дном! Бросились покупать угощения, устраивать пиры да кутежи. Не желаю подобных шуток! Я, кажется, в мои годы достаточно знаю, как себя следует вести! И во всяком случае мне не приходится брать уроки ни у дочери, ни у кого бы то ни было. Я сделаю для племянника то, что следует, вам в это нечего нос совать. А ты, Евгения,— добавил он, поворачиваясь к ней,— мне об этом больше ни слова, не то отправлю тебя с Нанетой проветриться в аббатство Нуайе, и не позже, как завтра же, если

ты у меня хоть шевельнешься. А где же он, этот мальчишка? Сошел ли вниз?

— Нет, мой друг,— ответила г-жа Гранде.

— Да что же он делает?

— Он оплакивает отца,— ответила Евгения.

Гранде посмотрел на дочь, не найдя, что сказать: он все же был немного отцом. Пройдясь раза два по залу, он быстро поднялся в свой кабинет, чтобы там обдумать помещение кое-каких денег в процентные бумаги. Две тысячи арпанов лесу, сведенного дочиста, дал ему шестьсот тысяч франков. Присоединив к этой сумме деньги из тополя, доходы прошлого года и текущего года, помимо двухсот тысяч франков от только что заключенной сделки, он мог располагать суммой в девятьсот тысяч франков. Двадцать процентов, которые он мог нажить в короткий срок на ренте, ходившей по семидесяти франков, соблазняли его. Он набросал свои подсчеты на газете, где сообщалось о смерти его брата, слыша, хотя и не слушая, стенания племянника. Нанета постучала в стенку, приглашая хозяина сойти вниз: обед был подан. На последней ступеньке лестницы Гранде говорил себе:

«Раз я получу восемь процентов, я сделаю это дело. В два года у меня будет полтора миллиона франков, которые я получу из Парижа чистоганом».

— Ну, а где же племянник?

— Говорит, что не хочет кушать,— отвечала Нанета.— А ведь это нездорово.

— Зато экономно,— ответил ей хозяин.

— Уж это само собой,— сказала Нанета.

— Да что! Не вечно же будет он плакать. Голод и волка из лесу гонит.

Обед прошел в необычном молчании.

— Друг мой,— сказала г-жа Гранде, когда сняли со стола скатерть,— нам нужно надеть траур.

— В самом деле, госпожа Гранде, вы уже не знаете, что выдумать, только бы тратить деньги. Траур в сердце, а не в одежде.

— Но по брату полагается носить траур, и церковь велит нам...

— Покупайте для себя траур на свои шесть луидоров. Мне дадите креп, для меня довольно.

Евгения подняла глаза к небу, не вымолвила ни слова. В первый раз в жизни великодушные склонности ее, дремавшие, подавленные, но вдруг пробужденные, каждую минуту подвергались оскорблениям. Этот вечер с виду был похож на тысячу вечеров однообразного их существования, но несомненно был самым ужасным из них. Евгения работала, не поднимая головы, и не пользовалась рабочей шкатулкой, к которой Шарль пренебрежительно отнесся накануне. Г-жа Гранде вязала нарукавники, Гранде вертел большими пальцами рук, целых

четыре часа погруженный в расчеты, последствия которых должны были на другой день изумить Сомюр. В этот день к ним никто не пришел. Тем временем весь город толковал о произведенной Гранде продаже вина, о несостоятельности его брата и о приезде племянника. Повинуясь потребности поговорить о своих общих интересах, все владельцы виноградников, принадлежащие к высшим и средним кругам Сомюра, собрались у г-на де Грассена и метали гром и молнии, проклиная бывшего мэра.

Нанета пряла, и жужжание колеса ее прялки было единственным звуком, раздававшимся в грязно-серых стенах зала.

— Что-то мы языком не треплем? — сказала она, показав в улыбке свои зубы, белые и крупные, как чищенный миндаль.

— Зря нечего и трепать, — отозвался Гранде, очнувшись от глубокого раздумья.

Он видел себя в перспективе — через три года — обладателем восьми миллионов и словно уже плыл по золотой шире.

— Давайте-ка спать ложиться. Я пойду прощусь за всех с племянником да спрошу, не поест ли он чего.

Госпожа Гранде осталась на площадке второго этажа, чтобы слышать разговор Шарля с дядей. Евгения была похрабрее матери и поднялась на две ступеньки.

— Ну, что, племянничек, у вас горе? Что же, поплачьте, это в порядке вещей. Отец — всегда отец. Горе перетерпеть приходится. Пока вы плачете, я вашими делами занимаюсь. Я, видите ли, родственник неплохой. Ну-ка, приободритесь. Может, выпьете вина стаканчик? Вино в Сомюре неплохое, его предлагают как чашку чаю в Индии. А что ж вы сидите впотьмах? Нехорошо! Нехорошо! Надо ясно видеть, что делаешь.

Гранде подошел к камину.

— Вот так-так! — вскричал он. — Целая свеча. Где, черт возьми, они свечку выудили? Девки готовы пол в доме выломать, чтобы сварить яиц этому мальчишке.

Услышав эти слова, мать и дочь кинулись по своим комнатам и забились в постели так быстро, словно испуганные мыши в норки.

— Госпожа Гранде, что у вас, золотые россыпи? — сказал старик, входя в комнату жены.

— Мой друг, я молюсь, подождите, — отвечала взволнованным голосом бедная мать.

— А черт бы побрал твоего господ бога! — пробурчал в ответ Гранде.

Скряги не верят в будущую жизнь, для них все — в настоящем. Эта мысль проливает ужасающий свет на современную эпоху, когда, больше чем в какое бы то ни было другое время, деньки властвуют над законами, политикой и нравами. Установления, книги, люди и учения — все сговорилось подорвать веру в будущую жизнь,

на которую опиралось общество в продолжение восемнадцати столетий. Ныне могила — переход, которого мало боятся. Будущее, ожидающее нас по ту сторону *Реквиема*, переместилось в настоящее. Достигнуть *per fas et nefas*<sup>1</sup> земного рая роскоши и суетных наслаждений, превратить сердце в камень, а тело изнурить ради обладания преходящими благами, как некогда претерпевали смертельные муки в чаянии вечных благ, — такова всеобщая мысль! Мысль, к тому же начертанная всюду, вплоть до законов, вопрошающих законодателя: «Что платишь?» — вместо того, чтобы сказать ему: «Что мыслишь?» Когда учение это перейдет от буржуазии к народу, что станется со страной?

— Кончила ли ты, сударыня? — сказал старый бочар.

— Друг мой, я молюсь за тебя.

— Прекрасно! Спокойной ночи. Утром поговорим.

Бедная женщина легла спать с тяжелым сердцем, как школьница, которая не приготовила уроков и боится при пробуждении встретить сердитое лицо учителя. В ту минуту, когда она со страху забилась под одеяло, чтобы ничего не слышать, Евгения прокралась к ней в одной рубашке, босиком и поцеловала ее в лоб.

— Ах, милая маменька, — молвила она, — завтра я скажу ему, что это все я.

— Нет, он, чего доброго, отошлет тебя в Нуайе. Предоставь это мне, — не съест же он меня.

— Слышите, маменька?

— Что?

— Он все еще плачет.

— Иди же, ложись, доченька. Ты ноги простудишь, пол сырой.

Так прошел торжественный день, которому суждено было тяготеть над всей жизнью богатой и бедной наследницы, уснувшей уже не тем глубоким и невинным сном, как прежде. Нередко иные поступки человека, хотя и достоверные, представляются, выражаясь литературно, неправдоподобными. Но не потому ли, что почти всегда забывают проливать на наши произвольные решения свет психологического анализа, не объясняют таинственно зародившихся оснований этих решений. Быть может, глубокую страсть Евгении надлежало бы исследовать в тончайших ее фибрах, потому что она стала, как сказали бы иные насмешники, болезнью и повлияла на все ее существование. Многие предпочитают начисто отрицать подлинные события и развязку их, только бы не измерять всю силу связей, узлов, скреплений, которые тайно сращивают один факт с другим в области морали. А здесь прошлое Евгении послужит наблюдателям человеческой природы порукою простодушной непосредственности и внезапности проявлений ее души. Чем спокойнее

<sup>1</sup> Правдами и неправдами (лат.).

была ее жизнь, тем сильнее развернулось в душе ее женственное чувство жалости, самое изобретательное из чувств. Встревоженная происшествиями дня, она несколько раз просыпалась, прислушивалась, и ей чудились вздохи кузена, с прошедшего дня звучавшие в ее сердце. То виделось ей, что он испускает дух от горя, то снилось, что он умирает с голоду. К утру ей отчетливо послышался ужасный крик. Она сейчас же оделась и при брезжащем свете зари легкими шагами вбежала к кузену, который оставил дверь отворенной. Свеча догорела в розетке подсвечника. Шарль, побежденный природой, уснул, не раздеваясь, в кресле, уронив голову на постель: ему что-то снилось, как снится людям с пустым желудком. Евгения могла наплакаться вволю; могла любоваться юным и прекрасным лицом, побледневшим, как мрамор, от страдания; глаза Шарля распухли от слез и, смеженные сном, казалось, все еще плакали. Он почувствовал присутствие Евгении, открыл глаза и увидел ее, глубоко растроганную.

— Простите, кузина,— сказал он, видимо не соображая, где он находится и который час.

— Тут есть сердца, которые слышат вас, кузен, и мы подумали, не нужно ли вам чего-нибудь. Вам бы следовало лечь: в таком положении вы утомляетесь.

— Это правда.

— Ну, прощайте.

Она поспешно скрылась, стыдясь и радуясь этому посещению. Только невинность отваживается на такие смелые шаги. Добродетель, изученная опытом, рассчитывает не хуже порока. Евгения не чувствовала страха возле кузена, но когда очутилась в своей комнате, едва держалась на ногах. Внезапно кончилась для нее жизнь, полная неведения, она начала рассуждать, осыпала себя упреками: «Что он обо мне подумает? Он решит, что я его люблю». А между тем больше всего на свете она желала, чтобы Шарль подумал именно это. Истинная любовь одарена предвидением и знаем, что любовь вызывает любовь. Какое событие для этой привыкшей к уединению девушки — тайком прокрасться к молодому человеку! Не существуют ли мысли и действия, в любви равные для иных душ священному обручению? Через час Евгения вошла к матери и по обыкновению помогла ей одеться. Затем они сели на свои места у окна и стали поджидать Гранде с той тревогой, которая, смотря по характерам, леденит сердце или обдаёт его жаром, сжимает или расширяет его в минуту ожидания бурной сцены или строгой кары,— чувство, впрочем, столь естественное, что домашние животные под влиянием его кричат при самом легком наказании, не могут вынести слабой боли,— тогда как они молча терпят, если случайно поранят себя. Старик сошел вниз, с рассеянным видом поговорил с женою, поцеловал Евгению и сел за стол, казалось не думая о вчерашних угрозах.

— А что племянник? Мальчик не шумливый.

— Он спит, сударь,— отвечала Нанета.

— Тем лучше: не надо на него свечку тратить,— промолвил Гранде насмешливо.

Это необычное милосердие, эта желчная веселость поразили г-жу Гранде, и она пристально посмотрела на мужа. Добряк... (Здесь, может быть, уместно заметить, что в Турени, Анжу, Пуату, в Бретани слово «добряк», которое мы часто прилагали к Гранде, применяется и к людям самым жестоким и к самым добродушным, когда они пришли в известный возраст. Наименование это вовсе не указывает на благодушие, присущее тому или иному лицу.) Итак, добряк наш взял шляпу, перчатки и сказал:

— Пойду поболтаюсь на площади, не встречу ли наших Крюшо.

— Евгения, у твоего отца есть что-то на уме, непременно.

Привыкнув мало спать, Гранде в сущности половину ночного времени посвящал предварительным расчетам, обдумывал свои наблюдения, замыслы, планы, что обеспечивало им редкостную безошибочность и постоянную удачу, изумлявшую сомюрцев. Вся человеческая сила слагается из терпения и времени. Люди сильные хотят и бодрствуют. Жизнь скряги — постоянное упражнение человеческого могущества, отданного на служение личной выгоде. Скрыга опирается только на два чувства — себялюбие и своекорыстие, но так как своекорыстие есть в некотором роде себялюбие, солидное и положительное, непрерывное свидетельство реального превосходства то себялюбие и своекорыстие — это две стороны одного целого: эгоизма. Может быть, этим и объясняется необычайное любопытство, возбуждаемое скрягами, искусно выведенными на сцене. Каждый по-своему тонкою нитью связан с этими персонажами пьесы — они затрагивают все человеческие чувства, подытоживая их все. Где найдется человек без желаний и какое желание в человеческом обществе осуществится без денег? У Гранде действительно было что-то на уме, по выражению его жены. Он испытывал, как и все скряги, настоятельную потребность вести игру с людьми, законным порядком добираться до их денег. Внушать почтение другому — разве это не значит проявлять власть, непрерывно присваивать себе право презирать существа слабые, которые здесь, на земле, отдают себя на растерзание? О, кто же действительно понял агнца, мирно лежащего у ног божьих, трогательнейший прообраз всех жертв земных, прообраз их будущего, словом — страдание и слабость, вознесенные в славу? Этому агнцу скрыга дает откормиться, ставит его в загон, убивает, жарит, ест и презирает. Деньги и презрение к людям питают силу скряги. Ночью мысли «добряка» приняли другой оборот — в сторону жалости. Он замыслил козни с целью поиздеваться над парижанами. Скрутить их в бараний рог, стереть в порошок, заставить их метаться взад и вперед, потеть,

надеясь, бледнеть, чтобы позабавиться своей игрой,— вот о чем думал бывший бочар, силя в грязном зале своего сомюрского дома и поднимаясь по восточной червями лестнице. Племянник привлек его внимание. Ему хотелось спасти честь умершего брата, и спасти так, чтобы это ни кроша не стояло ни племяннику, ни ему самому. Капиталы его предстояло поместить на три года, ему оставалось только управление именьями; и вот необходима была пища для его злостной деятельности; он и нашел ее в несостоятельности брата. Не чувствуя ничего в своих лапах, что можно было бы сдавить и уничтожить, он хотел истолочь парижан к выгоде Шарля и дешевой ценой показать себя примерным братом. Семейная честь занимала в этом проекте настолько мало места, что его благие намерения можно сравнить с потребностью закоренелых игроков наблюдать ловкую игру, где у них самих нет ставки. Крюшо стали необходимы г-ну Гранде, но он не хотел итти к ним, а решил заставить их самих прийти к нему вечером и начать комедию, план которой он задумал, с тем чтобы завтра, не истратив ни одного су, сделаться предметом восхищения всего города.

В отсутствие отца Евгения имела счастье открыто заняться возлюбленным своим кузеном, безбоязненно излить на него сокровища своей жалости — одного из высочайших проявлений превосходства женщины, единственного, какое она желала бы дать почувствовать любимому, единственному, где она считает прощательным, если мужчина допускает, чтоб над ним взяли верх. Три или четыре раза Евгения подходила к комнате кузена, чтобы прислушаться к его дыханию, узнать, спит ли он, просыпается ли; потом, когда он встал, сливки, кофе, яйца, фрукты, тарелки, стакан, все, что относились к завтраку,— ко всему она заботливо приложила руку. Она легко избежала по старой лестнице — послушать, одевается ли он? все ли еще плачет? Она подошла к двери.

— Братец!

— Что, кузина?

— Где вы будете завтракать — в зале или в своей комнате?

— Где вам угодно.

— Как вы себя чувствуете?

— Дорогая кузина, к стыду моему, я голоден.

Этот разговор через дверь был для Евгении целым эпизодом романа.

— Ну, так мы принесем вам завтрак в вашу комнату, чтобы не разгневать папеньку.

Она спустилась в кухню с легкостью птички.

— Нанета, или же, убери его комнату.

Исхоженная вверх и вниз лестница, где отдавался малейший звук, утратила, как казалось Евгении, всю свою ветхость, она представлялась девушке залитою светом, получила дар речи, была

молода, как сама Евгения, молода, как ее любовь, которой эта лестница служила.

Под конец и ее матери, доброй, снисходительной матери, самой захотелось принять участие в фантазиях влюбленной дочери, и когда комната Шарля была прибрана, они пошли туда вдвоём рассеять одинокую тоску несчастного: разве не предписывало христианское милосердие утешить его? Обе женщины постарались извлечь из предписаний религии маленькие софизмы для оправдания своих вольностей. И вот Шарль Гранде увидел, что его окружили самым ласковым и нежным попечением. Наболевшее сердце его живо ощутило сладость этой милой дружбы, этого теплого сочувствия, какое обе эти женские души, всегда подневольные, оказавшись на минуту свободными, щедро проявили в своей привычной сфере — в области страданий. Евгения, на правах родственницы, стала приводить в порядок белье, туалетные принадлежности, привезенные кузеном, и могла вволю любоваться каждой дорогой безделушкой, серебряными и золотыми мелочами тонкой работы, попадавшими ей под руку, подолгу держали их, как будто затем, чтобы рассмотреть.

Шарль не мог не растрогаться великодушным участием тетки и кузины; он достаточно знал парижское общество и понимал, что там он, в его положении, встретил бы одни равнодушные или холодные сердца. Евгения предстала ему во всем блеске особой своей красоты; теперь он восхищался простодушием тех нравов, к которым так насмешливо относился накануне. И когда Евгения взяла из рук Нанеты фаянсовую чашку кофе со сливками и передала ее кузену со всем простодушием сердечного чувства, бросив на него взгляд, полный доброты, на глазах парижанина выступили слезы, он взял ее руку и поцеловал.

— Да что с вами опять? — спросила она.

— Ах, это слезы благодарности, — ответил он.

Евгения вдруг повернулась к камину и взяла подсвечники.

— Нанета, возьми унеси, — сказала она.

Когда она посмотрела на кузена, краска еще не сбежала с ее лица, но взгляд ее мог уже обманывать и не выдал чрезмерной радости, переполнявшей ее сердце; однако глаза обоих выражали одно и то же чувство, а души слились в одной мысли: будущее принадлежало им. Это нежное волнение было сладостно для Шарля в великом его горе, тем более что оно было неожиданно. Стук молотка заставил обеих женщин возвратиться на свои места. К счастью, они успели достаточно быстро спуститься с лестницы, и когда Гранде вошел, обе уже сидели за работой; если бы он встретил их под аркой, этого было бы достаточно, чтобы возбудить его подозрения. После завтрака, который старик перехватил на ходу, пришел сторож из Фруафона, еще не получивший обещанного вознаграждения, и

принес зайца, куропаток, убитых в фруафонском парке, угрей и две щуки, доставленные по обязательству мельниками.

— Эге! Ты, Корчуайе, явился кстати. А что, это вкусно, а?

— Да, ваша милость, два дня как их убили.

— Ну, Нанета, живо! — сказал Гранде. — Забирай, это пойдет к обеду: я нынче угощаю обоих Крюшо.

Нанета вытаращила глаза и оглядела всех присутствующих.

— Ладно, — сказала она, — а где мне взять шпик и приправы?

— Жена, — сказал Гранде, — дай Нанете шесть франков и напомним мне, что надо сходит в погреб за хорошим вином.

— Так как же, господин Гранде, — продолжал сторож, приготовивший почтительную речь, чтобы добиться решения вопроса о жаловании, — господин Гранде...

— Та-та-та, — сказал Гранде, — я знаю, что ты хочешь сказать. Ты добрый малый. Все порешим завтра, сегодня я очень спешу. Жена, дай ему сто су, — обратился он к г-же Гранде.

Он вышел. Бедная женщина счастлива была купить мир ценою одиннадцати франков. Она знала, что Гранде успокаивался недели на две, отобрав таким образом, монета за монетой, все деньги, которые дал ей.

— Возьми, Корнуайе, — сказала она и сунула ему в руку десять франков. — Как-нибудь мы отблагодарим тебя за твои услуги.

Корнуайе нечего было сказать; он ушел.

— Сударыня, — сказала Нанета, явившись в черном чепце и с корзинкой, — мне нужно только три франка, поберегите остальное. Ладно, сойдет и так.

— Стодет хороший обед, Нанета: братец выйдет к обеду, — сказала Евгения.

— Решительно тут происходит что-то необыкновенное, — сказала г-жа Гранде. — Ведь это всего третий раз с самой нашей свадьбы, что папснька дает обед.

Около четырех часов, когда Евгения с матерью кончили накрывать стол на семь человек, а хозяин поставил на него несколько бутылок отборных вин, любовно хранимых провинциалами, — Шарль пришел в зал. Молодой парижанин был бледен. В его движениях, позе, взглядах и звуках голоса сказывалась печаль, полная привлекательности. Он не рисовался своей скорбью, он страдал искренне, и тень, наброшенная горем на его черты, придавала ему «интересный вид», который так нравится женщинам. Евгения полюбила его теперь еще больше. Несчастье, быть может, приблизило его к ней. Шарль уже не был молодым богачом и красавцем из недоступного для нее круга, — это был родной человек, постигнутый ужасным несчастьем. Несчастье порождает равенство. У женщины то общее с ангелом, что страдающие существа принадлежат ей. Шарль и Евгения поняли друг друга, хотя разговаривали только глазами,

потому что бедный павший денди, сирота, забился в угол и сидел там безмолвный, спокойный и кроткий, но время от времени нежный и ласкающий взгляд кузины озарял его светом, и, отрываясь от печальных мыслей, он устремлялся вместе с нею в края надежды и будущего, куда Евгении отрадно было уноситься вместе с ним. В это время весь Сомюр был взволнован званым обедом, который устраивал Гранде, даже более, чем взбудоражен был накануне продажей сбора винограда, представлявшей собою предательство по отношению к местной винной торговле. Если бы политик-винодел давал обед с тою же мыслью, какая стоила хвоста собаке Алкивиада \*, он, может быть, оказался бы великим человеком; но, стоя слишком высоко над обывателями города и постоянно играя их интересами, Гранде не ставил сомюрьцев ни во что. Де Грассены, узнав о самоубийстве и возможном банкротстве отца Шарля, решили отправиться в тот же вечер к своему клиенту, выразить сочувствие его горю, выказать ему свою дружбу и разузнать в то же время о причинах, побудивших его в подобных обстоятельствах пригласить на обед всех Крюшо. Ровно в пять часов председатель суда К. де Бонфон и дядя его, нотариус, явились расфранченные в пух и прах. Приглашенные уселись за стол и прежде всего начали усердно есть. Гранде был важен, Шарль молчалив, Евгения безмолвна, г-жа Гранде говорила не более обыкновенного, так что обед оказался настоящим поминальным обедом.

Когда встали из-за стола, Шарль обратился к тетке и дяде:

— Позвольте мне удалиться. Я должен заняться обширной и печальной корреспонденцией.

— Идите, племянничек.

После его ухода, когда наш добряк мог предположить, что Шарль ничего не услышит и, вероятно, занят своими письмами, он исподлобья поглядел на жену.

— Госпожа Гранде, наши предстоящие разговоры были бы для вас вроде латыни. Теперь половина восьмого, пора вам и на боковую. Спокойной ночи, дочь моя.

Он поцеловал Евгению, и обе женщины вышли. Тут началась та сцена, где папаша Гранде больше чем когда бы то ни было в своей жизни пустил в ход всю ловкость, приобретенную в отношениях с людьми и часто дававшую повод тем, кого он чересчур крепко хватал за шкуру, награждать его прозвищем *старый пес*.

Если бы у сомюрского мэра было побольше честолюбия, если бы удачно сложившиеся обстоятельства вознесли его в высшие общественные сферы и направили на конгрессы, где обсуждались дела народов, и если бы там он воспользовался даром дипломатии, каким наделило его личное корыстолюбие, — нет никакого сомнения, он бы прославился и был бы полезен Франции. Но не менее вероятно, что, очутившись вне Сомюра, наш добряк оказался бы

жалкой фигурой. Возможно, существуют умы, подобные иным животным, которые утрачивают производительные способности, если их переселить из родного климата.

— Го...го...го...сподин пре...пре...председатель, в...вы го...во-  
рили, что б...а...анкротство...

Притворное заикание, к которому уже давно прибегал старик Гранде, сходило за природженное, равно как и глухота, на которую он жаловался в дождливую погоду; но при сложившихся условиях оно было так утомительно для обоих Крюшо, что, слушая винодела, они бессознательно морщились, выражая мучительные усилия понять его, и пытались договаривать за него, когда он ни с того ни с сего застревал на каком-нибудь слове. Здесь, пожалуй, становится необходимым сообщить историю заикания и глухоты Гранде. Никто во всем Анжу не слышал лучше и не умел произносить отчетливее по-французски на анжуйском наречии, чем наш хитрый винодел. Некогда, при всей своей проницательности, он был одурачен одним израилитом, который во время переговоров прикладывал руку трубкой к уху, под тем предлогом, что он плохо слышит, и так ловко запинался, бормотал, подыскивая слова, что Гранде, жертва человеколюбия, счел своим долгом подсказывать этому лукавому еврею слова и мысли, какие тот, казалось, искал, старался заканчивать сам умозаключения еврея, говорить, как надлежало бы говорить проклятому еврею, быть в конце концов этим евреем, а не Гранде. Бочар потерпел поражение в этом своеобразном поединке, заключив единственную сделку, о которой он мог сожалеть в продолжение всей своей коммерческой жизни. Но если он здесь потерпел убыток в отношении денежном, то в моральном получил полезный урок и позднее пожал его плоды. В конце концов он стал благословлять еврея, когда-то научившего его искусству выводить из терпения своего коммерческого противника, направлять все его внимание на выражение чужой мысли, постоянно упуская из виду свою собственную. А ведь это дело, о котором пойдет речь, более чем какое-либо другое требовало применения мнимой глухоты, заикания и неудобопонятных обиняков, какими Гранде прикрывал свои мысли. Прежде всего он не хотел брать на себя ответственность за свои слова; затем он желал оставаться хозяином положения и держать под сомнением истинные свои замыслы.

— Го...го-спо-дин де Б...Бо...

Второй только раз за три года Гранде называл Крюшо-племянника «господин де Бонфон».

Председатель мог подумать, что ловкий добряк выбрал его в зятя.

— Так в... вы-ы го... го...говорили, что ба... ба... ба... банкротство мо... мо...могут в-в-в и...и...известных случаях бы...бы...бы...быть оспа-париваемы вме-ме-шательством...

— Самих коммерческих судов. Это делается каждый день,— сказал г-н К. де Бонфон, схватывая мысль старика Гранде или воображая, что угадал ее, и предупредительно желая ему ее объяснить.— Слушайте.

— Я с...с...слу...слушаю,— смиренно отвечал добряк, принимая издевательски смиренный вид, как мальчишка, который внутренне смеется над учителем, выказывая ему при этом величайшее внимание.

— Когда человеку почтенному и почитаемому, каким был, например, покойный брат ваш в Париже...

— Мой брат, да.

— Грозит разорение...

— Э...э...это на-а-зывается раз...ра...разорением?

— Да. В случае, если несостоятельность должника становится неминуемой, коммерческий суд, которому он подсуден (следите внимательно!) по принадлежности, имеет право назначить ликвидаторов его торговому дому. Ликвидировать предприятие не значит сделаться несостоятельным, понимаете? Став несостоятельным, человек обесщещен, а ликвидировав дело,— он отстает честным человеком!

— Это бо...бо...большая разница, если то...то...только обходится не...не...не до...до...дороже,— сказал Гранде.

— Но ликвидацию можно также произвести и не прибегая к коммерческому суду,— сказал председатель.— Вы знаете, как объявляется несостоятельность?

— Я об этом ник...к...когда не ду...ду...думал,— ответил Гранде.

— Во-первых,— продолжал чиновник,— заявлением о несостоятельности в канцелярию суда с предъявлением баланса, что делает сам негодник или его уполномоченный, с соответственным занесением в протокол. Во-вторых, по ходатайству кредиторов. Итак, если негодник не объявляет себя несостоятельным, если ни один из кредиторов не испрашивает у суда постановления, которым названный негодник объявляется несостоятельным, тогда что происходит?

— Да-да-а, ну... что же?

— В таком случае семья покойного, ее представители или сам негодник, если он жив, или его друзья, ежели он скрылся, производят ликвидацию. Может быть, вы желаете ликвидировать дела вашего брата? — спросил председатель.

— О Гранде! — воскликнул нотариус.— Это было бы прекрасно! Живо чувство чести в глубине наших провинций. Если бы вы спасли свое имя, потому что ведь и вы носите это имя, вы были бы человеком...

— Возвышенным! — договорил председатель, перебивая дядю.

— Ра...разумеется,— возразил старый винодел,— мой брр...

бра...брат на...на...на...назывался Гранде, ка-ак и я. Э-э-то верно и правильно. Я...я...я не...не...не го...го...говоря нет. И...и...и эта ли...ли...ликвидация мо...мо...могла бы во...во...во всяком случае быть во всех отношениях очень вы...вы...выгодна в и...и...интересах моего пле...пле...племянника, которого я лю...люблю. Но надо подумать. Я не зна...зна...знаю парижских хитрецов. Я-то... видите ли, в Со-о-о-мюре! Виноградные о-о-от-водки, ка-а-ана-вы, и в-в-ведь у меня же д-е-е-е-ла. Я никогда не давал ве...ве...векселей. Что такое вексель? Я...я...я их много получал, но никогда не по...по...подписывал. И-и-их выдают, и-и-и-их учитывают. Вот все-о-о, что я знаю. Я слы...слыхал, что мо...мо...можно выку...купать ве...ве...ве...

— Да,— сказал председатель.— Можно приобретать векселя на месте по стольку-то за сто. Понимаете?

Гранде сложил руку трубочкой, приставил к уху, и председатель повторил фразу.

— Да ведь нужно же,— отвечал винодел,— н-нужно же пить-есть все...все это время? Я...я...я нечего не знаю в мои годы об э-э-этих все-е-е-х в-вещях. Я до...должен б-б-быть здесь, смо...смо...смотреть за хлебами. Зерно со-оби-би-рают и зерном распла...пла-плачиваются. Прежде всего нужно с-с-смотреть за жа...жа...жатвой. У меня са-а-амоважнейшие дела в Фруафоне и вы...вы...выгодные. Не могу и б-б-бро-о-сить мо...мой дом для не...неразбе-р-р-рихи все...всей этой, ч-чертовщины, в которой ничего не по...по...понимаю. Вы говорите, мне... надо для ли...ли...ликвидации, для приостановки объявления о несостоятельности быть в Париже? Нельзя быть сразу в дву-дву...двух местах,— разве сделаться пти...пти...птичкой и...

— Я понимаю вас! — воскликнул нотариус.— Так послушайте, старый друг, у вас есть друзья, старые друзья, готовые доказать свою преданность.

«Так, так! — думал про себя винодел.— Решайтесь же!»

— А если бы кто-нибудь отправился в Париж, к самому крупному кредитору брата вашего Гильома, и сказал бы ему...

— Мм...м...минутку постоит,— перебил добряк,— сказал бы ему... что? Что... что-ни...ни...нибудь та...та...кое: «Господин Гранде-де-де из Сомюра — то-то, господин Гранде-де из Сомюра — так-то. Любит брата, любит... пле...пле...племянника. Гранде-де добрый родственник, у него хо-хо-хорошие намерения. Он вы...выгодно продал у-урожай. Не объявляйте не...не...несостоятельности, соберитесь, на...на...назначьте ли...ли...ликвидаторов. Тогда Гранде по...по...посмотрит. Ва-ам го...го...гораздо выгодней ликвидировать, чем да...дать чиновникам су...сунуть свой нос». Ведь так?

— Именно,— подтвердил председатель.

— Потому, видите ли, господин де Бон...Бонфон, надо поглядеть, и потом ре...ре...решать. Чего не бы...бы...бывает! Во всяком о-о-

обремни-нительном деле, что-о-обы не ра...ра...разориться нужно знать свои средства и обязательства. А? Ведь так?

— Разумеется,— сказал председатель.— Я, со своей стороны, держусь того мнения, что в несколько месяцев можно купить долговые обязательства за определенную сумму и полностью расплатиться по соглашению. Ха-ха! Куском сала собак далеко заведешь! Если не было объявления несостоятельности, а долговые обязательства в ваших руках,— вы чисты, как снег.

— Как с-с-снег? — повторил Гранде, опять складывая руку трубочкой.— Я не понимаю — с-с-снег.

— Тогда,— закричал председатель,— слушайте меня!

— Слу...слу...слушаю.

— Вексель — это товар, который может повышаться и понижаться в цене. К такому выводу приходит Иеремия Бентам \* в своем рассуждении о ростовщичестве. Этот публицист доказал, что обычное презрение к ростовщикам — глупейший предрассудок.

— Вот как! — заметил Гранде.

— Согласно рассуждению Бентама,— продолжал председатель,— следует исходить из того основного положения, что деньги являются товаром, а посему все, в чем они выражены, равным образом становится товаром. Всем известен постоянно действующий в торговле закон колебания цен, и векселя, подписанные тем или иным лицом, также как тот или иной товар, то дорожают, то стоимость их падает до нуля в зависимости от того, много или мало их на рынке, а на основании сего коммерческий суд выносит постановление.

— Погодите, как же это я не сообразил — вот дурак!.. Да ведь вы можете выкупить векселя вашего брата по двадцати пяти за сто.

— К-как вы г-о-о-говорите? И-и-иеремия Бентам?

— Да, Бентам, англичанин.

— Молодец этот Иеремия,— смеясь, сказал нотариус.— Будем теперь ссылаться на него в делах, когда обиженные хнычат.

— З-з-значит, ин-ной раз и у англичан есть ч-чему п-п-поучиться,— заметил Гранде.— С-с-стало быть, по-по Б-б-бентаму, если векселя моего брата с-с-стоят... н-не стоят. Если... я-я-я верно говорю? К-к-кажется, ясно? Кредиторы были бы... Нет, не были бы... Я з-з-запутался...

— Позвольте вам все это объяснить,— сказал председатель.— Юридически, если все документы по долговым обязательствам дома Гранде окажутся в ваших руках, то брат ваш или его прямые наследники никому не должны. Так.

— Так,— повторил добряк.

— По справедливости, если векселя брата нашего котируются (котируются,— вы хорошо понимаете этот термин?) на рынке со скидкой во столько-то процентов, если один из ваших друзей от-

правится в Париж, если он скупит векселя без всякого принуждения кредиторов каким бы то ни было давлением к уступке, то все обязательства по наследству покойного Гранде в Париже признают честно выполненными.

— Правда, де... де... дела так уж и есть дела. А раз это так... Однако все-таки, вы понима...маете, что тру...тру...трудно. У меня н-нет ни... ни... денег, ни... ни... ни времени, ни времени, ни...

— Да, вам тронуться невозможно. Так вот, предлагаю вам: я отправлюсь в Париж (вы мне оплатите поездку — сущие пустяки). Я увижусь с кредиторами, поговорю с ними, отсрочу платежи, и все уладится при помощи доплаты, которую вы прибавите к деньгам, вырученным при ликвидации, и тогда вы вступите во владение долговыми обязательствами.

— Посмотрим, я не... не... не могу, я... я... я не хочу ничего б...б...бра...братъ на себя пока... пока не... Кто... кто... кто... не может, не может... По-о-онимаете?

— Это верно.

— У меня голова ло...ло...лопается от всего, что вы-ы мне тут на...на...на...наворотили. Пе...пе...первый раз в жизни мне при...при...приходится ду...ду...ду...думать о...

— Да, вы не юрист.

— Я...я просто бе...бе...бедный винодел и понятия не имею о том, что вы...вы...вы только что говорили. Мне ну...нужно и-и-изучить это.

— Итак...— начал председатель принимая такую позу, как будто собирался резюмировать дискуссию.

— Племянник! — произнес нотариус с выражением упрека, прерывая его.

— Что, дядюшка? — отвечал председатель.

— Дай же господину Гранде объяснить тебе свои намерения. В данную минуту дело касается важного полномочия. Наш дорогой друг должен определить его надлежаш...

Стук молотка, возвестивший о приходе семейства де Грассенов, их появление и приветствия помешали Крюшо закончить фразу. Нотариус обрадовался, что их прервали. Гранде уже посматривал на него косо, и шишка на его носу показывала внутреннюю бурю. Но прежде всего благоразумный нотариус полагал, что председателю суда первой инстанции неприлично ехать в Париж для того, чтобы принуждать там кредиторов к капитуляции и соучаствовать в делишках, оскорблявших законы безукоризненной честности; затем, не услышав до сих пор от старика Гранде даже намек на желание оплатить какие бы то ни было расходы, он бессознательно дрожал от боязни, что племянник впутается в это дело. Воспользовавшись минутой, когда входили де Грассены, он взял председателя за руку и увлек его в амбразуру окна.

— Ты, племянничек, вполне достаточно себя показал, но довольно чрезмерной преданности. Тебе до смерти хочется добиться такой невесты, и это тебя ослепляет. Кой черт! Не следует действовать как щипцы, что крошат вместе со скорлупой и самый орех. Предоставь теперь мне вести ладью и только помогай маневрировать. Подобаает ли тебе ронять достоинство должностного лица в подобной...

Он оборвал свое наставление, услышав, что г-н де Грассен говорит старому бочару, протягивая ему руку:

— Гранде, мы узнали об ужасном несчастье, постигшем ваше семейство: о разорении торгового дома Гильома Гранде и кончине вашего брата. Мы пришли выразить вам сочувствие. Такое ужасное несчастье!

— Другого несчастья нет, кроме кончины господина Гранде-младшего,— сказал нотариус, прерывая банкира.— Да и он не закончил бы с собой, если бы ему пришло на мысль призвать на помощь брата. Старый друг наш, преисполненный чести до кончиков ногтей своих, предполагает ликвидировать долги торгового дома Гранде в Париже. Мой племянник, председатель, чтобы избавить его от хлопот по делу чисто судебному, предлагает немедленно отправиться в Париж, с тем чтобы войти в соглашение с кредиторами и должным образом их удовлетворить.

Слова эти, подтвержденные всей повадкой винодела, который поглаживал себе подбородок, нисобычайно поразили троих де Грассенов,— ведь дорогой они вволю позлословили насчет скупости Гранде и обвиняли его чуть ли не в братоубийстве.

— О, я был в этом уверен! — воскликнул банкир, поглядывая на жену.— Что я дорогой говорил тебе, госпожа Грассен? Гранде преисполнен чести до кончиков волос и не допустит, чтобы хоть малейшим образом было затронуто его имя! Богатство без чести — это уродство. Есть еще честь у нас в провинциях! Это очень, очень хорошо, Гранде. Я старый военный служака и не умею таить своей мысли, режу напрямик. Гром и молния! Это — возвышенно!

— В таком случае во...воз...возвышенное обходится до...о...очень до...до...дорого,— отвечал добряк, пока банкир горячо тряс его руку.

— Но ведь это, благородный мой Гранде, не в упрек будь сказано господину председателю, дело чисто коммерческое и требует опытного negociанта. Тут необходимо знакомство с обратными счетами, авансами, исчислениями процентов. Я собираюсь в Париж по своим делам и кстати мог бы взять на себя...

— Да, мы могли бы попытаться сговориться друг с другом относительно во...возможностей и чтоб мне не обя...обязываться в чем-нибудь, чего я не... не... не желал бы де...лать,— сказал Гранде заикаясь,— потому что, видите ли, господин пред-

седатель естественным образом предлагал, чтобы я взял на себя дорожные расходы.

На этих последних словах Гранде уже не запинался.

— Ах, — сказала г-жа де Грассен, — да ведь это же удовольствие — побывать в Париже! Я бы с радостью сама заплатила, лишь бы туда поехать.

И она сделала знак мужу, как бы подзадоривая его отбить во что бы то ни стало поручение у противников; затем она весьма иронически поглядела на обоих Крюшо, принявших совсем жалкий вид. Гранде схватил тогда банкира за пуговицу сюртука и отвел его в угол.

— Я бы гораздо охотнее доверился вам, чем председателю, — сказал он ему. — Вообще тут что-то неладно, — прибавил он, и шишка на его носу зашевелилась. — Я намерен приобрести ренту. Мне нужно поручить кому-нибудь покупку ренты на несколько тысяч франков, и не иначе как по восьмидесяти франков. Эта механика, говорят, обходится дешевле под конец каждого месяца. Вам это дело знакомо, не правда ли?

— Ну, еще бы! Значит, мне предстоит устроить вам ренту на несколько тысяч франков?

— Не бог весть что для начала. Только — молчок! Мне хочется разыграть эту музыку так, чтобы никто ничего не знал. Вы бы заключили для меня сделку к концу месяца. Но ничего не говорите Крюшо, чтоб их не дразнить. Раз вы едете в Париж, посмотрим заодно, каковы козыри бедного моего племянника.

— Значит, решено. Я еду завтра с почтовым дилижансом, — громко сказал де Грассен. — Я найду к вам за последними инструкциями в... в котором часу?

— В пять часов, перед обедом, — сказал винодел, потирая руки.

Обе враждебные партии задержались еще некоторое время в зале. Де Грассен, после паузы, сказал, хлопая Гранде по плечу:

— Хорошо, у кого есть такие добрые родственники.

— Да, да, хоть оно и не кажется, — отвечал Гранде, — а я до-о-обрый родственник. Я люблю брата и докажу это, если... если это обойдется не...

— Мы покидаем вас! — сказал банкир, удачно прерывая его, прежде чем он кончил фразу. — Раз я ускоряю свой отъезд, мне нужно привести в порядок кое-какие дела.

— Ладно, ладно. Да и я сам, вы... вы з-з-знаете для чего, уда-далюсь в свою ко... «комнату ра...размышлений», как говорит председатель Крюшо.

«Дьявольщина! Я уже больше не господин де Бонфон», — грустно подумал чиновник, и лицо его приняло унылое выражение, как у судьбы, которому наскучила речь защитника. Главы обоих соперничающих семейств ушли вместе. Ни те, ни другие уже не думали

о предательстве в отношении винодельческой округи, в котором оказался виновным Гранде, и только тщетно пытались выпытать друг у друга, кто что думает о действительных намерениях добряка в этом новом деле.

— Не желаете ли зайти вместе с нами к госпоже д'Орсонваль? — спросил де Грассен нотариуса.

— Мы придем попозже, — ответил председатель. — Я обещал барышне де Грибокур заглянуть вечерком, и если дядюшка не возражает, мы сначала отправимся туда.

— Значит, до свидания, господа, — сказала г-жа де Грассен.

И когда де Грассены отошли на несколько шагов от Крюшо, Адольф сказал отцу:

— Оставили их в дураках, а?

— Сын, замолчи, — ответила г-жа де Грассен, — они нас еще могут слышать. Да и слова твои дурного тона и отдают студенческим жаргоном.

— Так-то, дядюшка! — вскричал чиновник, как только увидел, что де Грассены далеко. — Сначала старик именовал меня председателем де Бонфоном, а потом разжаловал, и я уже стал просто Крюшо.

— Я заметил, что тебе это неприятно. Да, ветер дул в сторону де Грассенов. Но до чего ж ты глуп при всем своем уме! Предоставь им покататься на этом «*посмотрим*» старика Гранде и держись спокойно, мой мальчик: Евгения от этого еще верней будет твоей женой.

В несколько минут весть о великодушном решении Гранде разнеслась по трем домам сразу, и в тот же вечер во всем городе только и толковали об этой братской самоотверженности. Всякий прощал Гранде его продажу, произведенную в нарушение взаимного клятвенного обязательства всех сомюрских виноделов, все дивились его чувству чести, восхваляли великодушие, на какое не считали его способным. Французскому характеру свойственно приходить в восторг, в гнев, в страстное воодушевление из-за минутного метеора, из-за плывущих по течению щепок злободневности. Неужели коллективные существа — народы — в самом деле лишены памяти?

Едва старик Гранде запер дверь, как позвал Нанету.

— Не спускай с цепи собаку и не спи, нам с тобой предстоит поработать. В одиннадцать часов Корнуайе должен быть у ворот с фруафонской кареткой. Подожди его у калитки, чтоб он не стучался, и скажи ему, пусть войдет как можно тише. Полицейские правила запрещают производить ночью шум. Да и околотку незачем знать, что я отправляюсь в дорогу.

Сказав это, Гранде поднялся в свою лабораторию, и Нанета слышала, как он там возился, рылся, ходил взад и вперед, но осторожно. Очевидно, старик старался не разбудить жены и дочери

и особенно не привлечь внимания племянника, которого он начинал прямо проклинать, замечая свет в его комнате. Среди ночи Евгении, всецело озабоченной кузеном, показалось, что она слышит стенания, и для нее уже не было сомнения: Шарль умирает, — ведь она оставила его таким бледным, в таком отчаянии! Может быть, он покончил с собой? Мгновенно она завернулась в накидку, вроде плаща с капюшоном, и хотела выйти. Сначала яркий свет, пробивавшийся в дверные щели, ее испугал: показалось — пожар; но вскоре она успокоилась, заслышав тяжелые шаги Нанеты и ее голос, мешающийся с ржанием нескольких лошадей.

«А что, если отец увозит куда-то кузена?» — спросила она себя, приотворяя дверь осторожно, чтобы она не скрипела, но так, чтобы видеть происходящее в коридоре.

Вдруг ее глаза встретились с глазами отца, и от его взгляда, хотя спокойного и рассеянного, у Евгении мороз побежал по коже. Добряк и Нанета несли вдвоем толстую жердь, концами лежавшую у него и у нее на правом плече, к жерди был привязан канатом бочонок, вроде тех, какие старик Гранде для развлечения мастеровил у себя в черной кухне в свободные минуты.

— Пресвятая дева! Ну, и тяжеленный! — сказала тихо Нанета.

— Жаль, что там всего только медяки! — отвечал Гранде. — Смотри, не задень подсвечник.

Эта сцена была освещена единственной свечой, поставленной между двумя балясинами перил.

— Корнуайе, — сказал Гранде своему сторожу *in partibus*<sup>1</sup>, — пистолеты захватил?

— Нет, сударь. Да и подумаешь, есть чего бояться, раз у вас тут медяки!

— И, верно, нечего, — сказал старик Гранде.

— К тому же и поедем мы быстро, — продолжал сторож. — Ваши фермеры выбрали для вас лучших своих лошадей.

— Ладно, ладно. Ты же не сказал им, куда я еду?

— Да я и не знал.

— Ладно. Повозка прочная?

— А то как же! Куда уж крепче, — три тысячи фунтов выдержит. А что они весят-то, ваши дрянные бочонки.

— На-ко! — сказала Нанета. — Нам-то известно! Ближе восемнадцати сотен.

— Помалкивай, Нанета. Жене скажешь, что я поехал в деревню. К обеду вернусь. Гони во-всю, Корнуайе, в Анжере нужно быть раньше девяти.

Повозка отъехала, Нанета задвинула ворота засовом, спустила с цепи собаку, улеглась, потирая онемевшее плечо, и никто во

---

<sup>1</sup> Здесь — частично исполняющему обязанности сторожа (лат.).

всем околотке не подозревал об отъезде Гранде, ни о цели его путешествия. Скрытность добряка была доведена до совершенства. Никто гроша не видал в этом доме, полном золота. Узнав утром из разговоров на пристани, что цена на золото удвоилась вследствие размещения в Нанте крупных военных заказов и что спекулянты нахлынули в Анжер скупать золото, старый винодел, попросту заняв лошадей у своих фермеров, отправился ночью в Анжер, чтобы продать там накопленное золото и на полученные банковые билеты приобрести государственную ренту, заработав еще и на разнице в биржевом курсе.

— Отец уезжает, — прошептала Евгения, с лестницы слышавшая все.

В доме опять воцарилась тишина; постепенно замер вдали грохот повозки, не тревожа более спящий Сомюр. И тут Евгения, прежде чем услышать, сердцем почуяла стон, донесшийся из комнаты кузена. Светлая полоска, тоненькая, как лезвие сабли, шла из дверной щели и перерезала поперек балясины перил на старой лестнице.

— Он страдает, — сказала она, поднимаясь на две ступеньки.

Услышав второй стон, она взбежала на площадку и остановилась перед его комнатой. Дверь была приотворена, она толкнула ее. Шарль спал, свесившись головой со старого кресла; его рука выронила перо и почти касалась пола. Прерывистое дыхание Шарля, вызванное неудобным положением тела, вдруг испугало Евгению, и она быстро вошла.

«Он, верно, очень устал», — подумала она, глядя на десяток запечатанных писем. Она прочла адреса: Гг. Фарри, Брейльман и К°, экипажным мастерам, Г. Бюиссону, портному, и т. д.

«Он, очевидно, устроил все свои дела, чтобы иметь возможность вскоре уехать из Франции», — подумала она. Взгляд ее упал на два раскрытых письма. Слова, какими начиналось одно из них: «Дорогая моя Анета...» — ошеломили ее. Сердце ее застучало, ноги приросли к полу.

«Его дорогая Анета? Он любит, он любим! Больше нет надежды!.. Что он г шет ей?»

Эти мысли пронеслись в голове и сердце ее. Она читала эти слова повсюду, даже на квадратах пола, написанные огненными чертами.

«Уже отказаться от него! Нет, не буду читать это письмо. Я должна уйти... А если бы я все-таки прочла?..»

Она посмотрела на Шарля, тихо приподняла ему голову и положила на спинку кресла, а он отдался этому, как ребенок, даже во сне узнающий мать и, не просыпаясь, принимающий ее заботы и поцелуи. Слово мать, Евгения подняла его свесившуюся руку

и, словно мать, тихо поцеловала его в голову. «Дорогая Анета!» Какой-то демон кричал ей в уши эти два слова.

— Знаю, что, может быть, поступаю дурно, но я прочту это письмо,— сказала она.

Евгения отвернулась,— благородная честность ее возроптала.

Впервые в жизни столкнулись в ее сердце добро и зло. До сих пор ей не приходилось краснеть ни за один свой поступок. Страсть, любопытство увлекли ее. С каждой фразой сердце ее все более ширилось, и от жгучего любопытства, обуявшего ее во время этого чтения, еще слаще стали для нее радости первой любви.

«Дорогая Анета, ничто бы нас не разлучило, если бы не обрушилось на меня несчастье, которого самый осторожный человек не мог бы предвидеть. Отец мой покончил с собой; состояние его и мое погибло полностью. Я осиротел в таком возрасте, когда по самому уж моему воспитанию могу считаться ребенком; и тем не менее я должен мужем подняться из бездны, в которую повергнут. Я только что посвятил часть ночи своим расчетам. Если я хочу покинуть Францию честным человеком,— а в этом сомнения нет,— то у меня не останется и сотни франков, чтобы отправиться попытать счастья в Ост-Индии или Америке. Да, бедная моя Анна, я поеду в страны самого губительного климата добывать состояние. Под такими небесами, как мне говорили, это дело верное и быстрое. Остаться в Париже я не смог бы. Ни душа моя, ни мой характер, отражающийся на моем лице, не созданы для того, чтоб переносить оскорбления, холод, презрение, ожидающие человека разоренного, сына банкрота! Боже мой! Быть должным два миллиона!.. Да я был бы убит на поединке в первую же неделю. Поэтому я не вернусь в Париж. Даже твоя любовь, самая нежная и преданная, какая только облагораживала когда-либо мужское сердце, не была бы в силах привлечь меня в Париж. Увы! Возлюбленная моя, у меня нехватает денег, чтобы поехать туда, где ты, дать и получить последний поцелуй,— поцелуй, в котором почерпнул бы я силу, необходимую для моего предприятия...»

Бедный Шарль! Я хорошо сделала, что прочла это письмо. У меня есть золото, я отдам ему»,— сказала про себя Евгения.

Она отерла слезы и снова принялась за чтение.

«Я еще вовсе не размышлял о несчастиях нищеты. Если у меня найдется сто луидоров, необходимых на проезд, то не останется ни кроша, чтобы приобрести товары. Да нет, у меня не будет ни ста, ни даже одного луидора, я узнаю, сколько у меня останется, только расплатившись с долгами в Париже. Если у меня не окажется ничего, я преспокойно отправлюсь в Нант, поступлю на корабль

простым матросом и начну так, как начинали многие энергичные люди, в молодости не имевшие ни гроша и вернувшиеся из Индии богачами. С сегодняшнего утра я хладнокровно стал смотреть на свое будущее. Оно для меня ужаснее, чем для кого бы то ни было; мать обожала и лелеяла меня, я избалован нежностью отца, лучшего на свете, я встретил при вступлении в свет твою любовь, Анна. Я знал лишь цветы жизни: это блаженство не могло быть долговечно. И все-таки, дорогая Анна, во мне больше мужества, чем можно предположить его в беззаботном юноше, привыкшем к нежным ласкам прелестнейшей в Париже женщины, счастливого семейными радостями, которому дома все улыбалось и желания которого были законом для отца. О отец мой! Он умер, Анета! И вот я задумался над моим положением, задумался и над твоим. Я постарел за одни сутки. Дорогая Анна, если бы ты даже попыталась сохранить меня возле себя, в Париже, и пожертвовала ради этого всеми наслаждениями роскоши, туалетами, ложею в Опере, мы все же не покрыли бы тех расходов, которые необходимы для молодого человека, привыкшего к рассеянной жизни. Да я и не мог бы принять такой жертвы. Значит, сегодня мы расстаемся навсегда.

«Он с нею расстанется, пресвятая дева! Какое счастье!»

Евгения чуть не закричала от радости. Шарль пошевелился во сне, она похолодела от страха; однако, к счастью для нее, он не проснулся. Она продолжала:

«Когда возвращусь я? Не знаю. От климата Ост-Индии европеец быстро стареет, в особенности когда европейцу приходится работать. Перенесем на десять лет вперед. Через десять лет дочери твоей будет восемнадцать, она станет тебе подругой, станет и твоим соглядатаем. Свет будет к тебе жесток, а дочь твоя, может быть, еще более. Мы видели примеры таких приговоров света и такой неблагодарности девушек; сумеем же воспользоваться уроком. Сохрани в самой глубине души, как сохраню и я, воспоминание о четырех годах счастья и, если можешь, будь верна своему бедному другу. Я не смею, однако, этого требовать, потому что, видишь ли, дорогая Анна, я должен сообразоваться со своим положением, смотреть на жизнь трезво, считаться с житейской действительностью. Итак, я должен подумать о женитьбе, она становится для меня необходимой в новых условиях существования; и я признаюсь тебе, что встретил здесь, в Сомюре, у своего дяди кузину,— ее манеры, лицо, ум и сердце понравились бы тебе, у нее сверх того, мне кажется, есть...»

«Он, должно быть, очень устал, если не кончил писать к ней»,— сказала себе Евгения, видя, что письмо прервано на середине этой фразы.

Она его оправдывала! Следовательно, невинная девушка не заметила холодности, сквозившей в этом письме? Для девушек, получивших религиозное воспитание, полных неведения и чистоты, все исполнено любви, как только они вступают в заколдованное царство любви. Они идут по этому царству, окруженные небесным светом, источник которого сокрыт в их собственной душе и лучами падает на их возлюбленного; они озаряют его огнями собственного чувства и наделяют своими прекрасными мыслями. Ошибки женщины почти всегда происходят от веры ее в добро или из ее уверенности в правде. Для Евгении слова: «Дорогая Анета, возлюбленная моя», звучали в сердце как прекраснейшие слова любви и ласкали душу, как в детстве ласкали ее слух божественные звуки «Приидите, поклонимся», которым вторил орган. К тому же слезы, еще увлажнявшие ресницы Шарля, казались ей свидетельством благороднейших чувств, неизбежно пленяющих юных девушек. Могла ли она знать, что если Шарль так любил отца и так искренне его оплакивал, то нежность эта исходила не столько от доброты его сердца, сколько от добрых отцовских качеств? И мать и отец постоянно удовлетворяли все его фантазии, доставляли ему все удовольствия богатства, и поэтому у него не возникали те ужасающие расчеты, в каких более или менее повинно в Париже большинство молодых людей, когда среди столичных соблазнов слагаются их желания, намечаются планы, и они с огорчением видят, как выполнение этих планов беспрестанно откладывается и затягивается из-за того, что родители еще живы. Щедрость отца породила в сердце сына любовь сыновнюю — истинную, без задней мысли. Тем не менее Шарль был дитя Парижа, приученный парижскими нравами, самую Анетю все рассчитывать, — уже старик под маскою молодого человека. Он получил страшное воспитание, вращаясь в том обществе, где за один вечер совершается в мыслях, в словах больше преступлений, чем их наказывается судом присяжных; где острословием убиваются величайшие идеи, где что-нибудь значит только тот, кто смотрит на вещи правильно, а правильно смотреть там означает: не верить ни во что — ни в чувства, ни в людей, ни даже в события; там создают события мнимые. Там, чтобы «смотреть правильно», необходимо каждое утро взвешивать кошелек друга, уметь дипломатически поставить себя выше всего, что происходит; заранее ничем не восхищаться — ни созданиями искусства, ни благородными деяниями и движущею силою во всем считать личную выгоду. После любовных безумств великосветская дама, прекрасная Анета, принуждала Шарля «думать серьезно»; она говорила ему о его положении в будущем, проводя по его волосам надушенной рукой; поправляя ему локон, она убеждала его, что в жизни нужно быть расчетливым, под ее влиянием он стал изне-

женным и весьма практичным. Двойное развращение, но развращение хорошего тона, изящное и тонкое.

— Шарль, вы глупыш,— говорила она ему,— мне будет очень трудно научить вас обычаям света. Вы были очень нелюбезны с господином де Люпо. Я отлично знаю, что он не очень-то достоин уважения. Но подождите, пока этот де Люпо потеряет власть, тогда можете презирать его, сколько вам угодно. Знаете, что нам говорила госпожа Кампан? «Дети мои, пока человек в составе министерства, преклоняйтесь перед ним. Падет — помогайте тащить его на свалку. В могуществе он нечто вроде бога, но, сверженный, он ниже Марата, брошенного в яму,— потому что он еще жив, а Марат был уже мертв. Жизнь — это чередование всяких комбинаций, их нужно изучать, следить за ними, чтобы всюду оставаться в выгодном положении».

Шарль был человек, слишком вошедший в моду, он был слишком избалован своими родителями, слишком обласкан светом, чтобы иметь сильные чувства. Зерно чистого золота, брошенное в его сердце матерью, растянула в ниточку волочильня парижской жизни; он пользовался им небрежно, и золото постепенно истерлось в житейской суете. Но Шарлю было тогда всего двадцать один год. В этом возрасте свежесть жизни кажется неразлучной с чистотою души. Голос, взгляд, юное лицо вызывают мысль о полной гармонии их с чувствами. Самый суровый судья, самый недоверчивый стряпчий, самый алчный ростовщик все же не решается верить в дряхлость сердца, в порочные расчеты, когда глаза юноши еще блестят влажным блеском, как у ребенка, а на лбу нет ни одной морщины. У Шарля никогда не было случая применять на деле правила парижской морали, и он был прекрасен своей неопытностью. Но помимо него самого эгоизм уже был привит ему. В сердце его уже таились зародыши тех материальных интересов, которые составляют основу политической экономии парижан, и они не замедлили бы развиваться, как только он из праздного зрителя стал бы актером в драме реальной жизни. Почти все девушки доверяются сладостным обещаниям пленительной внешности. Но будь Евгения такою же осторожной и наблюдательной, какими бывают многие девушки в провинции, могла ли она не доверять кузену, когда его обращение, слова и поступки были еще в согласии со стремлениями сердца? Случай, для нее роковой, сделал ее свидетельницей последних излиятий искренней чувствительности, еще не угасшей в этом юном сердце, и дал ей услышать, так сказать, последние вздохи совести. И вот она оставила это письмо, в ее понимании исполненное любви, и стала с нежностью всматриваться в спящего кузена: нетронутые иллюзии жизни еще озаряли для нее это лицо; и тут же она поклялась себе любить его вечно. Затем она бросила взгляд на другое письмо, не придавая большого значения этой вторичной

нескромности. И если начала читать его, то лишь для того, чтобы получить новые доказательства душевного благородства, которым она, подобно всем женщинам, наделила своего избранника.

«Дорогой Альфонс, в ту минуту, когда ты будешь читать это письмо, у меня уже не будет друзей; но признаюсь тебе, что, сомневаясь в наших светских людях, привыкших злоупотреблять этим словом, я не усомнился в твоей дружбе. Поэтому я обременяю тебя поручением уладить мои дела и рассчитываю на тебя, чтобы извлечь пользу из всего, чем я владею. Теперь ты должен узнать о моем положении. У меня нет ничего, и я собираюсь уехать в Ост-Индию. Я только что написал ко всем, кому, как припоминаю, что-нибудь остался должен. Прилагаю к письму список их, точный настолько, насколько я в состоянии составить его по памяти. Продай мою библиотеку, всю обстановку, экипажи, лошадей и прочее; вырученных денег, надеюсь, хватит на уплату моих долгов. Для себя хочу я сохранить только ничего не стоящие безделушки, которые мне пригодятся для начала моей торговли. Дорогой Альфонс, отсюда я пришлю тебе для этой продажи формальную уверенность на случай оспаривания. Пришли мне все мое оружие. Бритона оставь себе. Никто не оценит это восхитительное животное, и я предпочитаю подарить его тебе, вместо обычного кольца, которое умирающий завещает душеприказчику. В мастерской Фарри, Брейльман и К° мне сделали очень удобную дорожную карету; но они мне ее не привезли; добейся от них, чтобы они ее оставили у себя, не требуя с меня возмещения убытков; если они откажутся от этой сделки, то избеги всего, что могло бы при нынешних моих обстоятельствах бросить тень на мою честность. Я должен шесть луидоров англичанину — проиграл их в карты — непременно отдай...»

— Милый кузен! — сказала Евгения, бросив читать письмо, и крадучись вернулась к себе, захватив одну из горящих у Шарля свечей.

Очутившись в своей комнате, она не без приятного волнения выдвинула ящик старинного дубового поставца, одного из прекраснейших изделий так называемой эпохи Возрождения, — на дверце еще была видна полустершаяся знаменитая королевская саламандра. Из ящика она достала туго набитый кошелек алого бархата с золотыми кистями, вышитый по краям уже обветшалой канителью, — наследие от бабушки. Она с превеликой гордостью взвесила этот кошелек на ладони и с удовольствием стала проверять забытый итог скромных своих сбережений. Прежде всего она отделила двадцать португальских червонцев, чеканенных при Иоанне V, в 1725 году. В обмен на ходячую монету за них дали бы не меньше, чем по сто шестьдесят восемь франков шестьдесят четыре сантима, —

так говорил ей отец. Но настоящая цена им была сто восемьдесят франков штука,— такой редкостью были эти красивые монеты, сиявшие как солнце.

Затем пять гемузских червонцев — тоже редкостная монета; на обмен они стоили восемьдесят семь франков каждый, но любитель дал бы за них и все сто. Они достались Евгении от покойного дяди, старика де ла Бертельера.

Далее три золотых испанских пистоля времен Филиппа V, чеканенных в 1729 году,— подарки г-жи де Жантийе, которая, даря пистоль, каждый раз приговаривала:

— Этот хорошенький кенарь, этот желтенький милушка стоит девяносто восемь ливров. Береги его, детка — это украшение твоей коллекции.

Далее сто голландских червонцев, чеканенных в 1756 году и ходивших по тринадцати франков — старик Гранде более всего дорожил ими, ибо золота в каждой монете было двадцать три с лишним карата.

И, наконец, наиредчайшие монеты, ценившиеся любителями наравне с античными медалями и дорогие для скупцов: три рупии со знаком Весов и пять рупий со знаком Девы, в двадцать четыре карата каждая, великолепные золотые Великого Могола; цена каждой из них была по весу тридцать семь франков сорок сантимов, но знаток охотно заплатил бы пятьдесят франков.

Последним Евгения взяла в руки двойной наполеондор, стоимостью в сорок франков, который она получила от отца третьего дня и небрежно бросила его в кошелек.

Словом, ее казна состояла из новеньких, нетронутых монет, подлинно художественных вещиц, и время от времени папаша Гранде осведомлялся о них, выражая желание полюбоваться ими и объяснить дочери во всех тонкостях присущие им высокие достоинства — чистоту обреза, блеск поверхности, великолепие букв с четкими, еще не стертими гранями. Но Евгения не размышляла ни об этих редкостях, ни о мании отца, ни о страшной опасности утратить сокровище, столь дорогое ее отцу; нет, она думала о кузене, и ей удалось, наконец, подсчитать, после нескольких ошибок, что у нее накопилось около пяти тысяч восьмисот франков золотом, которое, договорившись, можно продать за две тысячи экю. При виде этого богатства она захлопала в ладоши, словно ребенок, изливающий в простодушных телодвижениях избыток радости. Так отец и дочь подсчитали каждый свое состояние; он — чтобы продать свое золото, Евгения — чтобы бросить свое золото в океан чувства. Она положила монеты обратно в старый кошелек, взяла его и без колебаний вновь поднялась наверх. Тайная нищета кузена заставила ее забыть и поздний ночной час и приличия; она была сильна чистой совестью, самоотвержением, счастьем.

В ту минуту, как она показалась на пороге двери, со свечой в одной руке и кошельком в другой, Шарль проснулся, увидел кузину и остолбенел, раскрыв рот от изумления. Евгения подошла к нему, поставила подсвечник на стол и сказала взволнованным голосом:

— Кузен, я должна просить у вас прощения в тяжкой вине перед вами; но бог мне простит этот грех, если вы захотите отпустить мне его.

— Да что такое? — спросил Шарль, протирая глаза.

— Я прочла оба эти письма.

Шарль покраснел.

— Как это случилось? — продолжала она. — Почему я поднялась к вам? По правде сказать, сама теперь не знаю. Но я склонна не слишком раскаиваться в том, что прочла эти письма: теперь я знаю ваше сердце, вашу душу и...

— И еще что? — спросил Шарль.

— И ваши планы: то, что вам необходима некоторая сумма...

— Дорогая кузина!..

— Тсс, тсс, кузен! Не надо говорить громко, а то кого-нибудь разбудим. Вот, — сказала она, раскрывая кошелек, — сбережения бедной девушки, которая не нуждается ни в чем. Шарль, примите их. Сегодня утром я еще не понимала, что такое деньги. Вы научили меня: деньги — только средство, вот и все. Кузен — почти брат, вы со спокойной совестью можете взять деньги у сестры. Я даю их вам взаймы.'

Евгения, в которой женская настойчивость сочеталась с чистотой юной девушки, не предвидела отказа, а кузен молчал.

— Неужели вы отказываетесь? — спросила Евгения, и в глубокой тишине было слышно, как бьется ее сердце.

Раздумье кузена обидело ее, но его нужда представилась ей еще живее, и она опустила на колени.

— Я не встану пока вы не возьмете это золото! — сказала она. — Кузен, умоляю, отвечайте!.. чтобы я знала, уважаете ли вы меня, великодушны ли вы...

Услыша этот крик сердца, полного благородным отчаянием, Шарль оросил слезами руки кузины, схватив их, чтобы не дать ей стоять на коленях. Почувствовав эти горячие слезы, Евгения кинулась к кошельку и высыпала деньги на стол.

— Значит, да — правда? — сказала она, плача от радости. — Не бойтесь ничего, кузен, вы будете богаты. Это золото принесет вам счастье, когда-нибудь вы мне его вернете. Кроме того, мы составим товарищество. Словом, я соглашусь на все условия, какими вы меня свяжете. Но вы бы не должны придавать такое значение этому подарку.

Шарль смог, наконец, выразить свои чувства.

— Да, Евгения, у меня была бы мелкая душа, если бы я отказался. Однако — дар за дар, доверие за доверие.

— О чем вы говорите? — с испугом спросила она.

— Послушайте, дорогая кузина, там у меня...

И, не dokonчив, он указал на квадратный ящичек в кожаном чемле, стоявший на комодe.

— Там у меня, видите ли, вещь мне дорогая, как жизнь. Этот ларец — подарок матери. Нынче с утра я все думал, что если бы она могла встать из могилы, то сама продала бы золото, которым из нежной любви ко мне она так щедро наполнила несессер, но сделать это самому я счел бы святотатством.

При последних словах Евгения судорожно сжала руку кузена.

— Нет,— продолжал он после недолгого молчания, когда они обменялись взглядом, влажным от слез,— нет, я не хочу ни уничтожать его, ни подвергать опасности в моих странствованиях. Дорогая Евгения, вы будете его хранительницей. Никогда друг не доверял другу ничего более священного. Судите сами.

Он подошел к комоду, вынул ларец из футляра и, открыв его, с грустью показал восхищенной кузине несессер, по работе еще более ценный, чем по весу золота.

— То, чем вы любуетесь,— ничто,— сказал он, нажимая пружину, раскрывшую двойное дно.— Вот что мне дороже всего на свете.

Он вынул два портрета, два шедевра г-жи Мирбель, в богатых жемчужных оправках.

— О! Вот красавица! Не та ли это дама, которой вы писали...

— Нет,— сказал он улыбаясь.— Эта женщина — моя мать, а вот мой отец,— ваши тетка и дядя. Евгения, я готов на коленях умолять вас сохранить мне это сокровище. Если бы я погиб и погубил ваше маленькое состояние, то это золото возместит вам потерю. Только вам одной могу я оставить эти портреты: вы достойны хранить их. Но уничтожьте их, чтобы после вас они не попали в чужие руки...

Евгения молчала.

— Вы согласны, не так ли? — прибавил он ласково.

В ответ она бросила на него первый взгляд любящей женщины, один из тех взглядов, где почти столько же кокетства, как и глубины. Он взял ее руку и поцеловал.

— Ангел чистоты! Для нас с вами, не правда ли, деньги никогда ничего не будут значить? Чувство, придающее им некоторую ценность, будет отныне все.

— Вы похожи на свою мать. А голос у нее был такой же нежный, как у вас?

— О, гораздо нежнее...

— Да, для вас,— сказала она, опуская глаза.— Ну, Шарль, ложитесь спать, прошу вас, вы устали. До завтра.

Она тихо высвободила руку из рук кузена; он проводил ее, захватив с собой свечу. Когда они были уже у двери ее комнаты, он сказал:

— Ах, зачем я разорен!

— Мой отец богат, я думаю,— ответила она.

— Бедное дитя,— продолжал Шарль, остановившись у порога и прислоняясь спиной к косяку,— будь дядюшка богат, он не дал бы умереть моему отцу, не оставлял бы вас в такой скудости, словом, жил бы иначе.

— Но у него есть Фруафон.

— Да что стоит Фруафон?

— Я не знаю; но у него есть Нуайе.

— Какая-нибудь жалкая ферма!

— У него есть виноградники и луга...

— Пустяки! — сказал Шарль с презрительным видом.— Будь у вашего отца хоть двадцать четыре тысячи ливров дохода, разве вы жили бы в этой холодной, пустой комнате?— прибавил он, переступив порог.— Значит, тут будет мое сокровище,— сказал он, указывая на старый поставец, чтобы скрыть свою мысль.

— Идите спать,— сказала она, не давая ему войти в неубранную комнату.

Шарль вышел, и они с улыбкой простились друг с другом.

Оба они уснули, грезились им одинаковые сны, и с той поры перед глазами Шарля мелькали розы на его трауре.

Наутро, перед завтраком, г-жа Гранде увидела, что ее дочь прогуливается по саду вместе с Шарлем. Он был еще печален, как человек, который ввергнут судьбою в бездну, измерил всю ее глубину и почувствовал бремя предстоящей ему жизни.

— Отец вернется только к обеду,— сказала Евгения, заметив, что мать обеспокоена этой прогулкой.

В каждом движении девушки, в выражении лица, в воркующей нежности голоса сквозило, что между нею и ее кузеном установилось полное согласие мыслей. Души их соединяло жаркое чувство, быть может хорошо еще не осознанное ими во всей его силе. Шарль остался в зале, и к грусти его отнеслись с должным уважением. У каждой из трех женщин было свое занятие. Гранде бросил дома дела, а приходило довольно много народа: кровельщик, водопроводчик, каменщик, землекопы, плотник, хуторяне, фермеры: одни — договориться о починках и всяких работах, другие — внести арендную плату или получить деньги. И вот г-же Гранде и Евгении пришлось суетиться, вести бесконечные разговоры с рабочими и с деревенским людом. Нанета в кухне складывала в ящики взносы натурой, доставленные фермерами. Она всегда ждала распоряжений хозяина, чтобы знать, что оставить для дома и что продать на

рынке. У Гранде, как и у многих помещиков, было обыкновение пить самое плохое свое вино и есть подгнившие фрукты.

Часов в пять вечера Гранде вернулся из Анжера, выручив за свое золото четырнадцать франков и получив свидетельство государственного казначейства на выплату процентов по день получения облигаций ренты. Корнуае он оставил в Анжере, наказав ему покормить полузагнанных лошадей, дать им хорошенько отдохнуть и не торопясь ехать домой.

— Я из Анжера, жена,— сказал он.— Есть хочу.

Нанета закричала ему из кухни:

— Разве вы ничего не кушали со вчерашнего дня?

— Ничего,— ответил старик.

Нанета подала суп. Де Грассен явился к клиенту за распоряжениями, когда семья сидела за столом. Папаша Гранде даже не взглянул на племянника.

— Кушайте, Гранде, не беспокойтесь,— сказал банкир.— Побеседуем. Не знаете ли, какая цена золоту в Анжере? Туда понаехали скупать его для Нанта. Я собираюсь послать.

— Не посылайте,— ответил добряк Гранде,— там уже избыток. Мы с вами хорошие друзья, и я избавлю вас от напрасной потери времени.

— Но ведь золото там стоит тринадцать франков пятьдесят сантимов.

— Скажите лучше — стоило.

— Откуда же, черт возьми, оно явилось?

— Я сзидил нынче ночью в Анжер,— ответил Гранде, понизив голос.

Банкир вздрогнул от изумления. Затем де Грассен и Гранде стали что-то говорить друг другу на ухо, время от времени поглядывая на Шарля. И снова де Грассен весь встрепенулся от удивления,— несомненно, в ту минуту, когда бывший бочар дал банкиру распоряжение купить для него государственной ренты на сто тысяч ливров.

— Господин Гранде,— обратился он к Шарлю,— я еду в Париж, и если бы вы пожелали дать мне какое-нибудь поручение...

— Никаких, сударь. Благодарю вас,— ответил Шарль.

— Поблагодарите его как следует, племянник. Господин де Грассен едет улаживать дела фирмы Гильома Гранде.

— Так есть какая-нибудь надежда? — спросил Шарль.

— Но разве вы не мой племянник? — воскликнул бочар с хорошо разыгранной гордостью.— Ваша честь — наша честь. Разве вы не Гранде?

Шарль вскочил, обнял папашу Гранде, крепко поцеловал и, поблуднев, вышел. Евгения с восхищением глядела на отца.

— Ну, до свидания, мой добрый Грассен,— я ваш покорный слуга, а вы уж обработайте мне тех господ!

Два дипломата пожали друг другу руки; бывший бочар проводил банкира до дверей, потом, затворив их, вернулся и сказал Нанете, опускаясь в кресло:

— Поддай-ка черносмородинной.

Но от волнения он не мог сидеть на месте, поднялся, притопнул ногой и, выделывая «коленца», как говорила Нанета, стал напевать:

Служил в французской гвардии  
Папаша добрый мой.

Нанета, г-жа Гранде и Евгения молча посматривали друг на друга. Когда веселость винодела достигала высшей точки, она каждый раз приводила их в ужас.

Вечер скоро пришел к концу. Папаша Гранде захотел лечь пораньше, а когда он ложился, все в доме должны были спать, так же, как, «когда Август напивался, Польша была пьяна». Впрочем, Нанета, Шарль и Евгения устали не меньше хозяина. Что до г-жи Гранде, то она спала, ела, пила, ходила, как того желал супруг. Однако в течение двух часов, посвященных пищеварению, бочар настроен был необыкновенно игриво и сыпал своими особыми изречениями; по одному из них можно будет судить о степени его остроумия.

Выпив черносмородинной, он посмотрел на рюмку.

— Не успеешь пригубить, а рюмка уж и пуста! Так-то и мы. Живем, живем, да и помрем. Ох, хороша была бы жизнь, ежели б червончики по свету катились да в кошелек у нас зацепились.

Он стал весел и милостив. Когда Нанета пришла с прялкой, он ей сказал:

— Ты, верно, устала, — брось свою пеньку.

— Чего там, мне скучно будет! — ответила служанка.

— Бедная Нанета! Хочешь черносмородинной?

— Вот от черносмородинной не откажусь: барыня ее делает получше аптекарей. У них она вроде лекарства.

— Они чересчур много сахару в нее кладут, весь запах пропадает, — сказал добряк.

На другой день семья собралась в восемь часов к завтраку и впервые явила картину полного, естественного согласия. Несчастье быстро сблизило г-жу Гранде, Евгению и Шарля. Нанета, и та, сама того не ведая, чувствовала заодно с ними. Они вчетвером становились одной семьей. Что до старого винодела, то, насытив свою корысть и уверившись, что вертопраха он скоро спровадит, оплатив ему дорогу только до Нанта, он стал почти равнодушен к его присутствию в доме. Он предоставил обоим детям, как он называл Шарля и Евгению, делать, что им вздумается, под надзором г-жи Гранде, так как вполне доверял ей во всем, что касалось нравственности и религии. Планировка лугов и придорожных канав,

посадка тополей у Луары, зимние работы на фермах и в Фруафоне всецело занимали его.

И тогда для Евгении началась весна любви. С той ночной сцены, когда она отдала свое сокровище Шарлю, и сердце ее последовало за сокровищем. Соучастники общей для них тайны, они обменивались взглядами, выражавшими взаимное понимание, которое углубляло их чувства, усиливало их единение, душевную близость, ставило их обоим, так сказать, над обыденной жизнью. Разве не позволяло им родство не скрывать нежности в звуках голоса и ласки во взглядах? И Евгения с наслаждением усыпляла страдания кузена детскими восторгам зарождавшейся любви. Нет ли пленительного сходства между первоначальной порою любви и жизни? Разве не баюкают ребенка тихими песнями, с нежностью глядя на него? Разве не рассказывают ему чудесных сказок, позлащающих для него грядущее? Не простирает ли над ним надежда лучезарные свои крылья? Не плачет ли он попеременно слезами радости и горя? Не ссорится ли он по пустякам — из-за камешков, из которых пытается построить себе шаткий дворец, из-за пучка цветов, забываемых, едва они срезаны? Не жадно ли ловит он время и торопится идти вперед по пути жизни? Любовь — наше второе превращение.

Детство и любовь были одно для Евгении и Шарля: то была первая страсть со всеми ее ребячествами, тем более ласкавшими их сердца, что они повиты были печалью. С рождения своего эта любовь таилась под траурным крепом и оттого только стройнее сочеталась с провинциальной простотой этого полуразвалившегося дома. Обмениваясь с кузиной несколькими словами у колодца в безмолвном дворе, гуляя в садике, сидя вдвоем до захода солнца на замшелой скамье, когда оба говорили друг другу полные значения пустяки или, словно под сводами церкви, молчали, внимая тишине, царившей между оградой и домом, — Шарль понял святость любви: ведь его великосветская дама, его дорогая Анета познакомила его только с бурными ее тревогами. Ныне он расставался с парижской страстью, кокетливой, суетной, блестящей, ради чистой и истинной любви. Ему мил был этот дом, нравы которого не казались уже смешными. Он выходил из своей комнаты рано утром, чтобы несколько минут поговорить с Евгенией, пока Гранде придет выдавать провизию, а когда шаги старика раздавались на лестнице, он убегал в сад. Мнимая преступность этого утреннего свидания, остававшегося тайной даже для матери Евгении и якобы не замечаемого Нанетой, придавала невиннейшей в мире любви прелесть запретных радостей.

После завтрака, когда Гранде отправлялся осматривать свои земли и предприятия, Шарль оставался с матерью и дочерью и переживал еще неведомые ему наслаждения, протягивая руки, чтобы разматывать нитки, глядя на их работу, слушая их болтовню. Простота этой жизни, почти монастырской, открывшей ему красоту

этих душ, не ведавших мирской суеты, живо его трогала. Он думал, что такие нравы невозможны во Франции, и допускал существование их только в Германии, и то лишь в преданиях да в романах Августа Лафонтена \*. Вскоре Евгения сделалась для него идеалом гетевской Маргариты, но еще непорочной. День ото дня его взгляды, его слова все сильнее увлекали бедную девушку, и она с восхищением отдалась течению любви; она хваталась за свое счастье, как пловец за ивовую ветку, чтобы выбраться из потока и отдохнуть на берегу. Но разве горе не омрачало уже самых радостных часов этих быстролетных дней? Каждый день какой-нибудь случай напоминал им о близкой разлуке. Так, три дня спустя после отъезда де Грассена старик Гранде повел племянника в суд первой инстанции: Шарль должен был подписать отказ от отцовского наследства с той торжественностью, какую провинциалы придадут подобным делам. Страшное отречение! Своего рода отступничество сына. Шарль побывал у нотариуса Крюшо, чтобы засвидетельствовать две доверенности — одну на имя де Грассена, другую — на имя приятеля, которому он поручил продать свою обстановку. Затем надо было выполнить формальности для получения заграничного паспорта. Наконец, когда прибыла простая траурная одежда, выписанная Шарлем из Парижа, он призвал сомярского портного и продал ему свои, теперь ненужные, костюмы. Этот поступок особенно понравился папаше Гранде.

— А, вот теперь ты похож на человека, который собирается сесть на корабль и хочет разбогатеть, — сказал Гранде, увидя Шарля в сюртуке толстого черного сукна. — Хорошо, очень хорошо!

— Уверяю вас, сударь, — ответил ему Шарль, — что я сумею быть таким, как подобает в моем положении.

— Это что такое? — сказал добряк, смотря загоревшимся взглядом на пригоршню золота, которую показал ему Шарль.

— Сударь, я собрал запонки, кольца, все лишние вещи, какие у меня есть и могли бы что-нибудь стоить, но, никого не зная в Сомюре, я хотел просить вас нынче утром...

— Купить у тебя это? — сказал Гранде, прерывая его.

— Нет, дядя, указать мне честного человека, который бы...

— Давай мне все это, племянник. Я схожу наверх, оценю и вернусь сказать тебе, что это стоит, с точностью до одного сантима. Золото в ювелирных изделиях, — сказал он, рассматривая длинную цепочку, — от восемнадцати до девятнадцати каратов.

Старик протянул свою ручищу и унес золото.

— Кузина, — сказал Шарль, — позвольте предложить вам эти две застёжки, они могут вам пригодиться — скреплять ленты у кистей рук. Получается браслет. Теперь это очень модно.

— Принимаю без всяких колебаний, — сказала она, бросив на него понимающий взгляд.

— Тетушка, вот наперсток моей матери. Я бережно хранил его

и своем дорожном несессере,— сказал Шарль, преподнося г-же Гранде красивый золотой наперсток, предмет ее десятилетних желаний.

— Благодарности моей даже и выразить невозможно, племянничек,— сказала старушка, и у нее на глаза набегали слезы.— Вечером и утром к моим молитвам я буду прибавлять самую усердную за вас — молитву о путешествующих. Когда я умру, Евгения сохранит вам эту драгоценность.

— Все стоит девяносто восемьдесят франков семьдесят пять сантимов, племянник,— сказал Гранде, отворяя дверь.— Но, чтобы избавить тебя от хлопот по продаже, я отсчитаю тебе эту сумму... в ливрах.

На побережье Луары выражение «в ливрах» означает, что экип и шесть ливров должны приниматься за шесть франков, без вычета.

— Я не смел вам это предложить,— ответил Шарль,— но мне было бы противно торговать своими драгоценностями в городе, где вы живете. Стирать свое грязное белье надо у себя дома, говорил Наполеон. Очень вам благодарен за вашу любезность.

Гранде почесал за ухом; минута прошла в молчании.

— Дорогой дядя,— продолжал Шарль, тревожно глядя на него, словно боялся задеть его щепетильность,— кузина и тетушка со- благоволили принять от меня на память скромные подарки; благо- полите и вы принять запонки, мне уже не нужные: пусть они напоминают вам о бедном малом, который и в далеких краях будет думать о тех, в ком отныне — вся его семья.

— Мальчик, мальчик, не надо так разорять себя... Что у тебя, жена? — сказал Гранде с жадностью, оборачиваясь к ней.— О, золотой наперсток!.. А у тебя, дочурка? Так! Бриллиантовые застезки!.. Ладно, беру твои запонки, мальчик,— продолжал он, пожимая руку Шарлю.— Но... ты позволишь мне... оплатить твой... да, твой проезд в Индию? Да, я хочу оплатить тебе проезд. К тому же, видишь ли, мальчик, оценивая твои драгоценности, я подсчитал только вес золота, а может быть, удастся кое-что выручить и на работе. Так решено! Я дам тебе полторы тысячи франков... в ливрах. Мне Крюшо одолжит, ведь у меня в доме медного гроша нет, разве только Перроте раскачается и заплатит просроченные деньги за аренду. Да, да, зайду-ка я к нему!

Он взял шляпу, надел перчатки и вышел.

— Значит, вы уедете? — сказала Евгения, бросая на Шарля взгляд, выразивший и печаль и восхищение.

— Так надо,— ответил он, опуская голову.

Уже несколько дней, как у Шарля появились манеры, осанка, вид человека, глубоко удрученного, но сознающего всю тяжесть лежащих на нем важных обязанностей и черпающего новое мужество в своем несчастье. Он не вздыхал более, он стал мужчиной. И Евгения лучше чем когда-либо оценила характер кузена, когда он спустился сверху в одежде из толстого черного сукна, которая очень

шла к его побледневшему и сумрачному лицу. В этот день обе женщины надели траур и пошли с Шарлем в приходскую церковь, заказав там отслужить панихиду за упокой души Гильома Гранде.

Во время второго завтрака Шарль получил письма из Парижа и прочел их.

— Ну, как, вы довольны своими делами, братец? — тихо сказала Евгения.

— Никогда не задавай таких вопросов, дочь, — заметил Гранде. — Какого черта! Я не рассказываю тебе о своих делах, — зачем же ты суешь нос в дела твоего брата? Оставь мальчика в покое.

— О! У меня нет никаких тайн, — сказал Шарль.

— Та-та-та-та-та! Племянник, да будет тебе известно, что в коммерческих делах надо держать язык за зубами.

Когда влюбленные остались одни в саду, Шарль сказал Евгении, уводя ее на старую скамью, где они сели под ореховым деревом:

— Я не ошибся в Альфонсе, он отнесся ко мне как истинный друг, устроил мои дела толково и добросовестно. Все мои долги в Париже уплачены, вся обстановка моя выгодна продана, и он сообщает, что, по совету одного капитана дальнего плавания, употребил оставшиеся у него три тысячи франков на покупку всякого хлама — европейских диковинок, из которых извлекают большую выгоду в Ост-Индии. Он послал мои тюки в Нант, где грузится корабль на Яву. Через пять дней, Евгения, нам придется проститься, может быть навсегда или по крайней мере надолго. Мой товар и десять тысяч франков, которые мне посылают двое друзей, — начало очень скромное. Вернуться раньше нескольких лет и думать нечего. Дорогая кузина, не связывайте свою жизнь с моей; я могу погибнуть, может быть вам представится хорошая партия...

— Вы меня любите? — спросила Евгения.

— О да, очень! — ответил он с глубокой выразительностью, обличавшей глубину чувства.

— Я буду ждать, Шарль. Господи! Отец у окна, — сказала она, быстро отстраня кузена, который придвинулся было, чтобы обнять ее.

Она убежала под арку ворот, Шарль пошел за ней; увидя его, она отошла к лестнице и отворила дверь; потом, не вполне сознавая, куда идет, Евгения очутилась возле чулана Нанеты, в самом темном месте коридора; тут Шарль, шедший за нею, взял ее за руку, привлек к сердцу, обнял за талию и нежно прижал к себе. Евгения не сопротивилась более, она приняла и подарила поцелуй, самый чистый, самый сладостный и самый беззаветный из всех поцелуев.

— Дорогая Евгения, кузен лучше, чем брат: он может жениться на тебе, — сказал ей Шарль.

— Да будет так! — вскричала Нанета, отворяя дверь своей ко-нуры.

Влюбленные в страхе спаслись бегством в зал, где Евгения снова взялась за рукоделье, а Шарль принялся читать литании пресвятой деве по молитвеннику г-жи Гранде.

— Так-то! — сказала Нанета. — Мы все молимся.

С тех пор как Шарль объявил о своем отъезде, Гранде засуетился, желая внушить всем, что он относится к племяннику с большим участием; он выказывал большую щедрость во всем, что ничего ему не стоило, взялся приискать упаковщика и, заявив, что этот человек запросил слишком дорого за ящики, захотел во что бы то ни стало сделать их сам, пустив для этого в ход старые доски; он вставал спозаранку, стругал, прилаживал, выравнивал, сколачивал планки и соорудил прекрасные ящики, куда и уложив все вещи Шарля; он взялся сплавить их на судне вниз по Луаре, застраховать и отправить, когда придет время, в Нант.

После поцелуя в коридоре часы бежали для Евгении с ужасающей быстротой. Временами она хотела отправиться вместе с кузеном. Кто познал самую неотступную из страстей, длительность которой с каждым днем сокращает возраст, время, смертельная болезнь, те или иные роковые условия человеческой жизни, — тот поймет муки Евгении. Часто она плакала, гуляя в саду, теперь слишком для нее тесном, так же как и дом, и двор, и город: она заранее уносила в широкий простор морей.

Наконец наступил канун отъезда.

Утром, в отсутствие Гранде и Нанеты, драгоценная шкатулка, где находились два портрета, была торжественно помещена в единственном запиравшемся на ключ ящике поставца, где лежал также пустой кошелек. Водворение этого сокровища не обошлось без обильных слез и поцелуев. Когда Евгения спрятала ключ на груди, у нее не хватило духу запретить Шарлю поцеловать место, где он теперь хранился.

— Ему уже отсюда не уйти, друг мой.

— Так и сердце мое всегда будет здесь.

— Ах, Шарль, это нехорошо, — сказала она с некоторым недовольством.

— Разве мы не муж и жена? — ответил он. — Ты дала мне слово, прими же мое слово.

— Твой! Твоя навеки! — раздалось одновременно.

На земле не бывало обета более целомудренного: душевная чистота Евгении на мгновение освятила любовь Шарля.

На следующий день утренний завтрак прошел грустно. Несмотря на раззолоченный халат и шейный крестик, подаренный Шарлем Нанете, она прослезилась, свободно выражая свои чувства.

— Бедненький молодой барин в море идет. Да сохранит его господь!

В половине одиннадцатого вся семья отправилась проводить Шарля до нантского дилижанса. Нанета спустила пса, заперла ворота и

взялась нести дорожный мешок Шарля. Все торговцы старой улицы высыпали на порог своих лавок, чтобы поглядеть на это шествие, к которому присоединился на площади нотариус Крюшо.

— Смотри не заплачь, Евгения,— сказала ей мать.

— Ну, племянник,— сказал Гранде в подъезде гостиницы, целуя Шарля в обе щеки,— уезжасте бедным, возвращайтесь богатым; вы найдете честь отца целой и невредимой. За это отвечаю вам я, Гранде. И тогда от вас самих будет зависеть, чтобы...

— Ах, дядюшка, вы смягчаесте горечь моего отъезда. Это лучший подарок, какой вы могли мне сделать!

Не понимая, что говорит старый бочар, которого он прервал, Шарль поцеловал его, оросив слезами благодарности его дубленую физиономию, а в это время Евгения жала изо всех сил руку кузена и руку отца. Только нотариус улыбался, дивясь хитрости Гранде: он один его понял. Четверо сомюрьцев, окруженные несколькими зрителями, оставались возле дилижанса, пока он не тронулся; а когда он исчез на мосту и стук колес слышался уже в отдалении, винодел сказал:

— Скатертью дорожка!

К счастью, только нотариус Крюшо услышал это восклицание. Евгения с матерью пошли на то место набережной, откуда могли еще видеть дилижанс, и махали белыми платками; в ответ на это и Шарль замахал платком.

— Мама, мне хотелось бы на одну минуту обладать всемогуществом бога,— сказала Евгения, когда платок Шарля исчез из глаз.

Чтобы не прерывать течения событий, происходивших в семье Гранде, необходимо забежать вперед и бросить взгляд на операции, какие производил добряк в Париже при посредстве де Грассена. Месяц спустя после отъезда банкира в руках Гранде были государственные облигации на сто тысяч ливров ренты, купленные по курсу в восемьдесят франков. Даже сведения, полученные из счетных книг после его смерти, так и не пролили ни малейшего света на уловки, подсказанные ему недоверчивостью, никто не узнал, к каким же способам он прибегнул, чтобы оплатить и получить эти облигации. Нотариус Крюшо полагал, что Нанета, сама того не зная, явилась верным орудием переправки денег. В эту пору служанка отлучалась на пять дней под предлогом какой-то уборки в Фруафоне, как будто добряк способен был что-нибудь запустить в своих владениях. Что касается дел торгового дома Гильома Гранде, то все предположения бочара осуществились.

Французский государственный банк, как знает всякий, располагает самыми точными сведениями о крупных состояниях в Париже и в департаментах. Имена де Грассена и Феликса Гранде из Сомюра

были там известны и пользовались уважением, воздаваемым тузам финансового мира, которые опираются на огромные незаложенные земельные владения. Поэтому прибытия сомюрского банкира, приехавшего, как говорили, для достойной ликвидации дел парижской фирмы Гранде, было достаточно, чтобы избавить тень покойного негодянта от позора протеста векселей. В присутствии кредиторов были сняты печати, и нотариус приступил к составлению по всем правилам описи наследства. Вскоре де Грассен собрал кредиторов, и они единогласно избрали ликвидатором сомюрского банкира совместно с Франсуа Келлером, главою богатой фирмы, одним из главных заинтересованных лиц; ликвидаторов наделили всеми полномочиями, необходимыми для того, чтобы спасти и честь семейства Гранде и интересы кредиторов.

Кредитоспособность сомюрского Гранде, надежда, вселенная им в сердца кредиторов при посредстве де Грассена, облегчила соглашение, — среди кредиторов не оказалось ни одного несговорчивого. Никто не думал списывать сумму долга по счету убытков, всякий говорил:

— Сомюрский Гранде заплатит!

Прошло полгода. Парижане оплатили находившиеся в обращении векселя умершего и хранили их в своих бумажниках: первый результат, которого хотел достигнуть бочар. Через девять месяцев после первого собрания ликвидаторы уплатили каждому кредитору сорок семь за сто. Эта сумма была выручена от проведенной с величайшей точностью продажи процентных бумаг, движимого и недвижимого имущества и вообще всего, принадлежавшего покойному Гильому Гранде. Ликвидация руководствовалась самой безукоризненной добросовестностью. Кредиторы с удовлетворением признали достойную удивления, бесспорную честь фамилии Гранде. Когда эти хвалы получили соответственное распространение, кредиторы потребовали остальные деньги. Им пришлось писать коллективное письмо Гранде.

— Дождитесь! — сказал бывший бочар, бросая письма в огонь. — Терпение, дружки!

В ответ на предложения, содержащиеся в письме, сомюрский Гранде под предлогом проверки счетов и уточнения положения дел по наследству потребовал, чтобы кредиторы сдали на хранение к одному нотариусу все имеющиеся у них векселя, дававшие право на наследство его брата, с приложением расписок по уже произведенным уплатам. Вопрос о сдаче на хранение повел к неисчислимым трудностям.

Вообще кредитор — разновидность душевнобольного: сегодня он готов пойти на любую сделку, завтра он непримирим, неумолим; пройдет немного времени — он опять становится кроток. Сегодня жена у него в хорошем расположении духа, у маленького

прорезались зубки, все в доме спокойно,— он не согласен уступить ни одного су. На другой день идет дождь, он не может выйти на улицу; он грустен, соглашается на все, что может привести к скорейшему окончанию дела; послезавтра он требует гарантий, а в конце месяца этот палач угрожает предъявить векселя к взысканию. Кредитор похож на того воробья, которому маленьким детям предлагают насыпать соли на хвост. Однако кредитор сам применяет этот образ к векселям, по которым ничего не может получить.

Гранде отлично изучил все колебания, которым подвержены настроения кредиторов; его расчеты целиком оправдались на кредиторах брата. Одни из них пришли в ярость и наотрез отказались сдать документы на хранение. «Славно! Славно!» — думал про себя Гранде, читая письма, которые писал ему по этому поводу де Грассен. Другие соглашались сдать векселя на хранение, но при непременно условии должного обеспечения прав заимодавцев, включая и право потребовать объявления должника несостоятельным. Снова завязалась переписка, в результате которой сомюрский Гранде согласился на все требуемые условия. На основании этой уступки покладистые кредиторы уломали кредиторов несговорчивых. Сдача на хранение совершилась, но не без пререканий.

— Этот хитрец, — говорили кредиторы де Грассену, — издевается над вами и над нами.

Через год и одиннадцать месяцев после смерти Гильома Гранде многие коммерсанты, увлеченные деловой сутолокой Парижа, забыли о векселях Гранде или вспоминали о них, только чтобы сказать себе:

— Я начинаю думать, что сорок семь процентов — это все, что я тут вытяну.

Бочар рассчитывал на могущество времени, которое он называл «добрым малым». В конце третьего года де Грассен написал Гранде, что добился от кредиторов согласия вернуть векселя при условии, что им уплатят еще десять процентов оставшегося долга фирмы Гранде в два миллиона четыреста тысяч франков. Гранде ответил, что нотариус и биржевой маклер, банкротства которых были причиной смерти его брата, — живы, и им бы следовало быть подороже; надо их расшевелить, чтобы вытянуть из них сколько-нибудь и уменьшить сумму долга.

К концу четвертого года долг был надлежащим образом сведен к миллиону двумстам тысячам франков. Возникли переговоры между ликвидаторами и кредиторами, между Гранде и ликвидаторами; они длились шесть месяцев. В конце концов усиленно понуждаемый кончить дело, сомюрский Гранде на девятом месяце этого года ответил ликвидаторам, что племянник его, Шарль Гранде, составивший себе состояние в Ост-Индии, заявил ему о намерении уплатить долги отца полностью; сам он не может взять на себя

убыточную для кредиторов частичную расплату, не посоветовавшись с племянником, и ждет от него ответа. В середине пятого года кредиторы еще не давали хода протесту векселей благодаря словечку *полностью*, бросаемому время от времени великодушным бочаром, а тот посмеивался в бороду и приговаривал: «Уж эти парижане!..» не иначе, как с хитрой улыбкой и с бранным словом. Но кредиторов ждала судьба, неслыханная в истории торговли. Когда события, описываемые в этой повести, заставят их снова появиться, они окажутся в том же положении, в каком без малого пять лет держал их Гранде. Как только курс облигаций государственной ренты поднялся до ста пятнадцати франков, папаша Гранде продал их и получил из Парижа около двух миллионов четырехсот тысяч франков золотом, которые присоединились в его бочонках к шестистам тысячам франков сложных процентов от облигаций.

Де Грассен оставался в Париже, и вот почему: прежде всего он был избран депутатом, а кроме того, ему опостылела скучная сомюрская жизнь, и он, отец семейства, влюбился в Флорину, одну из самых хорошеньких актрис театра герцогини Беррийской. Домашние дела банкира осложнились. Не стоит говорить о его поведении: в Сомюре оно было признано глубоко безнравственным. Его жене посчастливилось выхлопотать раздел имущества, она достаточно разумно вела дела сомюрской конторы, продолжавшей работать под ее именем, и заделала брешь, произведенную в ее состоянии безумствами де Грассена. Крюшотинцы так ловко ухудшили и без того ложное положение соломенной вдовы, что она очень неудачно выдала замуж дочь и должна была отказаться от планов женить сына на Евгении Гранде. Адольф уехал в Париж к отцу и, говорят, сделался там большим повесой. Крюшо торжествовали.

— Ваш муж с ума сошел,— говорил Гранде, давая г-же де Грассен ссуду под надежное обеспечение.— Мне вас очень жалко, вы — славная женщина.

— Ах, сударь,— отвечала бедная дама,— кто мог думать, что в тот день, когда Грассен отправился по вашим делам в Париж, он шел к своему разорению?

— Призываю небо в свидетели, сударыня, я до последней минуты делал все, чтобы не допустить этой поездки. Господин председатель хотел во что бы то ни стало заменить его, и если ваш муж так стремился в Париж, то мы теперь знаем — ради чего.

Таким образом, Гранде ничем не был обязан де Грассену.

Во всяком положении на долю женщины достается больше горя и страданий, чем на долю мужчины. У мужчины — сила и возможность проявлять свои способности: он действует, движется, работает, мыслит, он предвидит будущее и в нем находит утешение. Так поступал Шарль.

Женщина же остается на месте. Одна со своей скорбью, от

которой ничто ее не отвлекает, она спускается до дна разверстой пропасти, измеряет ее и нередко заполняет своими обетами и слезами. Так поступала Евгения. Она познала свою судьбу. Чувствовать, любить, страдать, жертвовать собой — вот что всегда будет содержанием жизни женщины. Евгении суждено было быть женщиной во всем, но не знать женских утешений. Согласно превосходному выражению Боссюэ \*, «если б собрать воедино мгновения счастья, как гвозди, рассеянные по стене, они не могли бы наполнить когда-нибудь горсть ее руки». Горести никогда не заставляют себя ждать, и для нее они наступили очень скоро. На другой день после отъезда Шарля дом Гранде принял свой обычный облик для всех, кроме Евгении, — для нее дом вдруг опустел. Без ведома отца она решила оставить комнату Шарля в том виде, в каком он покинул ее. Г-жа Гранде и Нанета охотно согласились участвовать в этом невинном заговоре...

— Кто знает, не вернется ли он раньше, чем мы думаем? — сказала Евгения.

— Ах, мне хотелось бы видеть его здесь! — ответила Нанета. — Привыкла я к нему! Такой был ласковый, чудесный барин, а уж какой красавчик, завитой, словно девушка!

Евгения посмотрела на Нанету.

— Пресвятая дева! У вас, барышня, глаза такие, что прямо на погибель души. Не смотрите так на людей!

С этого дня красота Евгении приняла новый характер. Важные мысли о любви, постепенно овладевшие ее душой, достоинство любимой женщины придавали ее чертам то сияние, какое живописцы изображают в виде нимба. До встречи с кузеном Евгению можно было сравнить с мадонной до непорочного зачатия; после его отъезда она походила на деву-мать: она познала любовь. Обе эти Марии, столь различные и так хорошо изображенные некоторыми испанскими художниками, представляют собою один из блистательнейших образов, которыми изобилует христианство. На другой день после отъезда Шарля, возвращаясь из церкви, куда она решила ходить ежедневно, Евгения купила в книжной лавке карту полушарий; эту карту она прибила подле зеркала, чтобы следовать за кузеном по его пути в Ост-Индию, мысленно уноситься утром и вечером на перевозивший его корабль, видеть его, обращаться к нему с тысячью вопросов, говорить ему:

— Хорошо ли тебе? Не болен ли ты? Думашь ли ты обо мне, видя ту звезду, красоту и значение которой ты открыл мне?

По утрам она в задумчивости сидела под ореховым деревом на источенной червями и поросшей серым мхом деревянной скамье, где они сказали друг другу столько хорошего, столько милых пустяков, где строили воздушные замки своей жизни вдвоем. Она размышляла о будущем, глядя на клочок неба, доступный ее взору

между стен, на часть ветхой стены, на крышу, под которой была комната Шарля. Словом, это была любовь одинокая, любовь неизменная, которая наполняет все мысли и становится сущностью или, как сказали бы наши отцы, тканью жизни. Когда так называемые друзья старика Гранде приходили вечером в гости, Евгения была весела, она притворялась, но по целым утрам говорила о Шарле с матерью и Нанетой.

Нанета поняла, что может соболезновать страданиям молодой хозяйки не в ущерб своему долгу перед старым хозяином, и говорила Евгении:

— Если бы у меня был милый, я бы за ним... в ад пошла. Я бы его... да что там!.. Я бы за него погубила себя... А вот нет ничего. Умру, не узнавши, какая такая жизнь бывает. Поверите ли, барышня, этот старый Корнуайе — все-таки не плохой человек — вертится около меня из-за моих доходов, прямо как те, что приходят сюда вынюхивать бариновы денежки и за вами ухаживают. Я-то насквозь его вижу, я все-таки разбираюсь тонко, даром что вымахала ростом с башню, и вот, барышня, это мне приятно, хотя какая уж тут любовь!..

Так прошло два месяца. Жизнь в четырех стенах, прежде столь однообразная, оживилась теперь захватывающей привлекательностью тайны, теснее связавшей этих женщин. Для них под сероватым потолком зала жил, ходил, двигался Шарль. Утром и вечером Евгения отпирала ларец и подолгу смотрела на портрет своей тетки. Как-то раз мать застала ее за этим созерцанием — она старалась найти черты Шарля в чертах портрета. Тогда-то г-жа Гранде и была посвящена в страшную тайну обмена шкатулки далекого путника на сокровище Евгении.

— Ты все ему отдала?! — сказала мать в ужасе. — Что же ты скажешь отцу в новый год, когда он захочет посмотреть на твое золото?

Глаза Евгении стали неподвижны, и обе женщины половину утра были в смертельном ужасе, в таком смятении, что пропустили раннюю обедню и пошли только к поздней. Через три дня кончился 1819 год, и вскоре должны были разыгаться страшные события: буржуазная трагедия без яда, без кинжала, без пролития крови, но для действующих лиц более жестокая, чем все драмы, происходившие в знаменитом роде Атридов \*.

— Что с нами будет? — сказала г-жа Гранде дочери, опуская вязание на колени.

Бедная мать переживала столько волнений в последние два месяца, что не кончила вязать шерстяную фуфайку, которая была ей так нужна зимой. Этот незначительный, по-видимому, случай домашней жизни имел для нее печальные последствия. Без фуфайки

она жестоко простудилась, когда вся покрылась испариной, испугавшись страшного гнева своего мужа.

— Мне пришло в голову, дитя мое бедное, что если бы ты доверила мне свою тайну, мы успели бы написать в Париж господину де Грассену. Он мог бы прислать нам золотые монеты, похожие на твои, и хотя отец хорошо знает их, может быть...

— Но где же мы достали бы столько денег?

— Я взяла бы из своих. К тому же господин де Грассен нам бы охотно...

— Уж поздно,— ответила Евгения глухим, изменившимся голосом, прерывая мать.— Ведь завтра утром нам надо идти к нему в комнату поздравлять с новым годом!

— Но почему бы, дочка, не поговорить с Крюшо?

— Нет, нет, это значило бы выдать меня им и поставить нас в зависимость от них. А затем — я решилась. Я поступила хорошо, я ни в чем не раскаиваюсь. Бог не оставит меня. Пусть свершится его святая воля. Ах, если бы вы прочли письмо Шарля, вы бы только о нем и думали, маменька.

На другой день утром, 1 января 1820 года, ужас, охвативший мать и дочь, подсказал им самое естественное оправдание, чтобы отказаться от торжественного появления в комнате Гранде. Зима 1819—1820 года была одна из суровейших зим. Крыши были завалены снегом. Г-жа Гранде сказала мужу, как только услышала, что он шевелится в своей комнате:

— Гранде, прикажи Нанете затопить у меня печку, — так холодно, что я замерзаю под одеялом. Я уже в таких летах, когда надо побережь меня. Кроме того,— продолжала она после небольшой остановки,— Евгения придет сюда одеться. Бедная девочка может заболеть, одеваясь у себя в такой холод. Потом мы придем поздравить тебя с новым годом у камина в зале.

— Та-та-та-та-та, что за разговоры! Как ты начинаешь новый год, госпожа Гранде? Ты никогда столько не говорила. Однако ты не хлебнула лишнего, я полагаю.

Прошла минута молчания.

— Ладно,— продолжал добряк: видимо, ему самому было по душе предложение жены,— пусть будет по-вашему, госпожа Гранде. Ты ведь, правда, хорошая женщина, и я не хочу, чтобы с тобой случилось несчастье в твои годы, хотя вообще все Бертельеры кремневые. Что, неправда?— крикнул он после паузы. — А мы все-таки наследство после них получили, бог с ними.

И он закашлялся.

— Сегодня вы веселы, сударь,— степенно промолвила бедная женщина.

— Я всегда весел...

прибавил он, входя в комнату жены совсем одетый. — Да, скажу как честный человек, холодище-то изрядный. Мы славно позавтракаем, жена. Господин де Грассен прислал мне паштет из гусиной печени с трюфелями! Сейчас схожу за ним на остановку дилижанса. Должно быть, с двойным наполеондором для Евгении в придачу, — шепнул бочар на ухо жене. — У меня нет больше золота, жена. Осталось еще несколько старых червонцев, — тебе-то я могу сказать, — да пришлось пустить их в оборот.

И ради новогоднего торжества он поцеловал жену в лоб.

— Евгения! — добродушно крикнула мать, когда Гранде ушел. — Не знаю, с какой ноги встал отец, но сегодня он прямо добряк. Ничего, как-нибудь выпутаемся.

— Что такое с хозяином? — сказала Нанета, входя к барыне затопить печку. — Сперва он сказал мне: «Здравствуй, с новым годом, дуреха! Поди затопи у жены, ей холодно». Я прямо одурела, когда он протянул руку и дал мне эю — шестифранковик, почти что не стертый! Вот, барыня, поглядите. О, он славный человек! Как-никак, достойный человек. Есть которые — что старей, то черствей, а он становится сладким, как ваша черносмородина, и добрее. Человек, каких мало, предобрый человек...

Разгадку такой веселости Гранде была полная удача его спекуляции. Де Грассен, вычтя сумму, которую бочар был ему должен за учет голландских векселей на полтора ста тысяч франков, и к суду, данную им Гранде для покупки государственной ренты на сто тысяч ливров, послал бочару с дилижансом тридцать тысяч франков монетами в одно эю, оставшихся от следуемых старику процентов за полгода, и извещал его о повышении курса государственной ренты. Курс ее был тогда восемьдесят девять франков, а в конце января известнейшие капиталисты покупали облигации уже по девяносто два. Гранде в два месяца нажил двенадцать процентов на свой капитал, погасил свой долг де Грассену и отныне должен был получать пятьдесят тысяч франков каждые полгода, без платежа налогов, без всяких протерей и убытков. Он раскусил, наконец, выгоду государственной ренты — помещение капитала, вызывающее у провинциалов неодолимое отвращение, — и видел себя меньше чем через пять лет обладателем капитала в шесть миллионов, приумноженного без больших хлопот, — капитала, который в соединении со стоимостью его имений, должен был образовать колоссальное состояние. Шесть франков, подаренные им Нанете, были, возможно, платою за огромную услугу, какую служанка, сама того не ведая, оказала хозяину.

— О! О! Куда это идет папаша Гранде спозаранку, да еще спешит, словно на пожар? — говорили купцы, отпирая лавки.

Потом, когда увидели, что он возвращается с набережной в сопровождении артельщика почтово-пассажирской конторы, который вез на тачке туго набитые мешки, посыпались восклицания:

— Ручей к речке бежит, а наш добряк к денежкам, — говорил один.

— Они к нему идут из Парижа, из Фруафона, из Голландии, — прибавлял другой.

— В конце концов он купит весь Сомюр! — восклицал третий.

— Ему и холод нипочем, он всегда делом занят, — уязвила мужа какая-то женщина.

— Эй, господин Гранде, может, вам эти мешки некуда девать, — балагурил торговец сукном, его ближайший сосед, — так я могу вас избавить!

— Чего там! Одни медяки, — отвечал винодел.

— Серебряные, — буркнул артельщик.

— Если хочешь, чтобы я тебя поблагодарил, так держи язык за зубами, — сказал добряк артельщику, отворяя дверь.

«А, старая лисица, а я-то считал его за глухого, — подумал артельщик. — Видно, в холод он слышит».

— Вот тебе двадцать су на новый год и нишкни. Проваливай! — сказал ему Гранде. — Нанета отвезет тебе тачку... Нанета, а мои вертушки пошли к обедне?

— Да, сударь.

— Ну, живо! За работу! — крикнул он, взваливая на нее мешки.

Мигом деньги были перенесены в его комнату, и Гранде заперся там.

— Когда завтрак будет готов, постучишь мне в стену. Отвези тачку в контору.

Завтракать сели только в десять.

— Авось отец не вздумает посмотреть твоё золото, — сказала г-жа Гранде дочери, возвращаясь домой после обедни. — В крайнем случае сделай вид, что ты совсем замерзла. А ко дню твоего рождения мы успеем наполнить монетами твой кошелек...

Гранде спустился по лестнице, раздумывая о том, как быстрее превратить свои парижские эю в чистое золото, и о том, как удалась ему спекуляция государственною рентой. Он решил и впредь вкладывать свои доходы в государственную ренту, пока курс ее не дойдет до ста франков. Размышления, губительные для Евгении. Как только он вошел, обе женщины поздравили его с новым годом: дочь — обняв за шею и ласкаясь к нему, г-жа Гранде — степенно и с достоинством.

— А, дитя мое, — сказал он, целуя Евгению в щеку, — видишь, я для тебя работаю! Твоего счастья хочу. Чтобы быть счастливым, нужны деньги. Без денег далеко не уйдешь. Вот тебе новенький двойной наполеондор, я заказал привезти его из Парижа. По совести

скажу, в доме ни крупницы золота. Только у тебя золото. Покажи-ка мне свое золото, дочка.

— Ой, до чего холодно! Давайте завтракать,— ответила ему Евгения.

— Значит, после завтрака, а? Это поможет пищеварению. Толстяк де Грассен все-таки прислал нам кое-что,— молодец де Грассен, и им доволен! Он отлично устраивает дела покойника Гранде. Ууу!..— произнес он с полным ртом после паузы.— Недурно! Кушай, кушай, женушка! Этим два дня сыт будешь.

— Мне не хочется есть. Мое здоровье никуда не годится, ты хорошо знаешь.

— Ну вот еще! Можешь нагружаться без опаски, не лопнешь; ты из Бертельеров, женщина крепкая. Ты чуточку пожелтела, да я люблю желтое.

Приговоренный ждет позорной публичной казни, может быть, с меньшим ужасом, чем г-жа Гранде и ее дочь ждали событий, которыми должен был закончиться этот семейный завтрак. Чем веселее болтал и ел старый винодел, тем сильнее сжимались сердца обсих женщин. В эту тяжкую минуту у Евгении была по крайней мере опора: она черпала силу в своей любви.

«Ради него, ради него,— говорила она себе,— я готова тысячу раз умереть!»

При этой мысли она бросала на мать взгляды, горевшие мужеством.

— Убери все это,— сказал Гранде Нанете, когда около одиннадцати кончили завтракать,— а стола не трогай. Нам удобно будет смотреть тут, у камелька, твоё маленькое сокровище,— сказал он, глядя на Евгению.— Нет, разве оно маленькое? Честное слово! У тебя пять тысяч девятьсот пятьдесят девять франков золотом, да нынче утром я дал тебе сорок: выходит — без одного шесть тысяч франков. Ладно, подарю тебе, сам подарю франк этот — для круглого счета, потому что, видишь ли, дочка... А ты что, Нанета, развесила уши? Проваливай и принимайся за свое дело,— сказал добряк.

Нанета исчезла.

— Послушай, Евгения! Ты должна отдать мне свое золото. Ведь ты не откажешь отцу, доченька, а?

Обе женщины молчали.

— У меня больше нет золота. Было и не стало. Я верну тебе шесть тысяч франков в ливрах, и ты поместишь их, как я тебе скажу. Не забудь о свадебном подарке. Когда я буду выдавать тебя замуж, а это не за горами, я найду тебе жениха, который сможет преподнести тебе такой прекрасный свадебный подарок, о каком никогда и не слыхивали в провинции. Послушай же, дочка! Представляется замечательный случай: ты можешь вложить свои шесть тысяч франков в государственную ренту и каждые полгода

будешь получать около двухсот франков процентов — без всяких хлопот и без убытков, ни налогов, ни починок, ни града, ни мороза, ни разливов,— словом, ничего, что бьет по доходам. Тебе, может, не хочется расстаться со своим золотом, дочка? Все-таки принеси мне его. Я опять наскребу для тебя золотых монет — голландских, португальских, гемуэзских, рупий Великого Могола, а с теми, что я буду тебе дарить ко дню рождения, ты в три года накопишь половину своего маленького золотого сокровища. Что скажешь, дочка? Ну, подыми носик. Ну, сходи за ним, принеси милую свою кубышку. Ты должна бы расцеловать меня за то, что я рассказываю тебе секреты, тайны жизни и смерти этих червонцев. А верно, червонцы живут и копошатся, как люди: уходят, приходят, потеют, множатся.

Евгения встала, но, сделав несколько шагов к двери, круто повернулась, взглянула отцу в лицо и сказала:

— У меня нет больше *моего* золота.

— У тебя нет больше твоего золота! — вскричал Гранде, подскочив, как лошадь, услышавшая пушечный выстрел в десяти шагах.

— Нет у меня, нет больше золота!

— Ты шутишь, Евгения?

— Нет.

— Клянусь садовым ножом моего отца!

Когда бочар клялся так, потолок дрожал.

— Пресвятой боже! Барыня вся побелела! — закричала Нанета.

— Гранде, твой гнев убьет меня, — промолвила бедная женщина.

— Та-та-та-та-та! В вашей семье все живучие, никакая смерть вас не берет!.. Евгения, куда вы девали свои монеты? — крикнул он, кидаясь к дочери.

— Сударь, — сказала Евгения, стоя на коленях возле г-жи Гранде, — матушке очень нехорошо... видите... Не убивайте ее.

Гранде испугала бледность, разлившаяся по лицу жены, еще недавно желтому.

— Нанета, помоги мне лечь в постель, — сказала г-жа Гранде слабым голосом. — Я умираю...

Нанета сейчас же взяла свою хозяйку под руку, то же сделала Евгения, и им с величайшим трудом удалось подняться с ней до ее комнаты, — она падала без чувств на каждой ступеньке. Гранде остался один. Все же через несколько минут он поднялся на семь или восемь ступенек и крикнул:

— Евгения, когда мать ляжет в постель, вы спуститесь вниз!

— Хорошо, отец.

Успокоив мать, она не замедлила прийти.

— Дочь моя, — сказал ей Гранде, — вы скажете мне, где ваше сокровище?

— Отец, если вы делаете мне подарки, которыми я не могу

распоряжаться, как хочу, то возьмите их обратно, — холодно ответила Евгения, взяв с камина наполеондор и подавая отцу.

Гранде быстро схватил наполеондор и сунул его в карман жилета.

— Ну, конечно, я не дам тебе больше ничего! Ни вот столечко! — сказал он, щелкнув ногтем большого пальца о зубы. — Так вы, значит, презираете своего отца? Не доверяете ему? Не знаете, что такое отец? Если он не все для вас, так, значит, он — ничто? Где ваше золото?

— Отец, я люблю вас и уважаю, несмотря на ваш гнев, но осмелюсь вам заметить: мне двадцать три года. Вы достаточно часто гонорили, что я совершеннолетняя, и я это знаю. Я сделала со своими деньгами то, что хотела, и будьте покойны — они помещены хорошо...

— Где?

— Это нерушимая тайна, — сказала она. — Разве у вас нет своих тайн?

— Я глава семьи. У меня свои дела!

— А у меня свои.

— Должно быть, дурные дела, если вы не можете сказать о них отцу, мадемуазель Гранде.

— Нет, прекрасные дела. Но я не могу сказать о них вам.

— По крайней мере скажите, когда вы отдали ваше золото?

Евгения отрицательно покачала головой.

— Было оно еще у вас в день вашего рождения, а?

Евгения, которую любовь сделала такой же хитрой, как отца — скупость, опять покачал головой.

— Где это видано! Такое упрямство и такое воровство! — сказал Гранде, постепенно возвышая голос, который все громче разносился по дому. — Как! Здесь, в моем собственном доме, у меня кто-то взял твое золото! Единственное золото в моем доме! И я не буду знать, кто взял? Золото — вещь дорогая. Самые честные девушки могут совершить ошибку и отдать не знаю что, — это бывает у знатных господ и даже у буржуазии, — но отдать золото... Вы ведь отдали его кому-то?

Евгения осталась безучастной.

— Видана ли такая дочь? Отец я вам или нет? Если вы поместили золото в какое-нибудь предприятие, то у вас есть расписка...

— Разве я не вольна была делать с ним то, что мне казалось хорошим? Разве оно было не мое?

— Но ты — дитя.

— Я совершеннолетняя.

Сбитый с толку логикой дочери, Гранде побледнел, затопал ногами, стал ругаться; потом, обретя, наконец, дар слова, закричал:

— Дочь — змея проклятая! А! Негодное семя, ты отлично знаешь, что я люблю тебя, и употребляешь это во зло. Она без ножа режет

своего отца! Черт возьми! Ты бросила состояние к ногам этого голяка в сафьяновых сапожках! Клянусь отцовским садовым ножом! Я не могу лишить тебя наследства, клянусь бочкой! Но я тебя проклинаю... тебя, и твоего кузена, и твоих детей! Не видать тебе никакого добра от всего этого, понимаешь? Если ты Шарлю отдала... Нет, этого быть не может! Как! Этот мерзкий вертопрах да меня бы ограбил?

Он смотрел на дочь, остававшуюся немой и холодной.

— Она не пошевелится! Она бровью не поведет! Она больше Гранде, чем я сам. Ты не отдала по крайней мере своего золота даром? Ну, говори!

Евгения бросила на отца иронический взгляд, оскорбивший его.

— Евгения, вы у меня в доме, у своего отца. Чтобы оставаться здесь, вы обязаны подчиняться моим приказаниям. Священники велят вам повиноваться мне.

Евгения опустила голову.

— Вы оскорбляете меня в том, что мне всего дороже, — продолжал он. — Не желаю вас видеть, пока вы не покоритесь. Ступайте в свою комнату! Вы останетесь там, пока я не позволю вам выйти. Нанета будет вам приносить хлеб и воду. Вы слышали? Идите.

Евгения залилась слезами и убежала к матери.

А Гранде вышел в сад и долго кружил по снегу, не замечая холода, потом заподозрил, что дочь, должно быть, у матери, и, радуясь, что сейчас уличит ее в непослушании, он проворно, как кошка, взбежал по лестнице и появился в комнате г-жи Гранде как раз в ту минуту, когда она гладила волосы Евгении, спрятавшей лицо на ее груди.

— Утешься, дитя мое бедное, отец утихомирится.

— Нет, больше у нее отца! — сказал бочар. — И это мы с вами, госпожа Гранде, произвели на свет такую непослушную дочь, как она? Нечего сказать, отличное воспитание дают нынче, особенно религиозное! Почему вы не в своей комнате? Отправляйтесь в тюрьму, в тюрьму, сударыня!

— Вы хотите лишить меня дочери? — сказала г-жа Гранде, обращая к нему лихорадочно покрасневшее лицо.

— Если вы хотите оставить ее при себе, берите ее и убирайтесь обе из дома! Разрази вас гром! Где золото? Что случилось с золотом?

Евгения встала, гордо взглянула на отца и вернулась в свою комнату, а Гранде запер ее на ключ.

— Нанета! — крикнул он. — Потуши камин в зале.

И он уселся в кресле у камина со словами:

— Она, конечно, отдала золото этому подлому соблазнителю Шарлю, а ему только наши денежки и были нужны.

В опасности, грозившей Евгении, и в своей любви к дочери

г-жа Гранде нашла достаточно сил, чтобы остаться холодной с виду, безмолвной и глухой.

— Я ничего обо всем этом не знала,— ответила она, повернув голову к стенке, чтобы не видеть сверкавших взглядов мужа.— Я так страдаю от вашей жестокости, что, если предчувствия меня не обманывают, мне отсюда одна дорога — на кладбище. Вы бы должны сейчас меня пощадить, сударь, ведь я никогда не причиняла вам горя,— так по крайней мере я думаю. Ваша дочь любит вас. Я убеждена, что она невинна, как новорожденный младенец, и вы не наказывайте ее, отмените свое решение. В ее комнате такой холод, что по вашей вине она может тяжело заболеть.

— Я не хочу ее видеть, не хочу говорить с ней. Пусть сидит в своей комнате на хлебе и воде до тех пор, пока не выполнит требований отца. Какого черта! Глава семьи должен знать, куда уходит золото из его дома. Ей принадлежали рупии, может быть единственные во Франции, затем генуэзские и голландские дукаты...

— Сударь, Евгения — наше единственное дитя, и если бы даже она бросила их в воду...

— В воду?! — закричал добряк.— В воду?! Да вы с ума сошли, госпожа Гранде! У меня что сказано, то крепко, вы знаете. Если хотите мира в доме, вызовите дочь на исповедь, вытяните у нее признание: женщины лучше столкуются, чем наш брат. Что бы она ни натворила, не съем же я ее. Бойтся она меня, что ли? Кабы она даже озолотила своего кузена с головы до ног, так он в море, не бежать же за ним.

— Ну что ж, сударь...

Возбужденная нервной лихорадкой, охватившей ее, или несчастьем Евгении, усилившим нежную любовь матери, способность понимания и пронизательность, г-жа Гранде заметила грозное движение шишки на носу ее супруга и тотчас изменила свой ствет, не меняя тона:

— Ну что ж, сударь, разве у меня больше власти над нею, чем у вас? Она мне ничего не сказала. Вся в вас.

— Дьявольщина! Как нынче ловко привешен у вас язык! Та-та-та-та! Вы, кажется, издеваетесь надо мной. Пожалуй, вы с ней заодно.

Он пристально посмотрел на жену.

— Если вы, господин Гранде, действительно хотите убить меня, то продолжайте в том же духе. Я уже сказала вам, сударь, и пусть мне это будет стоить жизни, готова повторить снова: вы не правы перед своей дочерью, она рассудительнее вас. Деньги принадлежали ей, ни на что другое, кроме хорошего, она не могла их истратить, а только бог вправе знать наши добрые дела. Сударь, умоляю вас, смилюйтесь над Евгенией! Вы тем ослабите удар, нанесенный мне нашим гневом, и, может быть, спасете мне жизнь. Верните мне дочь, сударь, верните!

— Я удираю,— сказал Гранде.— Житья в доме не стало: и матушка и дочка рассуждают, разглагольствуют, словно... Тьфу! Приятный новогодний подарок вы мне сделали. Евгения! — крикнул он.— Да, да, плачьте. Вас совесть замучает за то, что вы делаете, слышите? Какой толк, что вы причащаетесь чуть не два раза в месяц, если вы украдкой отдаёте золото своего отца бездельнику который растерзает ваше сердце, когда вам нечего больше будет подарить ему? Увидите, чего стоит ваш Шарль со своими сафьяновыми сапожками и с видом недотроги. У него нет ни сердца, ни души, раз он посмел взять сбережения бедной девушки без согласия ее родителей.

Когда дверь на улицу захлопнулась, Евгения вышла из своей комнаты.

— Как отважно вы вступились за меня! — сказала она матери.

— Видишь, дитя мое, к чему приводят запретные дела! Ты заставила меня солгать.

— Я умолю бога наказать меня одну!

— Неужто правда,— сказала, входя, перепуганная Нанета,— что барышня посажена на хлеб и воду по конец дней своих?

— Что за беда, Нанета! — спокойно ответила Евгения.

— Ну, тогда уж и мне не лакомиться, если хозяйская дочь ест сухой хлеб!.. Ну уж нет!

— Ни слова обо всем этом, Нанета! — сказал Евгения.

— Буду молчать, как мертвая, но уж этого не допущу!

Гранде обедал один в первый раз за двадцать четыре года.

— Вот вы и овдовели, сударь,— сказала ему Нанета.— Мало приятного быть вдовцом, когда две женщины в доме.

— Я с тобой не разговариваю, кажется. Заткни рот, или я тебя выгоню! Что это у тебя, я слышу, кипит в кастрюле на плите?

— Сало перетапливаю..

— Сегодня придут гости, затопи камин.

Господа Крюшо и г-жа де Грассен с сыном явились в восемь часов и были удивлены, не видя ни г-жи Гранде, ни Евгении.

— Жене нездоровится, Евгения подле нее,— ответил старый винодел, и лицо его не выдало никакого волнения.

После целого часа пустых разговоров г-жа де Грассен поднялась навестить г-жу Гранде, и когда она вернулась в зал, все обратились к ней:

— Как чувствует себя госпожа Гранде?

— Да нехорошо, совсем нехорошо,— сказала она.— Состояние ее здоровья, по-моему, в самом деле внушает тревогу. В ее годы необходимы все предосторожности, папаша Гранде.

— Посмотрим, посмотрим...— рассеянно ответил винодел.

Все простились с ним. Когда Крюшо вышли на улицу, г-жа де Грассен сказала им:

— У Гранде что-то произошло. Мать очень плоха, хоть сама и не подозревает этого. У дочери красные глаза, как будто она долго плакала. Не хотят ли ее выдать замуж против воли?

Когда винодел лег спать, Нанета, неслышно ступая в мягких туфлях, пришла к Евгении и открыла перед ней паштет, запеченный в кастрюле.

— Возьмите, барышня, — сказала добрая девушка. — Корнуайе дал мне зайца. Вы так мало кушаете, что этого паштета хватит вам на неделю, а в таком холоде он не испортится. По крайней мере вы не будете сидеть на сухом хлебе. Ведь это вредно для здоровья.

— Бедная Нанета! — сказала Евгения, пожимая ей руку.

— Паштет у меня вышел вкусный, нежный. А он ничего и не стоил. Я и шпику и лаврового листа купила, — все на свои шесть франков, им-то я хозяйка.

Затем служанка убежала: ей послышалось, что идет Гранде.

В течение нескольких месяцев винодел постоянно заходил навестить жену в различные часы дня, но никогда не произносил имени дочери, не видел ее, не делал о ней ни малейшего намека. Г-жа Гранде не выходила из своей комнаты, и положение ее день ото дня ухудшалось. Ничто не могло сломить старого бочара. Он оставался непоколебимым, жестким и холодным, словно гранитный столб. Он по-прежнему приходил и уходил, как было заведено; но теперь уже не заикался, меньше разговаривал и в делах стал черствее, чем когда-нибудь. Нередко прорывались у него ошибки в подсчетах.

— Что-то произошло у Гранде, — говорили крышотинцы и грассенисты.

— Что такое случилось в доме Гранде? — неизменно спрашивали друг друга на всех вечерах в Сомюре.

Евгения ходила в церковь под надзором Нанеты. Если при выходе г-жа де Грассен обращалась к ней с несколькими словами, она отвечала уклончиво, не удовлетворяя ее любопытства. Тем не менее к концу второго месяца уже невозможно было скрыть ни от троих Крюшо, ни от г-жи Грассен тайну заточения Евгении; вечное ее отсутствие не могло быть объяснено никакими вымышленными причинами. Затем, хотя и невозможно было выяснить, кто выдал тайну, весь город узнал, что с нового года мадмуазель Гранде заперта по приказанию отца в нетопленной комнате на хлебе и воде, что Нанета готовит лакомые блюда и носит ей по ночам; узнали даже, что девушка может видеть мать и ухаживать за нею только в то время, когда отца нет дома. Поведение Гранде подверглось строгому осуждению. Весь город поставил его, так сказать, вне закона, вспомнил его вероломство, его жестокость и исключил его из общества. Когда он проходил, все показывали на него и пере-

шептывались. Когда его дочь спускалась по извилистой улице, идя в сопровождении Нанеты к обедне или к вечерне, все обыватели подбегали к окнам, с любопытством разглядывая осанку богатой наследницы и ее лицо, на котором написаны были задумчивость и ангельская кротость.

Зачтоже, немилость отца ничего не значили для нее. Разве не видела она карту полушарий, скамейку, сад, часть стены? Не ощущала на губах своих мед, оставленный поцелуями любви? Некоторое время Евгения ничего не знала о разговорах в городе, предметом которых она была, так же как не ведал о них ее отец! Ей, верующей и чистой перед богом, спокойная совесть и любовь помогали терпеливо переносить гнев и месть отца. Но одно глубокое горе заставляло умолкать все остальные горести: ее мать, кроткое и нежное создание, заблиставшее на пороге к могиле особой красотой—отблеском души, — ее мать ослабевала с каждым днем. Часто Евгения упрекала себя в том, что была невольной причиной жестокой медленной болезни, убивавшей мать. Эти угрызения совести, хотя мать и успокаивала их, еще крепче связывали ее с любимым. Каждое утро, как только отец уходил, она являлась к изголовью матери, и туда Нанета приносила ей завтрак. Но бедная Евгения, страдавшая страданиями своей матери, безмолвно указывала Нанете на ее лицо, плакала и не смела упоминать о кузене. Г-же Гранде приходилось первой говорить ей:

— Где-то он? Почему он не пишет?

Ни мать, ни дочь понятия не имели о расстояниях.

— Будем о нем думать, маменька, — отвечала Евгения, — но не будем говорить. Вы больны, вы — прежде всего.

*Все — это был он.*

— Дети мои, — говорила г-жа Гранде, — мне нисколько не жаль жизни. Господь мне помог, дав мне радостно встретить конец моих несчастий.

Слова этой женщины постоянно были истинно христианскими и святыми. Уже несколько месяцев, с начала года, когда муж завтракал возле нее, прогуливаясь по комнате, она говорила ему все те же речи, повторяя их с ангельской кротостью и вместе с тем с твердостью, — близкая смерть придавала этой робкой женщине мужество, недостававшее ей при жизни.

— Сударь, благодарю вас за внимание и заботы о моем здоровье, — отвечала она, когда Гранде задавал ей пошлейший из вопросов, — но если вы хотите усладить горечь моих последних минут и облегчить мои муки, то верните дочери благорасположение, покажите себя христианином, супругом и отцом.

При этих словах Гранде садился у постели жены, молча выслушивал ее уговоры и не отвечал ничего, — он поступал как пшеход, спокойно пережидающий под воротами, когда пройдет захвативший

его ливень. Если жена обращалась к нему с самыми трогательными, самыми нежными, самыми благоговейными мольбами, он говорил:

— Ты немного бледненькая сегодня, бедняжка!

Казалось, полнейшее забвение дочери запечатлелось на его лбу, точно высеченном из камня, на его сжатых губах. Его не трогали даже слезы, которые текли по бледным щекам жены, слышавшей от него лишь неопределенные и почти одинаковые ответы на ее мольбы.

— Да простит вас господь, сударь, как я вас прощаю, — говорила она. — Когда-нибудь и вы будете нуждаться в прощении.

Со времени болезни жены он не решался пускать в ход свое страшное «та-та-та-та-та!», но его деспотизм не был обезоружен этим ангелом кротости, внешняя некрасивость которого сглаживалась с каждым днем, ибо лицо ее отражало высокие душевные свойства. Вся она была — душа. Как будто молитвы очистили, смягчили грубые черты ее лица и озарили его внутренним светом. Кто не наблюдал такого преобразования на лицах праведников, когда красота души в конце концов торжествует над самыми топорными чертами, сообщая им какую-то особую одухотворенность, исходящую от благородства и чистоты возвышенных мыслей? Зрелище такого преобразования, совершенного страданиями, пожиранными обломки человеческого существа в этой умирающей женщине, действовало даже на старого бочара, хотя железный характер его не изменился. Речь его утратила свою презрительность, зато все больше он прибегал к невозмутимому молчанию, спасавшему его главенство в семье. Общественное мнение громко осуждало папашу Гранде; стоило его верной Нанете появиться на рынке, как ей начинали жужжать в уши насмешки, жалобы на ее хозяина; однако служанка защищала его, блюдя честь дома.

— Ну что ж, — говорила она хулителям, — разве мы все не делаемся под старость жестче? Почему вы не допускаете, чтобы наш старик стал немножко черствее? Не треплите языком! Барышня живет, как королева. Она одинока? Ну что ж, ей так нравится. Да помимо того у моих господ есть на то свои важные резоны.

Наконец однажды вечером, в исходе весны, г-жа Гранде, терзаемая горем больше, чем болезнью, потерпев, несмотря на все мольбы, неудачу в попытках примирить Евгению с отцом, доверила свои тайные муки Крюшо.

— Посадить двадцатитрехлетнюю девушку на хлеб и на воду, — воскликнул председатель де Бонфон, — и без всякого основания! Да это составляет противозаконное злоупотребление отеческой властью. Мадмуазель Евгения может протестовать, и поскольку...

— Ну, племянник, бросьте болтать, вы не в суде, — сказал нотариус. — Будьте покойны, сударыня, я завтра же положу конец этому заточению.

Слыша, что говорят о ней, Евгения вышла из своей комнаты, — Господа, — с гордой осанкой сказала она, подойдя к ним. — Отец — хозяин у себя. Пока я живу у него в доме, я обязана ему повиноваться. Его отношение ко мне не должно быть предметом одобрения или порицания посторонних людей: он отвечает только перед богом. Я взываю к вашей дружбе и обращаюсь к вам с просьбой о полном молчании в этом деле. Порицать моего отца — значило бы подрывать наше уважение к нему. Я очень благодарна вам, господа, за внимание ко мне, но вы сбязали бы меня еще более, если бы захотели положить конец оскорбительным слухам, которые носятся по городу и случайно дошли до меня.

— Она права, — сказала г-жа Гранде.

— Мадмуазель, лучшее средство пресечь всякие пересуды — это добиться возвращения вам свободы, — почтительно ответил старик нотариус, пораженный красотой, которую одиночество, грусть и любовь придали Евгении.

— Ну что же, дочка, предоставь господину Крюшо все уладить, раз он ручается за успех. Он изучил твоего отца и знает, как подойти к нему. Если ты хочешь видеть меня счастливой те немногие дни, какие мне остается жить, надо тебе помириться с отцом во что бы то ни стало.

На другой день, по привычке, усвоенной с первого дня заточения дочери, Гранде вышел прогуляться по садику. Он выбирал для этой прогулки тот час, когда Евгения кончала одеваться. Старик подходил к большому ореховому дереву, прячась за ствол, по несколько минут смотрел, как дочь расчесывает и укладывает длинные косы, и, несомненно, колебался между тем суровыми мыслями, какие внушало ему упорство характера, и желанием обнять свое дитя. Часто он засиживался на деревянной полусгнившей скамейке, где Шарль и Евгения клялись друг другу в вечной любви, а в это время дочь, тоже украдкой, смотрела на отца или следила за ним в зеркале. Если он вставал и снова начинал ходить по дорожке, она предупредительно садилась у окна и принималась разглядывать стену, где свешивались красивейшие цветы и выступали из расщелин стебли «венерина волоса», повилика и очиток — растение с желтыми или белыми цветами, в изобилии растущее по виноградникам Сомюра и Тура.

В это прекрасное июньское утро пришел нотариус Крюшо и застал старика винодела в саду: он сидел на скамейке, прислонясь спиной к стене каменной ограды, и поглощен был созерцанием дочери.

— Чем могу служить, господин Крюшо? — сказал он, увидя нотариуса.

— Я пришел поговорить с вами по делу.

— А! Не принесли ли вы мне немного золота в обмен на экую?

— Нет, речь пойдет не о деньгах, а о дочери вашей, Евгении. Все говорят о ней и о вас.

— Чего они суются? И угольщик в своем доме хозяин.

— Согласен, угольщик властен также убить себя или, что еще хуже, выбросить собственные деньги за окошко.

— Как так?

— Но ведь ваша жена очень больна, друг мой. Вам бы даже следовало посоветоваться с господином Бержереном: она в смертельной опасности. А если, не дай бог, она умрет из-за того, что не были приняты все меры, вряд ли вы были бы спокойны, я думаю.

— Та-та-та-та! Откуда вы знаете, что с моей женой? Докторов только пусти на порог, они повадятся ходить по шести раз в день.

— Конечно, Гранде, поступайте, как найдете нужным. Мы старые друзья; во всем Сомюре нет человека, который ближе меня принимал бы к сердцу все, что вас касается, и я считал своим долгом сказать вам это. Теперь будь что будет, — вы не мальчик и знаете, что делаете. Впрочем, я не за тем к вам пришел. Речь, может быть, пойдет кое о чем посерьезнее. В конце концов не хотите же вы убить свою жену, — она слишком полезна для вас. Так подумайте, в каком положении вы бы оказались перед дочерью, если бы госпожа Гранде умерла. Вам пришлось бы отчитываться перед Евгенией, потому что имущество у вас в общем владении с женой. Ваша дочь будет вправе потребовать раздела состояния, продажи Фруафона. Словом, она наследует после матери, а вы наследовать не можете.

Эти слова были для Гранде ударом молнии: в юриспруденции он был не так силен, как в коммерции. Ему никогда и в голову не приходила продажа с торгов.

— Итак, настоятельно советую вам помягче обращаться с дочерью, — сказал Крюшо в заключение.

— А вы знаете, Крюшо, что она сделала?

— Что? — сказал нотариус, с любопытством приготавливаясь выслушать признание Гранде и узнать причину ссоры.

— Она отдала свое золото.

— А золото было ее? — спросил нотариус.

— Все они мне это твердят! — сказал добряк, трагическим движением опуская руки.

— Что же вы из-за пустяков, — продолжал Крюшо, — хотите устроить помеху соглашению, какое вы ей предложите в случае смерти матери?

— Вот как! По-вашему, шесть тысяч франков золотом — пустяки?

— Эх, старый друг, а знаете ли вы, во что обойдутся опись и раздел наследства вашей жены, если Евгения того потребует?

— Во сколько?

— В двести или триста, может быть в четыреста тысяч франков! Как же без торгов и продажи определить действительную стоимость? А между тем взаимное соглашение...

— Клянусь отцовским садовым ножом! — вскричал винодел и, бледнея, опустился на скамью. — Мы еще посмотрим, Крюшо.

После минутного молчания или агонии старик посмотрел на нотариуса и сказал:

— Жизнь — суровая штука! Огорчений в ней не обрешься. Крюшо, — продолжал он торжественно, — вы не захотите меня обманывать, — дайте честное слово, что то, о чем вы тут поете мне, основано на законе. Покажите мне свод законов, я хочу видеть свод законов!

— Бедный друг мой, — ответил нотариус, — неужели я не знаю своего дела?

— Значит, это правда? Родная дочь разорит, предаст, убьет, растерзает меня!

— Она — наследница матери.

— К чему же тогда дети? Ах, жена, жена! Я люблю ее! К счастью, она живучая, вся в Бертельеров.

— Она и месяца не проживет.

Бочар хлопнул себя по лбу, зашагал, вернулся назад и, с ужасом глядя на Крюшо, сказал:

— Что же делать?

— Евгения может просто-напросто отказаться от состояния матери. Вы же не хотите лишиться ее наследства, не правда ли? Но чтобы добиться такой уступки, не будьте к ней жестоки. То, что я говорю вам, дружище, против моих интересов. Ведь нотариус чем кормится? Ликвидация, описи, продажи, разделы имущества...

— Посмотрим, посмотрим! Не будем больше говорить об этом, Крюшо. Вы мне все нутро переворачиваете. Золото получили?

— Нет. Но есть у меня с десятков старых луидоров, я вам их отдам. Друг мой, помириться с Евгенией! Ведь весь Сомюр в вас камни бросает.

— Негодяи!

— А рента-то по девяносто девять. Будьте же довольны хоть раз в жизни...

— Девяносто девять, Крюшо?

— Да.

— Эге! девяносто девять! — сказал старик, провожая старого нотариуса до калитки.

Потом, слишком взволнованный всем, что он услышал, чтобы оставаться дома, он поднялся к жене и сказал ей:

— Ну, мать, можешь провести день с дочерью, я отправляюсь во Фруафон. Будьте обе умницами. Сегодня день нашей свадьбы, женушка. На вот десять экю на твой переносный алтарь к празднику

Тела господня. Давно уж тебе хочется соорудить его, доставь же себе удовольствие. Развлекайтесь! Будьте веселы, здоровы! Да здравствует радость!

Он бросил десять эку по шести франков на постель жены, взял обеими руками ее за голову и поцеловал в лоб.

— Тебе лучше, женушка, не правда ли?

— Как можете вы думать — принять в наш дом всепрощающего бога, когда вы дочь свою изгнали из сердца? — в волнении сказала г-жа Гранде.

— Та-та-та-та-та! — сказал отец ласковым голосом. — Там видно будет.

— Боже милостивый! Евгения! — закричала мать, краснея от радости. — Иди, обними отца, он тебя прощает.

Но Гранде уже не было. Он бежал со всех ног на хутор, стараясь привести в порядок свои запутавшиеся мысли. Гранде пошел в это семьдесят шестой год. За последние два года скупость его особенно возросла, как возрастают в человеке все укоренившиеся в нем страсти, что подтверждается наблюдениями над скрягами, над честолюбцами, над всеми людьми, посвятившими жизнь одной господствующей над ними мысли; все чувства его с особенной силой устремились на символ его страсти. Видеть золото, владеть золотом стало его манией. Вместе со скупостью усиливался в нем дух деспотизма, и отказаться от самовластного распоряжения хотя бы малейшею частью своих богатств после смерти жены казалось ему чем-то противосущественным. Объявить дочери размеры своего состояния, подвергнуть описи все свое движимое и недвижимое имущество, чтобы продать его с торгов?

— Это значило бы перерезать себе горло, — сказал он вслух, стоя посреди огороженного виноградника и рассматривая лозы.

Наконец он покорился необходимости и вернулся в Сомюр в обеденный час, решив уступить Евгении, приласкать ее, умастить ее, для того чтобы умереть властителем, держа до последнего вздоха бразды правления и распоряжаясь своими миллионами.

В ту минуту, когда старик, случайно захвативший свой ключ от входной двери, крадучись, как волк, поднимался к жене, Евгения принесла и положила матери на постель прекрасный несессер. Они вдвоем, пока не было Гранде, наслаждались, рассматривая портрет матери Шарля, выискивая в ее чертах сходство с сыном.

— Вылитые его и лоб и рот! — говорила Евгения в ту минуту, когда винодел отворил дверь.

При одном взгляде, какой ее муж бросил на золото, г-жа Гранде воскликнула:

— Господи, смилуйся над нами!

Старик кинулся на несессер, как тигр бросается на спящего ребенка.

— Это что такое? — произнес он, хватая ларец и подходя к окну. — Чистое золото! Золото! — вскричал он. — Много золота! Фунта два весит. Ага! Шарль дал тебе это за твои прекрасные монеты, а? Что ж ты мне ничего не сказала? Неплохое дельце обделала дочка! Ты моя дочь, узнаю тебя. (Евгения дрожала всем телом.) Это вещи Шарля, не правда ли? — продолжал добряк.

— Да, отец, это не мое. Эти вещи должны храниться свято и неприкосновенно.

— Та-та-та-та-та! Он забрал твое состояние! Тебе надо восстановить свое сокровище.

— Отец!..

Старик хотел взять нож, чтобы отодрать золотую пластинку, и ему пришлось поставить несессер на стул. Евгения кинулась перехватить его, но бочар, не спускавший глаз ни с дочери, ни с ларца, так неистово оттолкнул ее, что она упала на кровать матери.

— Сударь, сударь! — закричала мать, приподнимаясь на постели.

Гранде уже вынул нож и собирался содрать золото.

— Отец! — закричала Евгения, бросаясь на колени, и, подползая к Гранде, простерла к нему руки. — Отец, ради всех святых и пресвятой девы, ради самого Христа, умершего на кресте, ради нашего вечного спасения, отец, ради жизни моей — не трогайте этого! Этот ларец не ваш и не мой, а несчастного брата, который мне его доверил, и я обязана вернуть его в неприкосновенности.

— Почему же ты его рассматривала, ежели он отдан тебе на хранение? Смотреть — хуже, чем трогать.

— Отец, не ломайте его, вы меня обесчестите! Отец, вы слышите?

— Сударь, пощадите! — сказал мать.

— Отец! — закричала Евгения так громко, что снизу в испуге прибежала Нанета.

Евгения бросилась к ножу, лежавшему под рукой, и вооружилась им.

— Что же дальше? — спокойно сказал Гранде и холодно улыбнулся.

— Сударь, сударь, вы убиваете меня! — воскликнула мать.

— Отец, если ваш нож отрежет хоть крупицу этого золота, то я зарежусь вот этим ножом. Вы уже довели до смертельной болезни мою мать, — вы убьете и свою дочь. Теперь ломайте! Рана за рану! Гранде держал нож над ларцом и растерянно смотрел на дочь

— Неужели ты способна на это, Евгения? — промолвил он.

— Да, сударь, — сказала мать.

— Что она сказала, то и сделает! — воскликнула Нанета. — Будьте же рассудительны, сударь, хоть раз в жизни.

Бочар мгновение смотрел то на золото, то на дочь. Г-жа Гранде лишилась чувств.

— Смотрите, барин дорогой, барыня умирает! — закричала Нанета.

— На, дочка, не будем ссориться из-за ларчика. Бери его! — крикнул бочар, бросая несессер на кровать. — Ты, Нанета, сходи за господином Бержереном. Ну, мать, — сказал он, целуя жену в руку, — не беда, ну мы помирились. Не так ли, дочурка? Прочь сухой хлеб, — ты будешь кушать, что захочешь... Ах, она открывает глаза! Ну, мать, маменька, мамочка, очнись же! Вот, смотри, я целую Евгению. Она любит своего кузена, она выйдет за него замуж, если захочет; она сбережет ему ларчик. Только живи, живи долго, женушка моя бедная! Ну, пошевелись же... Слушай, у тебя будет такой прекрасный алтарь, какого никогда еще не бывало в Сомюре.

— Боже мой! Как можете вы так обращаться с женой и дочерью! — сказала слабым голосом г-жа Гранде.

— Я больше не буду, не буду! — воскликнул бочар. — Вот увидишь, женушка моя бедная!

Он пошел в кабинет, принес оттуда горсть луидоров и рассыпал их по постели.

— На, Евгения, на, жена, вот вам! — говорил он, перебирая луидоры. — Ну, развеселись, жена, будь здорова: ты ни в чем теперь не будешь нуждаться, ни ты, ни Евгения. Вот сто золотых для нее. Ты ведь никому не отдашь их, Евгения, этих-то, а?

Госпожа Гранде и дочь ее переглядывались в изумлении.

— Возьмите их назад, отец, мы нуждаемся только в вашей нежности!

— Ладно, пусть будет так, — сказал Гранде, засовывая луидоры в карманы, — будем жить добрыми друзьями. Будем спускаться в сад обедать, играть в лото каждый вечер по маленькой. Шутите, смейтесь! Так, жена?

— Ах, я бы рада была, если это может быть вам приятно, — произнесла умирающая, — да встать мне не под силу.

— Мамочка, бедная, — сказал бочар, — ты не знаешь, как я люблю тебя. И тебя, дочка!

Он крепко обнял ее и поцеловал.

— О! Как хорошо обнять дочь свою после размолвки! Моя дочурка!.. Ну, видишь, мамочка, мы с тобой теперь — одно. Иди же спрячь это, — сказал он Евгении, показывая на ларец. — Иди, не бойся. Я никогда и не заикнусь об этом.

Вскоре явился Бержерен, первая сомюрская знаменитость. Окончив осмотр, он объявил Гранде, что жена его тяжело больна, но при условии полного душевного спокойствия, сердечных забот о ней и тщательного ухода она еще может прожить до конца осени.

— А это дорого будет стоить? — сказал добряк. — Понадобятся лекарства?

— Мало лекарств, но много забот, — ответил врач и не мог скрыть улыбки.

— Словом, господин Бержерен, — ответил Гранде, — вы человек честный, не правда ли? Я доверяюсь вам. Навещайте мою жену столько раз, сколько найдете нужным. Сохраните мне мою добрую жену. Видите ли, я очень люблю ее, хоть этого и не видно, — у меня все таится внутри и переворачивает мне душу. Я в горе. Горе пришло ко мне со смертью брата, ради которого я трачу в Париже такие деньги... прямо глаза на лоб лезут, и конца краю не видать. До свидания, сударь! Если возможно спасти мою жену, спасите ее, хотя бы это стоило сто, двести франков.

Несмотря на горячее желание Гранде видеть жену здоровой, ибо раздел наследства после нее был бы для него первым смертельным ударом; несмотря на то, что теперь он, к великому изумлению матери и дочери, постоянно проявлял готовность исполнять малейшие их желания; несмотря на самые нежные заботы Евгении, — г-жа Гранде быстрыми шагами шла к смерти. С каждым днем она слабела и хирела, как большинство женщин, пораженных тяжелой болезнью в преклонном возрасте. Она была хрупка, словно осенние листья на деревьях. Небесные лучи озаряли ее сиянием, как солнце озаряет эти листья, когда оно пронизывает их и позлащает. Это была смерть, достойная ее жизни, кончина истинно христианская, не сказать ли — возвышенная?

В октябре 1822 года особенным душевным светом проявилась ее доброта, ее ангельское терпение, любовь ее к дочери; она угасла, не проронив ни малейшей жалобы. Кроткая, непорочная душа, устремляясь к небу, не сожалела ни о чем, кроме милой своей спутницы, которую она оставляла теперь одну в холоде овсянной жизни; и ее последний взгляд, казалось, предрекал дочери неисчислимые бедствия. С трепетом оставляла она эту овечку, белоснежную, как она сама, одинокую среди себялюбивого мира, грозившего сорвать руно ее сокровища.

— Дитя мое, — сказала она в предсмертную минуту, — счастье только на небесах, ты поймешь это когда-нибудь.

На другой день после ее смерти Евгения ощутила новые связи свои с этим домом, где она родилась, где столько перестрадала, где только что умерла ее мать. Она не могла без слез смотреть на окно в зале и на стул с подпорками. Ей казалось, что раньше она не знала души своего старого отца, видя нежнейшие его заботы о ней самой: он приходил и предлагал ей руку, чтобы сойти вниз к завтраку, он целыми часами смотрел на нее взором почти добрым, — словом, лелеял ее, как будто она была золотою. Старый бочар стал сам на себя непохож и так трепетал перед дочерью, что Нанета и крошотинцы, свидетели этой слабости, приписывали ее преклонному возрасту и даже несколько опасались за умственные способности

на Гранде; но в то день, когда семья надела траур, после обеда, в котором был приглашен нотариус Крюшо, один только знавший тайну своего клиента, поведение его объяснилось.

— Дорогое дитя мое, — сказал он Евгении, когда убрали со стола и двери были плотно затворены, — вот ты теперь наследница матери, и нам надо уладить кое-какие дела, касающиеся нас двоих, — не правда ли, Крюшо?

— Да.

— Разве так необходимо заниматься этим сегодня, отец?

— Да, да, доченька, я не могу больше оставаться в неизвестности. Не думаю, чтобы ты хотела огорчить меня.

— О отец!..

— Так вот, надо уладить все это сегодня же вечером.

— Чего же вы хотите от меня?

— Доченька, это дело не мое. Скажите же ей, Крюшо.

— Мадмуазель, ваш отец не хотел бы ни делить, ни продавать свои имения, ни платить огромные налоги за наличный капитал, который может ему принадлежать. И вот для этого нужно было бы избежать описи всего состояния, в настоящее время не разделенного между нами и вашим отцом...

— Крюшо, достаточно ли вы уверены в этом, чтобы говорить так в присутствии ребенка?

— Дайте мне сказать, Гранде.

— Да, да, мой друг. Ни вы, ни моя дочь не хотите меня обобрать. Не так ли, дочка?

— Но что же я должна сделать, господин Крюшо? — нетерпеливо спросила Евгения.

— Так вот, — сказал нотариус, — нужно бы подписать этот акт, которым вы отказывались бы от наследства вашей матушки и предоставили бы вашему отцу право пользования всем вашим неразделенным имуществом, причем он обеспечивает за вами право распоряжения этим имуществом.

— Я ничего не понимаю в том, что вы говорите, — ответила Евгения. — Дайте мне бумагу и укажите место, где я должна подписать.

Папаша Гранде переводил взгляд с бумаги на дочь и с дочери на бумагу; от волнения на лбу у него выступили капли пота, и он вытирал их платком.

— Дочка, — сказал он, — вместо того чтобы подписывать этот акт, регистрация которого обойдется дорого, не лучше ли тебе просто-напросто отказаться от наследства дорогой покойницы-матери и положиться на меня в отношении будущего? По-моему, так лучше будет. Я бы тогда выдавал тебе ежемесячно кругленькую сумму в сто франков. Право, ты сможешь заказывать сколько угодно обедов, на кого хочешь. А? Сто франков в месяц, в ливрах?

— Я сделаю все, что вам угодно, папенька.

— Сударыня, — вмешался нотариус, — мой долг указать вам, что вы лишаете себя всего...

— О боже мой, — сказала она, — что мне до этого?

— Молчи, Крюшо! Сказано, сказано! — крикнул Гранде, хватая руку дочери и ударяя по ней ладонью. — Евгения, ты не откажешься от своих слов, ты ведь честная девушка, а?

— О батюшка!..

Он порывисто поцеловал ее и едва не задушил в объятиях.

— Ну, дитя мое, ты отцу жизнь даешь, но ты только возвращаешь ему то, что он тебе дал: мы квиты. Вот как делаются дела, Крюшо. Ведь вся жизнь человеческая — сделка. Благословляю тебя, Евгения! Ты добродетельная дочь, ты крепко любишь своего отца. Делай теперь, что хочешь... Значит, до завтра, Крюшо, — сказал он, глядя на пришедшего в ужас нотариуса. — Благоволите заготовить в канцелярии суда акт об отказе от наследства.

На другой день, около полудня, был подписан акт, которым Евгения добровольно согласилась на это ограбление. Однако, несмотря на данное слово, старый бочар к концу первого года не дал еще ни гроша из ежемесячной сотни франков, столь торжественно обещанной дочери. И когда Евгения шутя сказала ему об этом, он не мог не покраснеть. Он живо поднялся в свой кабинет и, вернувшись оттуда, преподнес ей около трети драгоценностей, взятых им у племянника.

— На, дочка, — сказал он с выражением, полным иронии, — хочешь получить это вместо своих тысячи двухсот франков?

— Батюшка, вы в самом деле мне их даете?

— Я дам тебе столько же и в будущем году, — сказал он, бросая ей драгоценности в передник. — Так в короткое время у тебя окажутся все *его* брелочки, — прибавил он, потирая руки, радуясь, что может спекулировать на чувстве дочери.

Как ни крепок был еще старик, он все же понимал, что смерть не за горами и что необходимо посвятить дочь в тайны хозяйства. Два года подряд он заставлял Евгению давать в его присутствии распоряжения по дому и получать платежи. Не спеша, постепенно он сообщал ей названия своих полей и ферм, знакомил с их состоянием. На третий год он так хорошо приучил ее ко всем видам скупости, так крепко привил ей свои повадки и превратил их в ее привычки, что без опасения доверял дочери ключи от кладовых и утвердил ее хозяйкою дома.

Прошло пять лет, и никаким событием не было отмечено однообразное существование Евгении и отца ее. Одни и те же действия совершались с хронометрической правильностью хода старых стенных часов. Глубокая грусть барышни Гранде ни для кого не была тайною; но если каждый мог догадываться о причине ее, то Евгения

никогда ни одним словом не подтвердила догадок, строившихся во всех кругах Сомюра о сердечных делах богатой наследницы. Ее общество ограничивалось тремя Крюшо и несколькими их друзьями, которых они незаметно ввели в дом. Они научили ее играть в вист и каждый вечер являлись на партию.

В 1827 году Гранде, чувствуя тяжесть недугов, принужден был посвятить дочь в тайны своих земельных владений и посоветовал ей в случае затруднений обращаться к нотариусу Крюшо, честность которого была ему известна. Затем, в конце этого года, старик в возрасте восьмидесяти двух лет был разбит параличом; состояние больного быстро ухудшалось; Бержерен не оставил никакой надежды. Мысль о том, что скоро она останется на свете одна, сблизила Енгению с отцом и укрепила это последнее звено привязанности. В ее представлении, как и у всех любящих женщин, любовь была целым миром, а Шарля не было возле нее. Она с нежнейшей заботливостью ухаживала за стариком отцом, умственные способности которого начали падать, но скупость, ставшая уже инстинктивной, сохранялась. Смерть этого человека была подстать его жизни. С утра он приказывал подвозить себя в кресле к простенку между камином своей комнаты и дверью в кабинет, несомненно полный золота. Тут оставался он без движения, но тревожно глядел то на приходивших навестить его, то на обитую железом дверь. Он заставлял объяснять ему малейший доносившийся до него шум и, к большому удивлению нотариуса, слышал даже позевывания собаки во дворе. Пробуждался он от оцепенения в тот день и час, когда надо было получать платежи по фермам, рассчитываться с арендаторами или выдавать расписки. Тогда он сам двигал свое кресло на колесах и, добравшись до дверей кабинета, приказывал дочери отворить их, требовал, чтобы она собственными руками, без свидетелей, укладывала одни мешки с деньгами на другие и запирала дверь. Затем он молча возвращался на прежнее место, как только она отдавала ему драгоценный ключ, всегда хранившийся в его жилетном кармане, который он время от времени ощупывал. Старый друг его нотариус, предчувствуя, что богатая наследница неминуемо выйдет за его племянника, председателя, если только Шарль Гранде не вернется, усилил заботы и внимание; каждый день он являлся к Гранде за распоряжениями, ездил по его поручению в Фруафон, на пашни, на луга, на виноградники, продавал урожай, превращая все в золото и серебро, которое тайно присоединялось к мешкам, наваленным в кабинете. Наконец наступили дни агонии, когда крепкий организм старика вступил в схватку с разрушением. Однако он не хотел расставаться со своим местом у камина, перед дверью кабинета. Он тащил на себя и комкал все одеяла, которыми его покрывали, и говорил Нонете, кутаясь в них:

— Укрой, укрой меня получше, чтоб меня не обокрали.

Когда он в силах был открывать глаза, где еще тлела искра жизни, то сейчас же обращал их к двери кабинета, где покоились его сокровища, и говорил дочери:

— Там ли они? Там ли они? — и в тоне его голоса звучал панический ужас.

— Да, батюшка.

— Береги золото!.. Положи золото передо мной!

Евгения раскладывала луидоры на столе, и он целыми часами не спускал глаз с золотых монет, подобно ребенку, который, начиная видеть, бессмысленно созерцает один и тот же предмет, и, как у ребенка, у него мелькала напряженная улыбка.

— Это согревает меня! — говорил он иногда, и лицо его принимало блаженное выражение.

Когда приходский священник пришел его напутствовать, глаза его, уже несколько часов казавшиеся мертвыми, оживились при виде креста, подсвечников, серебряной кропильницы, на которую он пристально посмотрел, и шишка на его носу пошевелилась в последний раз. В ту минуту, как священник поднес к его губам позолоченное распятие, чтобы он приложился к изображению Христа, Гранде сделал страшное движение, чтобы его схватить, и это последнее усилие стоило ему жизни. Он позвал Евгению, не видя ее более, хотя она стояла перед ним на коленях и орошала слезами его руку, уже холодевшую.

— Отец, благословите меня, — попросила она.

— Береги золото, береги! Ты дашь мне отчет на том свете! — сказал он, доказывая этим последним словом, что христианство должно быть религией скупцов.

И вот Евгения Гранде осталась одна на свете в этом доме, только к Нанете могла она обратить взор с уверенностью, что встретит понимание и сочувствие, к Нанете, единственному существу, любившему ее ради нее самой и с которым она могла говорить о своих горестях. Нанета была провидением для Евгении и стала уже не служанкой, а смиренною подругой.

После смерти отца Евгения узнала от нотариуса Крюшо, что она владеет рентой в триста тысяч ливров с недвижимой собственности в Сомюрском округе и шестью миллионами в трехпроцентных бумагах с номинальным курсом в шестьдесят франков, поднявшимся тогда до семидесяти семи; кроме того — двумя миллионами золотом и сотней тысяч франков в серебряных экю, помимо недополученных недоимок. Общий размер ее состояния достигал семнадцати миллионов.

«Где же Шарль?» — спрашивала она себя.

День, когда нотариус Крюшо ознакомил свою клиентку с состоянием ее наследства, приведенного в известность и свободного от долгов, Евгения провела одна, вместе с Нанетой; обе они сидели

у лампы в этом зале, теперь таком опустелом, где все рождало воспоминания, начиная от стула на подпорках, на котором сидела мать, и до стакана, из которого когда-то пил двоюродный брат.

— Вот мы одни, Нанета!

— Да, барышня. А если б я только знала, где он, красавчик, пеншом пошла бы за ним.

— Между нами море, — сказала Евгения.

В то время как несчастная наследница горевала в обществе своей старой служанки в этом холодном и мрачном доме, составлявшем для нее всю вселенную, от Нанта до Орлсана не было другого разговора, кроме как о семнадцати миллионах барышни Гранде. Одним из первых ее дел было назначение пожизненной пенсии в тысячу двести франков Нанете, которая со своими прежними шестьюстами франков ренты стала богатой невестой. Меньше чем в месяц старая дева вышла замуж за Антуана Корнуайе, назначенного главным смотрителем земель и владений барышни Гранде. Г-жа Корнуайе имела огромное преимущество перед своими ровесницами: хотя ей было пятьдесят девять лет, на вид ей казалось не больше сорока. Ее крупные черты устояли против натиска времени. Благодаря монастырскому укладу своей жизни она словно насмеялась над старостью, сохранив яркий румянец и железное здоровье. Может быть, никогда у нее не было такого хорошего вида, как в день свадьбы. Самое ее безобразие пошло ей на пользу, и когда она направилась в церковь, грузная, плотная, крепкая, с выражением счастья на несокрушимом лице, некоторые позавидовали Антуану Корнуайе.

— У нее хороший цвет лица, — сказал суконщик.

— Да, такая, пожалуй, еще может рожать ребят, — заметил торговец солью, — она сохранилась, как в рассоле, с позволения сказать.

— Она богата. Корнуайе сделал выгодное дельце, — сказал еще один сосед.

При выходе из старого дома Нанета, любимая всеми соседями, слышала одни похвалы, пока спускалась по извилистой улице, направляясь в приходскую церковь.

В виде свадебного подарка Евгения подарила ей три дюжины столовых приборов. Корнуайе, пораженный такой щедростью, говорил о своей хозяйке со слезами на глазах; ради нее он готов был в огонь и в воду. Став доверенным лицом Евгении, г-жа Корнуайе испытывала от этого не меньшее счастье, чем от замужества. Она могла, наконец, запирать и отпирать кладовую, выдавать по утрам провизию, как делал покойный ее хозяин. Кроме того, у нее под началом были две служанки — кухарка и горничная, которой была поручена починка домашнего белья и чистка платьев Евгении. Корнуайе совмещал должности сторожа и управителя.

Излишне говорить, что кухарка и горничная, на которых остановила свой выбор Нанета, были настоящей находкой. Таким образом, у барышни Гранде было четверо безгранично преданных слуг. Фермеры и не заметили смерти старика Гранде: так строго установил он порядки и обычаи своего управления, которым старательно следовали супруги Корнуайе.

В тридцать лет Евгения не изведала еще ни одной из радостей жизни. Ее тусклое и печальное детство протекло возле матери, сердце которой, непризнанное, оскорбленное, постоянно страдало. Радостно расставаясь с жизнью, мать сожалела о дочери, которой предстояло влачить существование, и оставила в душе ее легкие угрызения совести и вечные сожаления. Первая, единственная любовь Евгении была для нее источником грусти. Всего несколько дней мельком видела она своего возлюбленного и отдала ему сердце между двумя украдкой полученными и возвращенными поцелуями; затем он уехал, отделив себя от нее целым миром. Эта любовь, проклятая отцом, едва не лишила ее матери и причиняла ей только страдания, смешанные с хрупкими надеждами. Так до сих пор стремилась она к счастью, теряя силы и не обновляя их. В духовной жизни, так же как и в жизни физической, существует выдыхание и выдыхание, душе необходимо поглощать чувства другой души, усваивать их себе, чтобы ей же вернуть их обогащенными. Без этого прекрасного явления нет жизни для человеческого сердца, ему тогда не хватает воздуха, оно страдает и чахнет. Евгения начинала страдать. Для нее богатство не было ни властью, ни утешением; она могла жить только любовью, религией, верой в будущее. Любовь объяснила ей вечность. Собственное сердце и евангелие были для нее два желанных мира. Днем и ночью погружалась она в глубины двух безбрежных этих мыслей, быть может составлявших для нее одно целое. Она уходила в себя, любя и веря, что любима. За семь лет страсть заполнила все. Ее сокровищами были не миллионы, доходы с которых все нарастали, но ларец Шарля, два портрета, повешенные у ее постели, драгоценности, выкупленные у отца, красовавшиеся на слое ваты в ящике комода, и наперсток ее тетки, которым пользовалась ее мать; Евгения с благоговением брала его ежедневно, садясь за вышивание; она трудилась, как Пенелопа, и затеяла эту работу только для того, чтобы надевать на палец золотой наперсток, оваянный воспоминаниями.

Представлялось невероятным, чтобы барышня Гранде пожелала выйти замуж раньше окончания траура. Всем было известно ее искреннее благочестие. Поэтому семейство Крюшо, политику которого мудро направлял старый аббат, удовлетворилось тем, что сомкнулось вокруг наследницы, окружив ее самыми сердечными заботами. Каждый вечер зал ее наполнялся обществом, состоявшим

из самых горячих и самых преданных крющотинцев округа, старавшихся на все лады петь хвалу хозяйке дома. У нее был постоянный придворный врач, свой дворцовый духовник, свой камергер, своя статс-дама, свой первый министр и, главное, свой канцлер, который хотел во всем руководить ею. Пожелай наследница иметь пажа, который носил бы ее шлейф,— ей нашли бы и его. Она была королевой, и ни перед одной королевой так искусно не заискивали. Лесть никогда не исходит от великих душ, она удел мелких душонок, умеющих становиться еще мельче, чтобы лучше войти в жизненную сферу важной персоны, к которой они тяготеют. Лесть подразумевает корысть. Люди, приходившие каждый вечер украшать своим присутствием зал барышни Гранде, именуемой ими мадемуазель де Фруафон, осыпали ее восхвалениями. Этот хор похвал, новых для Енгени, сначала смущал ее, и она краснела; но как ни грубы были комплементы, незаметно она так привыкла к прославлению ее красоты, что если бы какой-нибудь новый человек в городе нашел ее некрасивой, это порицание было бы ей теперь гораздо чувствительнее, чем восемь лет назад. С течением времени она подлюбила эти приторные восторги и втайне слагала их к ногам своего кумира. Постепенно она привыкла, что с ней обращаются как с владетельной особой, привыкла видеть каждый вечер свой двор в полном сборе.

Председатель суда де Бонфон был героем этого кружка, тут беспрестанно превозносили его ум, его характер, его образование, его любезность. Один, например, как бы вскользь сообщил, что за семь лет председатель очень увеличил свое состояние, что поместье Бонфон дает не меньше десяти тысяч дохода и что оно, как и все земли семейства Крюшо, вклинивается в обширные владения наследницы.

— Знаете, сударыня, — говорил другой завсегда, — ведь у господ Крюшо сорок тысяч ливров дохода!

— А как они умеют вести дела! — подхватывала старая крющотинка, мадемуазель де Грибокур. — Один господин из Парижа недавно предлагал господину Крюшо двести тысяч франков за его нотариальную контору. Ему придется продать контору, если он хочет, чтобы его назначили мировым судьей.

— Он желает получить должность председателя суда после господина де Бонфона и принимает свои меры, — добавляла г-жа д'Орсонваль. — Ведь господин председатель делается советником, а потом и председателем судебной палаты: у него так много данных, что он непременно достигнет этого.

— Да, это весьма выдающийся человек, — замечал другой. — Не правда ли, сударыня?

Господин председатель старался держаться согласно той роли, какую хотел играть. Несмотря на свои сорок лет, несмотря на свое

темное, неприветливое лицо, помятое, как почти все судейские физиономии, он одевался как молодой человек, играл тросточкой, не нюхал табак в присутствии мадемуазель де Фруафон, являлся всегда в белом галстуке и в рубашке с жабо, заложенным крупными складками и придававшим ему семейное сходство с представителями породы индюков. Он разговаривал с прекрасной наследницей по-приятельски и называл ее «наша дорогая Евгения». Словом, если не считать того, что действующих лиц стало больше, что игра в лото сменилась вистом, а г-н и г-жа Гранде скончались, картина, открывающая это повествование, оставалась почти что прежней и по сути своей была приблизительно та же. По-прежнему шла охота за Евгенией и ее миллионами, но свора более многочисленная лучше лаяла и согласнее окружала добычу. И если бы Шарль воротился из далекой Ост-Индии, он снова застал бы те же лица и те же интересы. Г-жа де Грассен, с которой Евгения была очень приветлива и добра, упорно продолжала тревожить всех Крюшо. Но и теперь, как прежде, образ Евгении господствовал в картине; как прежде, Шарль оставался бы здесь властелином. Однако был и прогресс. Букет преподнесенный некогда Евгении председателем в день ее рождения, стал постоянным подношением. Каждый вечер г-н де Бонфон приносил богатой наследнице объемистый и великолепный букет, который г-жа Корнуайе на глазах у всех ставила в вазу и выбрасывала потихоньку на задний двор, как только гости уходили.

В начале весны г-жа де Грассен попыталась смутить счастье крющотинцев, заговаривая с Евгенией о маркизе де Фруафон, разоренный род которого мог бы подняться снова, если бы наследница пожелала вернуть ему имение по брачному контракту. Г-жа де Грассен трубила ей в уши о звании пэра, титуле маркиза и, принимая презрительную улыбку Евгении за одобрение, распространяла слух, что дело женитьбы председателя Крюшо не так уж подвинулось, как многие полагали.

— Хотя господину де Фруафон пятьдесят лет,— говорила она,— с виду он не старше господина Крюшо. Правда, он вдовец, у него дети, но он — маркиз, он будет пэром Франции. Попробуйте-ка в наше время найти подобную партию! Я знаю из верных источников, что господин Гранде, объединяя свои владения с землями Фруафона, имел в виду привить свою ветвь к дереву Фруафонов. Он мне часто говорил об этом. Старик был человек не промах.

— Как же так, Нанета, — сказала как-то вечером Евгения, ложась в постель, — за семь лет он так ни разу мне и не написал!..

Пока все это происходило в Союре, Шарль наживал богатство в Ост-Индии. Прежде всего он очень выгодно продал свой мелочной

товар. Скоро в его руках оказалась сумма в шесть тысяч долларов, своего рода боевое крещение на экваторе заставило его отделиться от многих предрассудков; он сообразил, что как в тропических странах, так и в Европе лучшим способом разбогатеть является покупка и продажа людей. Поэтому он отправился на берега Африки и стал торговать неграми, соединяя торговлю людьми со сбытом товаров, наиболее выгодных для обмена на разных рынках, куда приводила его корысть. Он отдался делу с таким рвением, что у него не оставалось свободной минуты. Им овладела мысль вновь появиться в Париже во всем блеске огромного богатства и вновь достичь еще более завидного положения, чем то, какого он лишился. Вследствие скитаний, смены людей и стран, вследствие наблюдения противоречивых обычаев он изменился во взглядах своих и сделался скептиком. У него не стало твердых представлений о справедливом и несправедливом — он видел, как в одной стране считают преступлением то, что в другой является добродетелью. От вечной мысли о наживе сердце его застыло, сжалось, иссохло. Кровь рода Гранде сказала и на его судьбе. Шарль сделался черств и алчен. Он продавал китайцев, негров, ласточкины гнезда, детей, артистов; он сделался крупным ростовщиком. Привычка мошеннически обходить таможенные установления сделала его менее щепетильным в отношении человеческих прав. Он ездил в Сен-Тома покупать на бесценно товары, награбленные пиратами, и отвозил их в места, где в них был недостаток.

Если благородный и чистый образ Евгении сопутствовал ему в первом путешествии, как изображение пресвятой девы, помещаемое на корабле испанскими моряками, и если первые свои успехи он приписывал волшебному влиянию обетов и молитв этой кроткой девушки, то позднее негритянки, мулатки, белые женщины, яванки, алмеи, оргии с красавицами всех цветов и похождения в разных странах окончательно стерли воспоминание о кузине, с Сомюре, о доме, о скамье, о поцелуе в коридоре. Он вспоминал только садик, окруженный старыми стенами, потому что там получила начало полная случайностей судьба его, но он отсекся от семьи: дядя был старый пес, стянувший его драгоценности, Евгения не занимала ни сердца его, ни мыслей, — она занимала место в его делах как кредитор, ссудивший ему шесть тысяч франков. Такое поведение и такие взгляды объясняют молчание Шарля Гранде. В Ост-Индии, в Сен-Тома, на африканском побережье, в Лиссабоне, в Соединенных Штатах молодой спекулянт, не желая компрометировать свое имя, взял себе псевдоним — Сефер. Карл Сефер мог безопасно показываться всюду — неутомимый, отважный, алчный, как человек, который, решившись разбогатеть *quibuscumque viis*<sup>1</sup>,

<sup>1</sup> Любыми путями (лат.).

спешит покончить гнусное дело, чтобы стать затем честным человеком до конца своей жизни. При такой системе обогащение его было быстрым и блестящим.

И вот в 1827 году он возвращался в Бордо на красивом бриге «Мария-Каролина», принадлежавшем роялистскому торговому дому. Он вез с собой в трех хорошо окованных бочках золотой песок на миллион девятьсот тысяч франков, рассчитывая получить на нем в Париже семь или восемь процентов прибыли, обратив его в монеты.

На том же бриге ехал также камергер двора его величества короля Карла X, г-н д'Обрион, славный старик, в свое время безрассудно женившийся на модной женщине. Все его состояние было на островах Индийского океана; чтобы покрыть то, что промотала г-жа д'Обрион, он ездил продавать свои владения. У четы д'Обрион, из дома д'Обрион де Бюш (последний капталь \* которого умер до 1789 года), оставалось каких-нибудь двадцать тысяч ливров дохода и было дочь, отменно некрасивая; мать хотела выдать ее замуж без приданого, потому что своего состояния ей едва хватало на жизнь в Париже. Успех подобного замысла казался сомнительным всем светским людям, несмотря на ловкость, какую признают они за модными женщинами. И сама г-жа д'Обрион, глядя на дочь, почти отчаивалась навязать ее кому бы то ни было, даже человеку, помешанному на родовитости. Мадемуазель д'Обрион была девица долговязая, как жук-дровосек, тощая, хилая, с презрительным ртом, над которым свисал чрезмерно длинный нос, толстый к концу, желтоватый при обычном состоянии, но совершенно красный после еды, — род растительного феномена, особенно неприятный на бледном скупающем лице. Словом, она была именно такой дочерью, какой могла желать маменька в тридцать восемь лет, еще красивая и не отказавшаяся от претензии нравиться. Однако в противовес таким недочетам маркиза д'Обрион придала дочери самый изысканный вид, подчинила ее гигиене, временно поддерживавшей умеренную окраску носа, передала ей искусство одеваться изящно, наделила ее хорошими манерами, научила меланхолическим взглядам, вызывающим интерес в мужчине и заставляющим его верить, что он встретил ангела, которого столь тщетно искал; она показала дочери, как пользоваться движениями ножки, чтобы к стати выставить ее и принудить любоваться ее миниатюрностью как раз в минуту, когда нос нагло позволит себе покраснеть; словом, она добилась от дочери успехов весьма удовлетворительных. С помощью широких рукавов, обманных корсажей, искусно отделанных пышных платьев, туго стянутого корсета она достигла столь удивительных иллюзорных прелестей, что в назидание маменькам ей бы следовало выставить их в особом музее.

Шарль очень сблизился с г-жой д'Обрион, как раз желавшей

сблизиться с ним. Некоторые утверждают даже, будто за время переезда прекрасная г-жа д'Обрион не пренебрегла никакими средствами, чтобы пленить такого богатого зятя. Высадившись в Бордо в июне 1827 года, господин, госпожа и мадемуазель д'Обрион и Шарль остановились вместе в одной гостинице и вместе отправились в Париж. Особняк д'Обрионов был заложен и перезаложен. Шарль должен был выкупить его. Мать говорила уже о счастье, с каким она уступила бы свой нижний этаж зятю и дочери. Не разделяя предрассудков г-на д'Обриона относительно родовитости, она обещала Шарлю Гранде получить от доброго Карла X королевский указ, дающий права ему, Гранде, носить фамилию д'Обрион, принять ее герб и наследовать поместье Обрион путем учреждения майората в тридцать шесть тысяч ливров годового дохода в качестве каптала де Бюш и маркиза д'Обрион. Соединив состояния, живя в добром согласии и получив всякие синекуры, можно было бы довести доходы в особняке д'Обрионов до ста с лишним тысяч ливров.

— А при ста тысячах ливров дохода, титуле, семье, принятой при дворе, — потому что я добуду вам звание камер-юнкера, — достигают всего, чего хотят, — говорила она Шарлю. — Таким образом, вы станете, по вашему выбору, докладчиком в государственном совете, префектом, секретарем посольства, послом. Карл Десятый очень любит д'Обриона, они знакомы с детства.

Опьяненный честолюбием, разгоревшимся под влиянием ловкой женщины, Шарль во время плавания лелеял все эти надежды, умелой рукой развернутые перед ним под видом доверчивых признаний, идущих от сердца к сердцу. Полагая, что отцовские дела улажены дядей, он уже заранее видел, как сейчас же бросит якорь в Сен-Жерменском предместье, куда все хотели тогда попасть и где под сенью сизого носа мадемуазель Матильды он вдруг появился бы в качестве графа д'Обриона, как господа Дрё появились в один прекрасный день в качестве маркизов Брэзе \*. Ослепленный пресупением Реставрации, еще шаткой при его отъезде, очарованный блеском аристократических идей, Шарль и в Париже не выходил из состояния опьянения, начавшегося на корабле; он решил пойти на всё, чтобы достичь высокого положения, возможность которого нарисовала ему себялюбивая теща. И кузина стала для него не более как точкой в просторе этой блестящей перспективы. Он свиделся с Анетой. Как светская женщина Анета горячо советовала старому другу заключить этот союз и обещала свою поддержку во всех его честолюбивых планах. Анета была в восторге от мысли женить Шарля на некрасивой и скучной девице, так как после пребывания в Индии он стал весьма обаятельным; он загорел, манеры его были теперь решительны, смелы, как у человека, привыкшего рубить сплеча, властвовать, добиваться успеха. Шарль

свободнее стал дышать в Париже, увидев, что может здесь играть роль.

Де Грассен, узнав о его возвращении, скорой свадьбе, богатстве, пошел к нему переговорить о трехстах тысячах франков, каковыми он мог расквитаться с долгами отца. Он застал Шарля за совещанием с ювелиром, работавшим над драгоценностями, заказанными для свадебного подарка мадемуазель д'Обрион, и пришедшим показать рисунки. Помимо великолепных бриллиантов, привезенных Шарлем из Ост-Индии, художественные изделия, столовое серебро, крупные и мелкие ювелирные вещи, которыми обзавелись молодые, стоили больше двухсот тысяч франков. Шарль, не узнав де Грассена, принял его с развязностью молодого модника, уложившего в Ост-Индии четырех человек на дуэли. Де Грассен заходил уже три раза. Шарль выслушал его холодно; потом ответил, не поняв хорошенько:

— Дела моего отца меня не касаются. Я признателен вам, сударь, за те заботы, какие вы сообразовали взять на себя, но мне не придется ими воспользоваться. Я не для того в поте лица заработал около двух миллионов, чтобы швырнуть их кредиторам отца.

— А если вашего батюшку через несколько дней объявят несостоятельным?

— Сударь, через несколько дней я буду называться графом д'Обрион. Вы хорошо понимаете, что для меня это будет совершенно безразлично. К тому же вы знаете лучше меня: если у человека сто тысяч ливров дохода, его отца никогда не объявят несостоятельным, — прибавил он, вежливо выпроваживая г-на де Грассена за дверь.

В начале августа того же года Евгения сидела на деревянной скамейке, где кузен клялся ей в вечной любви и куда в хорошую погоду она приходила завтракать. Бедная девушка в это свежее радостное утро была занята тем, что перебирала в памяти крупные и мелкие события, связанные с ее любовью, и следовавшие за ними катастрофы. Солнце освещало красивую поверхность потрепавшейся, полуразвалившейся стены, которую по какой-то причуде наследницы запрещено было трогать, хотя Корнуае часто повторял жене, что стена, того и гляди, обвалится и кого-нибудь задавит. В эту минуту постучал почтальон, подал письмо г-же Корнуае, та пришла в сад с криком:

— Барышня, письмо!

Отдав письмо хозяйке, она сказала:

— Не то ли, которого вы дожидаетесь?

Эти слова раздались в сердце Евгении так же громко, как прозвучали на самом деле в стенах двора и сада.

— Париж!.. Это от него! Он вернулся.

Евгения побледнела и с минуту не могла тронуть письма. Она

спинком волновалась и не в силах была распечатать его и прочесть. Нанета остановилась, подбоченясь, и казалось, что радость, сквозившая на ее смуглом лице, пробивается, как дым сквозь расщелины скалы.

— Читайте же, барышня...

— Ах, Нанета, почему он уехал из Сомюра, а возвращается в Париж?

— Читайте, узнаете!

Евгения, дрожа, распечатала письмо. Из него выпал чек на банкирскую контору г-жи де Грассен и Коре в Сомюре. Нанета подняла его.

«Дорогая кузина...»

«Я уже для него не Евгения», — подумала она, и сердце ее сжалось.

«Вы...»

«Он говорил мне «ты»!»

Она скрестила руки, не решаясь читать дальше, и на глазах ее выступили крупные слезы.

— Он умер? — спросила Нанета.

— Тогда он не писал бы, — сказала Евгения.

Она прочла все письмо. Вот оно:

«Дорогая кузина, полагаю, вы с удовольствием узнаете об успехе моих предприятий, Вы принесли мне счастье, я возвратился богатым, я следовал советам дядюшки. Только что узнал о кончине его и тетушки от г-на де Грассена. Смерть наших родителей в порядке вещей, и мы должны заступать их место. Надеюсь, что в настоящее время вы уже утешились. Ничто не может устоять перед временем, я испытываю это на себе. Да, дорогая кузина, к несчастью для меня, пора иллюзий миновала. Как же иначе? Путешествуя по многим странам, я размышлял о жизни. Уезжая, я был ребенком, теперь я стал зрелым человеком. Нынче я думаю о многих вещах, о каких в те времена и не помышлял. Вы свободны, кузина, и я еще свободен, ничто как будто не препятствует осуществлению наших юных мечтаний; но в моем характере слишком много прямоты, чтобы скрывать от вас положение моих дел. Я отнюдь не забыл, что не принадлежу себе: я постоянно вспоминал в долгие мои переезды деревянную скамеечку...»

Евгения встала, словно под ней были раскаленные уголья, и пересела на ступеньку крыльца.

«...деревянную скамеечку, на которое мы клялись вечно любить друг друга, коридор, серый зал, мою комнату в мансарде и ночь, когда вы своим чутким участием облегчили мне мое будущее. Да, эти воспоминания поддерживали мое мужество, и я говорил себе,

что вы по-прежнему думаете обо мне, так же как я часто думал о вас, в час, условленный между нами. Смотрели вы на облака в девять часов? Да, не правда ли? И я не хочу изменять священной для меня дружбе; нет, я не должен ни в чем обманывать вас. Для меня сейчас дело идет о союзе, удовлетворяющем всем представлениям, какие составил я себе о браке. Любовь в браке — химера. Ныне опыт мой говорит мне, что надобно подчиняться всем общественным законам и, вступая в брак, соблюдать все требования, предъявляемые светом. А между нами прежде всего есть разница в возрасте, которая, быть может, сильнее отозвалась бы на вашем будущем, нежели на моем. Я не буду говорить вам ни о ваших вкусах, ни о вашем воспитании, ни о ваших привычках, которые никак не вяжутся с парижской жизнью и, без сомнения, совершенно не соответствовали бы моим видам на будущее. В планы мои входит жизнь открытым домом, большие приемы, а вы, как мне помнится, любите жизнь тихую и спокойную. Нет, я буду откровеннее и хочу сделать вас судьей моего положения; вам надлежит знать его, и вы вправе его судить. Сейчас у меня восемьдесят тысяч ливров дохода. Это состояние позволяет мне породниться с семейством д'Обрион, наследница которого, молодая особа девятнадцати лет, с замужеством приносит мне имя, титул, звание камер-юнкера двора его величества и одно из самых блестящих положений в свете. Признаюсь вам, дорогая кузина, я меньше всего в мире люблю мадемуазель д'Обрион, но браком с ней я обеспечиваю своим детям общественное положение, преимущества которого со временем будут неисчислимы. С каждым днем монархические идеи все больше входят в силу, и через несколько времени мой сын, сделавшись маркизом д'Обрион, владея майоратом с доходом в сорок тысяч ливров, сможет занять в государстве любое место, какое сообразовал бы выбрать. Мы ответственны перед нашими детьми. Вы видите, кузина, с каким чистосердечием излагаю я перед вами состояние своего сердца, своих надежд и всей своей судьбы. Возможно, что вы, с своей стороны, забыли наши ребячества после семилетней разлуки, но я, я не забыл ни вашей снисходительности, ни своих слов, — я помню их все, даже ни к чему не обязывающие слова, о которых молодой человек, менее добросовестный, чем я, не с таким юным и честным сердцем, забыл бы и думать. Говоря вам, что я думаю лишь о браке по рассудку и что я еще помню нашу детскую любовь, разве я не отдаю этим себя целиком в ваше распоряжение, разве не делаю вас госпожой моей судьбы, разве не говорю этим самым, что если надобно отказаться от честолюбивых планов, то я охотно удовлетворюсь простым и чистым счастьем, которого столь трогательный образ открыли мне вы...»

— Тан-та-та. Тан-та-та... Тинн-та-та-тун! Тун-та-ти... Тин-та-ти... — напевал Шарль Гранде арию «Non piu andrai», подписываясь: «Ваш преданный кузен Шарль».

— Гром и молния! Это называется соблюсти все приличия, — сказал он себе.

Затем он отыскал чек и прибавил следующее:

«Прилагаю к моему письму чек на банкирскую контору де Грассен в восемь тысяч франков на ваше имя, подлежащий оплате полотом, — проценты и сумму, которую вы сообразовали мне одолжить. Я ожидаю доставки из Бордо сундука, где находится несколько предметов, которые, надеюсь, вы мне позволите поднести вам в знак моей вечной признательности. Благоволите прислать дилижансом мой несессер в особняк д'Обрионов, улица Иллерен-Бертен».

— Дилижансом! — сказала Евгения. — Вещь, за которую я тысячу раз отдала бы жизнь!

Страшное и полное крушение! Корабль тонул, не оставляя ни каната, ни доски на необозримом океане надежд. Видя себя покинутыми, иные женщины идут вырвать своего возлюбленного из рук соперницы, убивают ее и бегут на край света, на эшафот или в могилу. Это, без сомнения, прекрасно; побудитель такого преступления — возвышенная страсть, внушающая уважение человеческому правосудию. Другие женщины понижают голову и страдают безмолвно; они проходят, умирающие и отрешившиеся от себя, плача и прощая, молясь и вспоминая до последнего вздоха. Это любовь — любовь истинная, любовь ангельская, любовь гордая, живущая своим страданием и от него умирающая. Таково было чувство Евгении, после того как она прочла это ужасное письмо. Она подняла глаза к небу, думая о последних словах матери, которая, как бывает иногда с умирающими, устремила на будущее прозорливый, просветленный взгляд. Затем Евгения, вспоминая эту пророческую смерть и жизнь, измерила одним взглядом всю свою судьбу. Ей оставалось только развернуть крылья, устремиться к небу и жить в молитве до дня своего освобождения.

— Моя мать была права, — сказала она плача. — Страдать и умереть...

Медленными шагами перешла она из сада в зал. Против своего обыкновения она не прошла коридором. Но ей снова напомнил кузена этот старый серый зал, где на камине всегда стояло известное блюдо, служившее каждое утро ей для завтрака, как и старинная севрская сахарница.

Этому утру было суждено стать для нее торжественным и полным событий. Нанета доложила ей, что пожаловал приходский священник. Этот кюре, родственник семьи Крюшо, был сторонником председа-

теля де Бонфона. Несколько дней как старый аббат уговорил его побеседовать с барышней Гранде, в смысле чисто религиозном, о том, что она обязана вступить в брак. Увидя своего духовника, Евгения подумала, что он пришел за тысячью франков, которые она ежемесячно выдавала ему на бедных; она послала Нанету за деньгами, но священник, улыбаясь, сказал:

— Сегодня, сударыня, я пришел говорить с вами об одной бедной девушке, которой интересуется весь Сомюр и которая, по недостатку милосердия к себе самой, живет не по-христиански.

— Боже мой! Вы застали меня, господин кюре, в такую минуту, когда я не в силах думать о своих ближних, я всецело занята собой. Я очень несчастна, у меня нет другого прибежища, кроме церкви; лоно ее достаточно обширно, чтобы вместить все наши скорби, и добрые чувства достаточно изобильны, чтобы мы могли черпать их, не боясь, что они истощатся.

— Так вот, сударыня, уделяя внимание этой девушке, мы и займемся вами. Послушайте! Если вы хотите своего спасения, перед вами только два пути: или покинуть мир, или подчиниться его законам; следовать или вашему предназначению земному, или вашему предназначению небесному.

— Ах, голос ваш обращается ко мне в ту минуту, когда я жаждала услышать голос свыше. Да, бог направил вас сюда, сударь. Я прошусь с миром и буду жить только для бора, в безмолвии и уединении.

— Необходимо, дочь моя, поразмыслить над этим суровым решением. Замужество — жизнь, а покрывало монахини — смерть.

— Ну, хорошо, смерть, поскорее смерть, господин кюре! — сказала она с ужасающей живостью.

— Смерть? Но на вас лежат великие обязанности перед обществом, сударыня. Разве не мать вы для бедных? Вы даете им одежду, дрова зимой и работу летом. Ваше большое богатство — ссуда, которую надо вернуть, вы так благочестиво и приняли его. Похоронить себя в монастыре было бы эгоизмом, оставаться старой девой вы не должны. Прежде всего, сможете ли вы управлять одна вашим огромным состоянием? Вы, может быть, его потеряете. У вас сейчас же будет бесконечное множество судебных дел, и вы запутаетесь в безвыходных затруднениях. Поверьте вашему пастырю: супруг будет вам на пользу, вы обязаны сохранить то, что вам даровано богом. Я говорю с вами, как с многолюбимой агницей стада своего. Любовь ваша к богу искренна, вам можно спасти и живя в миру, вы — одно из прекраснейших его украшений и подаете ему пример святой жизни.

В эту минуту доложили о г-же де Грассен. Она явилась, руководимая местью и великим отчаянием.

— Мадемуазель... — сказала она. — Ах, тут господин кюре... Умолкаю. Я пришла поговорить с вами по делу, но вижу, что вы заняты важным разговором.

— Сударыня, — молвил кюре, — освобождаю вам поле действий.  
— О, господин кюре, — сказала Евгения, — возвращайтесь же через несколько минут, ваша поддержка мне сейчас крайне необходима.

— Да, бедное дитя мое, — сказала г-жа де Грассен.

— Что вы хотите сказать? — спросила мадемуазель Гранде и кюре.

— Разве я не знаю, что возвратился ваш кузен и что он женится на мадемуазель д'Обрион?.. От женского глаза ничто не скроется.

Евгения покраснела и смолчала, но решила на будущее время усвоить бесстрастную манеру держаться, какую умел напускать на себя ее отец.

— Ну что ж, сударыня, — отвечала она с иронией, — у меня, должно быть, плохой женский глаз, я вас не понимаю. Говорите, говорите в присутствии господина кюре, — вы знаете, он мой руководитель.

— Хорошо, мадемуазель, — вот что пишет мне де Грассен. Прочтите.

Евгения прочла следующее письмо:

«Дорогая жена, Шарль Гранде прибыл из Ост-Индии; он уже месяц как живет в Париже...»

«Месяц!» — повторила про себя Евгения, опуская руку.  
После остановки она снова принялась за письмо.

«Мне пришлось два раза ждать в передней, прежде чем я добился разговора с этим будущим графом д'Обрион. Хотя весь Париж говорит об его свадьбе и уже сделано церковное оглашение...»

«Значит, он писал мне в ту самую минуту, когда...» — подумала Евгения.

Она не кончила, не воскликнула, как парижанка: «Негодяй!» Но презрение, хоть и не выраженное, было оттого не менее полным.

«...до свадьбы еще далеко: маркиз д'Обрион не отдаст дочери за сына несостоятельного должника. Я пришел сообщить Шарлю, как мы, его дядя и я, заботились о делах его отца и какими ловкими ходами нам удавалось до сих пор успокаивать кредиторов. У этого наглого мальчишки хватило совести ответить мне — целых пять лет денно и ночью отстаивавшему его интересы и его честь, — что *отцовские дела его не касаются!* Поверенный имел бы право потребовать с него тридцать — сорок тысяч франков гонорара — один процент с суммы долга. Но посмотрим! Он должен самым

законным образом миллион двести тысяч франков кредиторам, и я сделаю так, что его отца объявят несостоятельным. Я ввязался в дело, доверяясь на слово старому крокодилу Гранде, и надавал обещаний от имени этой семьи. Если граф д'Обрион мало заботится о своей чести, то моя честь для меня весьма не безразлична. Поэтому я объясню кредиторам, в какое попал положение. Однако я слишком уважаю мадемуазель Евгению, с которой в лучшие времена мы думали породниться, и не хочу действовать раньше, чем ты поговоришь с нею об этом деле...»

Тут Евгения холодно вернула письма, не дочитав его.

— Благодарю вас, — сказала она г-же де Грассен, — *мы посмотрим...*

— Сейчас у вас голос точь-в-точь как у покойного отца, — сказала г-жа де Грассен.

— Сударыня, нам следует получить с вас восемь тысяч сто франков золотом, — напомнила ей Нанета.

— Совершенно верно. Будьте любезны пойти со мной, г-жа Корнуайе.

— Господин кюре, — сказала Евгения с благородным самообладанием, внушенным ей мыслью, которую она собиралась выразить, — было бы это грехом оставаться в состоянии девства, будучи замужем?

— Это вопрос совести, решение которого мне неизвестно. Если вы желаете знать, что думает об этом в своем компендиуме «De matrimonio» («О браке») знаменитый Санчес, я мог бы сказать вам это завтра.

Кюре ушел. Евгения поднялась в отцовский кабинет и провела там целый день в одиночестве, не пожелав сойти к обеду, несмотря на настояния и просьбы Нанеты. Она появилась только вечером, когда собрались обычные члены ее кружка. Никогда салон семейства Гранде не был так полон, как в этот вечер. Новость о возвращении и глупой измене Шарля распространилась по всему городу. Но как ни чутко было любопытство посетителей, оно осталось неудовлетворенным. Евгения приготовилась к этому и не дала проступить на спокойном лице своем ни единому из волновавших ее жестоких переживаний. Она с улыбкой на лице отвечала тем, кто хотел выразить ей участие грустным взглядом или словами. Она сумела также скрыть свое несчастье под покровом любезности. Около девяти часов игра кончилась, игроки отходили от столов, рассчитываясь и споря о последних ходах виста, и присоединились к кружку собеседников. В ту минуту, когда гости поднялись все разом, чтобы разойтись, произошло неожиданное событие, нашумевшее по всему Сомюру, а оттуда по округу и по четырем соседним префектурам.

— Останьтесь, господин председатель, — сказала Евгения г-ну Бонфону, увидя, что он взялся за трость.

При этом слове не оказалось никого в этом многочисленном собрании, кто бы не почувствовал волнения. Председатель побледнел и принужден был сесть.

— Председателю — миллионы, — сказала мадемуазель де Грибокур.

— Ясно, председатель де Бонфон женится на барышне Гранде, — воскликнула г-жа д'Орсонваль.

— Вот лучшая ставка за всю игру, — сказал аббат.

— Большой шлем, — сказал нотариус.

Каждый сострил, сказал свой каламбур. Всем представлялась наследница, возвышающаяся на своих миллионах, как на пьедестале. Драма, начавшаяся девять лет назад, подходила к развязке. Предложить перед лицом всего Сомюра председателю остаться — разве это не значило объявить, что он ее избранник? В маленьких городах приличия строго соблюдаются, и такого рода нарушение их равносильно самому торжественному обещанию.

— Господин председатель, — сказала Евгения взволнованным голосом, когда они остались одни, — я знаю, что нравится вам во мне. Поклянитесь мне оставить меня свободной на всю мою жизнь, не напоминать мне ни об одном из прав, какие женитьба дала бы вам на меня, и рука моя — ваша. О, — продолжала она, видя, что он становится на колени, — я не все сказала. Я не должна вас обманывать, сударь. Я ношу в своем сердце неугасимое чувство. Дружба будет единственным чувством, каким я смогу одарить своего мужа: я не хочу ни оскорблять его, ни поступать против велений моего сердца. Но я отдам вам свою руку и свое состояние только при условии, что вы окажете мне одну огромную услугу.

— Вы видите, я готов на все.

— Вот полтора миллиона франков, господин председатель, — сказала Евгения, доставая спрятанный на груди ордер на получение ста акций государственного банка. — Поезжайте в Париж не завтра, не этой ночью, а сию минуту. Отправьтесь к господину де Грассену, узнайте у него имена всех кредиторов моего дяди, соберите их, уплатите все до одного оставшиеся после него долги, — капитал и пять процентов на него со дня долга до дня платежа; наконец сообразовайте получить общую нотариальную расписку с соблюдением всех формальностей. Вы служите в судебном ведомстве, вам одному доверяюсь я в этом деле. Вы человек верный, порядочный. Опираясь на веру в ваше слово, пройду я через опасности жизни под защитой вашего имени. Мы оба будем снисходительны друг к другу. Мы знакомы так давно, мы почти родные, — вы не захотите сделать меня несчастной.

Председатель упал к ногам богатой наследницы, трепеща от радости и томления.

— Я буду вашим рабом, — произнес он.

— Получив расписку, — продолжала она, бросая на него холодный взгляд, — вы отнесете ее со всеми оправдательными документами моему кузену Гранде и передадите ему вот это письмо. Когда вы возвратитесь, я сдержу слово.

Председатель понял, что рукою барышни Гранде он обязан оскорбленной любви, и он поспешил исполнить ее приказания с величайшей быстротой, чтобы как-нибудь не произошло примирения между влюбленными.

Когда г-н де Бонфон ушел, Евгения упала в кресло, заливаясь слезами. Все было кончено.

Председатель сел в дилижанс и на другой день вечером был уже в Париже. Наутро он отправился к де Грассену. Чиновник собрал кредиторов в конторе нотариуса, где хранились долговые обязательства. Займодавцы явились все до одного. Хотя это были кредиторы, надо отдать им справедливость: они были точны. Здесь председатель де Бонфон от имени мадемуазель Гранде уплатил им должный капитал и проценты. Уплата процентов была одним из удивительнейших событий в парижском коммерческом мире того времени. Получив расписку, засвидетельствованную нотариусом, уплатив де Грассену за его хлопоты пятьдесят тысяч франков, назначенные Евгенией, председатель отправился в особняк д'Обрионов и застал Шарля, когда он входил к себе в покои, удрученный объяснением с тестем. Старый маркиз только что заявил, что выдаст свою дочь за Шарля лишь в том случае, если все кредиторы Гильома Гранде будут удовлетворены.

Председатель прежде всего передал ему следующее письмо:

«Кузен, господин председатель де Бонфон по моей просьбе вручит вам расписку кредиторов в уплате им всех долгов моего дяди, а также расписку, которой я удостоверяю, что эти суммы получила от вас. До меня дошел слух о возможном объявлении банкротства. Я подумала, что сын банкрота, пожалуй, не мог бы вступить в брак с мадемуазель д'Обрион. Да, кузен, вы правильно рассудили о моем уме и моих манерах: нет во мне ничего светского. Ни расчеты, ни нравы света мне незнакомы, и в свете я не могла бы доставить вам те удовольствия, какие вы хотите там найти. Будьте счастливы, следуя общественным условностям, которым вы приносите в жертву нашу первую любовь. Чтобы сделать ваше счастье полным, самое большее, чем я могу вас одарить, — это честь вашего отца. Прощайте! Вам всегда будет верным другом ваша кузина

*Евгения».*

Председатель улыбнулся, услышав восклицание, от которого не мог удержаться этот честолюбец, получив в руки подлинный акт.

— Мы может объявить друг другу о наших свадьбах, — сказал он Шарлю.

— А, вы женитесь на Евгении? Что же, очень рад, она хорошая девушка. Но, — продолжал он, вдруг пораженный блеснувшей мыслью, — значит, она богата?

— Четыре дня назад, — ответил председатель с насмешливым видом, — у нее было около девятнадцати миллионов, но сегодня у нее только семнадцать.

Шарль смотрел на председателя растерянно.

— Семнадцать... милл...

— Семнадцать миллионов, да, сударь. В общей сложности у нас — у мадемуазель Гранде и у меня — со вступлением в брак будет семьсот пятьдесят тысяч франков дохода.

— Дорогой кузен, — сказал Шарль, несколько придя в себя, — мы сможем продвигать друг друга вперед.

— Согласен, — сказал председатель. — Вот еще ящичек, который и должен лично передать вам, — прибавил он, ставя на стол ларец с туалетными принадлежностями.

— Пожалуйста, дорогой друг, — сказала маркиза д'Обрион, входя и не обращая внимания на Крюшо, — не беспокойтесь несколько о том, что вам сказал сейчас этот бедняга д'Обрион. Его сбила с толку герцогиня де Шолье. Повторяю, ничто не помешает вашей свадьбе...

— Ничто, сударыня, — ответил Шарль. — Три миллиона старых долгов моего отца вчера уплачены.

— Деньгами? — спросила она.

— Полностью, и капитал и проценты. Я восстановлю о нем добрую память.

— Какая глупость! — воскликнула маркиза. — Что это за господин? — спросила она зятя на ухо, заметив Крюшо.

— Мой поверенный, — тихо ответил он.

Маркиза презрительно кивнула г-ну де Бонфону и вышла.

— Мы уже продвигаем друг друга вперед, — сказал председатель, беря шляпу. — Прощайте, кузен.

«Эта сомюрская обезьяна издевается надо мной. Хочется мне воткнуть ему в живот стальную шпагу!»

Председатель ушел.

Через три дня г-н де Бонфон, возвратясь в Сомюр, объявил о своей женитьбе на Евгении. Через полгода он был назначен членом судебной палаты в Анжер. Перед отъездом из Сомюра Евгения отдала переплавить золотые вещицы, бывшие так долго драгоценными для ее сердца, и вместе с восемью тысячами франков своего кузена пожертвовала их приходской церкви на дарохранительни-

цу, — в этой церкви она так усердно молилась за него! С тех пор она жила то в Анжере, то в Сомюре. Супруг ее, выказавший преданность правительству в важных политических обстоятельствах, сделался председателем палаты, а через несколько лет — старшим председателем. С нетерпением ждал он общих выборов, чтобы получить кресло в палате депутатов. Он помышлял уже о звании пэра, и тогда...

— Тогда, значит, король будет его кузеном? — говорила Нанета-громадина, г-жа Корнуайе, сомюрская гражданка, осведомленная хозяйкой о высоких званиях, ей предназначенных.

Однако г-ну председателю де Бонфону (он, наконец, отменил отцовскую фамилию Крюшо) не пришлось осуществить ни одного из своих честолюбивых планов. Он умер через неделю после избрания его в депутаты от Сомюра. Бог, видящий все и никогда не карающий понапрасну, наказывал его, без сомнения, за его расчеты и юридическую изворотливость, с какой он смастерил *assurante Chruchot*<sup>1</sup> свой брачный договор, по которому оба будущих супруга отдавали друг другу, «*в случае отсутствия детей, в полную собственность всю совокупность своего движимого и недвижимого имущества, ничего не исключая и не выделяя из него, освобождаясь даже от формальной описи, причем опущение вышеуказанной описи не может служить поводом для отвода из наследников или лиц частных, ввиду того, что упомянутая отдача в собственность...*» и т. д.

Эта концовка достаточно объясняет глубокое и постоянное уважение председателя к воле и одиночеству г-жи де Бонфон.

Дамы приводили в пример господина первого председателя как одного из деликатнейших людей, жалели его и часто доходили даже до порицания скорби и страстной любви Евгении, но так, как они умеют осуждать женщину, — с жесточайшей бережностью.

— Должно быть, госпожа председательница де Бонфон очень больна, что оставляет мужа в одиночестве. Бедненькая! Скоро ли она выздоровеет? Что у нее — гастрит или рак? Почему она не обратится к врачам? Она в последнее время прямо пожелтела. Ей следовало бы поехать в Париж посоветоваться с тамошними знаменитостями. Как может она не желать ребенка? Говорят, она очень любит мужа. Как при его положении не дать ему наследника? Знаете, ведь это ужасно! А если это из каприза, так уж заслуживало бы всякого осуждения... Бедный председатель!

Наделенная тонкой чуткостью, которая развивается у одинокого человека благодаря постоянным размышлениям и той исключительной зоркости, с какой он схватывает все, что попадает в поле его зрения, Евгения, приученная несчастьем и опытом последних лет

<sup>1</sup> С помощью Крюшо (лат.).

все угадывать, знала, что председатель желал ее смерти, чтобы оказаться владельцем огромного состояния, еще увеличенного наследствами дяди-нотариуса и дяди-аббата, которых богу заблагорассудилось призвать к себе. Бедная затворница жалела председателя. Провидение отомстило за нее супругу, расчетливо и позорно-равнодушно оберегавшему, как свое крепчайшее обеспечение, безнадежную страсть, которой жила Евгения. Дать жизнь ребенку — не значило ли убить надежды эгоизма, радости честолюбия, лелеемые первым председателем? И вот бог бросил груды золота своей пленнице, равнодушной к золоту и стремившейся к небу, благочестивой, доброй женщине, которая жила святыми помыслами, втайне не переставая помогать несчастным.

Госпожа де Бонфон стала вдовою в тридцать шесть лет, с богатством, дававшим восемьсот тысяч ливров дохода, еще красивою, но как бывает красива женщина лет под сорок. У нее белое, свежее, спокойное лицо. Голос ее мягок и сдержан, манеры просты. В ней все благородные черты страдания, вся святость человека, не загрязнившего себя соприкосновением с житейской грязью, но также и сухость старой девы, и мелочные привычки, создаваемые узким провинциальным существованием.

Несмотря на восемьсот тысяч ливров дохода, она живет все так же, как жила раньше бедная Евгения Гранде, топит печь в своей комнате только по тем дням, когда отец позволял ей, затапливает камин в зале и тушит его, как полагалось по правилам, действовавшим в юные годы ее. Всегда одета, как одевалась ее мать. Сомюрский дом, без солнца, без тепла, постоянно окутанный тенью и исполненный меланхолии — отображение жизни ее. Она тщательно собирает доходы и, пожалуй, могла бы показаться скопидомкой, если бы не опровергала злословия благородным употреблением своего богатства. Основываемые ею богоугодные и благотворительные учреждения, убежище для престарелых и христианские школы для детей, богатая публичная библиотека ежегодно свидетельствуют против скупости, в какой иные упрекают ее. Сомюрские церкви обязаны ей многими украшениями.

Госпожа де Бонфон, в шутку называемая «мадемуазель», всем внушает благоговейное уважение. Это благородное сердце, бившееся только для нежнейших чувств, должно было, однако, подчиниться расчетам людского корыстолюбия. Деньгам суждено было сообщить свою холодную окраску этой небесной жизни и заронить в женщине, которая вся была чувство, недоверие к чувствам.

— Ты одна меня любишь, — говорила она Нанете.

Рука этой женщины врачует тайные раны всех семей. Евгения совершает свой путь к небу в сопровождении сонма добрых дел. Величие ее души скрадывает мелочность, привитую ей воспитанием и навыками первой поры ее жизни. Такова история этой женщины —

женщины не от мира среди мира, созданной для величия супруги и матери и не получившей ни мужа, ни детей, ни семьи.

Несколько дней как заговорили о новом для нее замужестве. Сомюрцы заняты ею и маркизом де Фруафон, родня которого начинает обступать богатую вдову, как некогда делали это Крюшо. Говорят, что Нанета и Корнуайе держат руку маркиза, но в этом нет и тени правды. Ни Нанета, ни Корнуайе недостаточно умны, чтобы понять испорченность света.

*Париж, сентябрь 1833 г.*

## СИЛУЭТ ЖЕНЩИНЫ

*Посвящается Джованни-Карло ди Негро*

Маркиза де Листомэр — молодая женщина, воспитанная в духе Реставрации. У нее твердые принципы, она постится, говеет и тем не менее любит наряжаться, выезжает на балы, в Итальянский театр, в Оперу. Ее духовник позволяет ей сочетать мирское с небесным. Она всегда пребывает в полном согласии и с церковью и с правилами светского общества, — словом, является олицетворением современности, взявшей в качестве девиза слово «законность». В поведении маркизы де Листомэр сказывается столько набожности, что в случае появления новой г-жи де Ментенон \* она могла бы приблизиться к мрачному благочестию последних дней царствования Людовика XIV, и в то же время в ней вполне достаточно суетности, которая могла бы соответствовать галантным нравам первых дней этого царствования, если бы они воскресли. Сейчас она добродетельна из расчета, а может быть и по склонности. Будучи уже в течение семи лет замужем за маркизом де Листомэром, одним из депутатов, ожидающих звания пэра, она, вероятно, полагает, что своим поведением способствует честолюбивым замыслам семьи. Окончательное суждение о ней некоторые женщины откладывают до того времени, когда маркиз де Листомэр станет пэром, а ей исполнится тридцать шесть лет, — возраст, когда большинство женщин начинает убеждаться, что они были обмануты общественными законами. Маркиз — человек довольно незначительный: он на хорошем счету при дворе, его достоинства, как и его недостатки, ничтожны; первые не придают ему ореола добродетели, вторые не создают вокруг него шумихи, этой спутницы пороков. Будучи депутатом, он никогда не выступает; зато голосует он *благонамеренно*. В супружеской жизни он ведет себя так же, как и в палате, а потому слывет за одного из самых образцовых супругов во всей Франции. Ему не

свойственно приходить в восторг, но он и не брюзжит, — только бы не досаждали ему. Друзья прозвали его «пасмурною погодой». Действительно, он не бывает ни слишком радостен, ни слишком мрачен. Он похож на всех министров, чередовавшихся во Франции со времени Хартии \*. Женщине с твердыми житейскими правилами трудно было попасть в лучшие руки. Разве для добродетельной женщины не значит достичь уже многого, выйдя замуж за человека, не способного на легкомыслие? Находились глупцы, осмеливавшиеся во время танца слегка пожать маркизе руку; ответом бывал лишь презрительный взгляд, и всякий ощущал то оскорбительное равнодушие, которое, подобно весенним заморозкам, губит побеги самых радужных надежд. Красавицы, остряки, фаты, повесы, носители древних или просто известных имен, люди высокого полета, люди незначительные — все близ нее тускнели. Она завоевала себе право, не подавая повода к злословию, беседовать так долго и так часто, как ей вздумается, с мужчинами, которые кажутся ей умными. Иные ветреные женщины готовы следовать этому плану в течение семи лет с тем, чтобы впоследствии удовлетворять свои капризы; но приписать такой расчет маркизе де Листомэр значило бы оклеветать ее. Я имел счастье видеть эту чудо-маркизу. Она умеет вести беседу, я умею слушать. Я ей понравился и бываю на ее вечерах. Большого мне не надо. Г-жа де Листомэр ни урод, ни красавица; у нее белые зубы, яркий румянец и алые губы; она высокого роста, стройна; ножки у нее изящные и маленькие, но она не выставляет их напоказ; глаза у нее не тусклые, как у большинства парижан, а излучают мягкий свет, который чарует, если она невзначай оживится. Сквозь эту неопределенную внешность угадывается душа. Если маркиза увлечена беседой, то из-под внешней сдержанности выступает скрытое в ней обаяние, и тогда она становится пленительной. Она не гонится за успехом, но пользуется им. Ведь всегда находишь то, чего не ищешь. Это замечание так часто оправдывает себя, что со временем станет поговоркой. Оно-то и будет моралью этого романтического происшествия, которое я не позволил бы себе рассказать, если бы отзвук его сейчас не звучал во всех парижских салонах.

Около месяца назад маркиза де Листомэр танцевала с молодым человеком столь же скромным, сколь ветреным, обладающим множеством достоинств, но обнаруживающим лишь свои недостатки; он страстен, но над страстями издевается; одарен, но одаренность свою скрывает; корчит ученого с аристократами и аристократа с учеными. Эжен де Растиньяк принадлежит к числу очень рассудительных молодых людей, пробующих свои силы на всем и словно прощупывающих настоящее, чтобы узнать, что сулит грядущее. Пока еще не пробил для него час честолюбия, он над всем издевается; он изящен и оригинален — два редких свойства, ибо одно исключает

другое. Он около получаса беседовал с маркизой де Листомэр, но не рассчитывал на успех. Пользуясь непринужденностью беседы, перешедшей от оперы «Вильгельм Телль» к вопросу об обязанностях женщин, он несколько раз поглядывал на маркизу так, словно хотел поцеловать ее; затем отошел от нее и уже за весь вечер не сказал с ней ни слова. Он танцевал, играл в экарте, оказался в небольшом проигрыше и отправился спать. Имею честь уверить вас, что все произошло именно так. Я ничего не преувеличиваю и ничего не преуменьшаю.

На следующее утро Растиньяк проснулся поздно и долго нежился в постели, предаваясь, несомненно, тем утренним грезам, в которых молодой человек мысленно проскальзывает, подобно сильфу, под шелковые, кашемировые или ситцевые пологи. В эти мгновения, чем глубже тело погружено в дрему, тем бодрее дух. Наконец Растиньяк встал, зевая умеренно, как благовоспитанный человек, позвонил слуге, приказал подать чай, выпил его очень много, что покажется вполне естественным любителям этого напитка; людям же, пьющим чай лишь как лекарство, я должен разъяснить, что Эжен в это же время писал письмо. Он сидел удобно и держал ноги не столько на меховом коврикe, сколько на каминной решетке. Как приятно, проснувшись и накинув халат, положить ноги на полированный железный прут, соединяющий двух грифов каминной решетки, и мечтать о любимой! Как я жалею, что у меня нет ни возлюбленной, ни камина, ни халата! Когда все это у меня будет, и о своих наблюдениях рассказывать не стану, а извлеку из них полезный урок.

На первое письмо Эжен потратил каких-нибудь четверть часа; он сложил его, запечатал и, не написав адреса, положил возле себя. Второе, начатое в одиннадцать часов, было окончено только к полудню. Все четыре страницы его были исписаны.

«Эта женщина не выходит у меня из головы»,— думал он, запечатывая второе послание; он положил его около себя, рассчитывая, по-видимому, написать адрес, когда очнется от грез. Запахнув полы узорного халата, он спустил ноги на скамеечку, засунул руки в кармашки красных кашемировых панталон и развалился в удобном мягком кресле с подушками, сиденье которого образовало со спинкой угол в сто двадцать градусов. Он перестал пить чай и сидел неподвижно, устремив взор на позолоченную ручку угольного совка, не видя ни совка, ни ручки, ни позолоты. Он даже не помещивал угли в камине. Какая оплошность! Разве не наслаждение разгрести жар, мечтая о женщинах? Наша мысль ссужает словами голубые язычки пламени, которые, вдруг полыхнув, лепечут в очаге. Толкуешь выразительный и резкий язык *бургуидцев*.

На этом слове задержимся и приведем несведущим людям пояснение одного весьма почтенного этимолога, пожелавшего остаться

неизвестным. *Бургундец* — народное, условное наименование, данное со времен царствования Карла VI тем трескучим вспышкам пламени, которые выбрасывают на ковер или на одежду угольки, зародыш пожара. Огонь, говорят, высвобождает воздушный пузырек, оставленный в сердцевине дерева древесным червем. *Inde amor, inde burgundus*<sup>1</sup>. Боязливо наблюдаешь, как подобно лавине скатываются угли, которые были так старательно уложены между двумя горящими поленьями. О! помешивать угли в камине, когда ты влюблен, — разве это не значит облекать свои мысли в изменчивые образы?

Именно в эту минуту я вошел к Эжену. Он вскочил и воскликнул:

— А, вот и ты, дорогой Орас! \* Давно ты здесь?

— Только что вошел!

— А!

Растиньяк взял письма, надписал на них адреса и позвонил слуге:

— Отнеси это в город.

Жозеф молча отправился. Превосходный слуга!

Мы завели разговор о Морейской экспедиции \*, в которой я намеревался принять участие в качестве врача. Эжен заметил мне, что я многое потеряю, уехав из Парижа, и мы заговорили о безразличных вещах. Думаю, что на меня не посетуют, если я опущу наш разговор.

Около двух часов дня, когда маркиза де Листомэр встала, горничная Каролина подала ей письмо. Маркиза принялась читать его, пока Каролина ее причесывала. (Неосторожность, свойственная многим молодым женщинам!)

«О дорогой, ненаглядный ангел мой, источник жизни и счастья!» Прочитав эти слова, маркиза хотела было бросить письмо в огонь, но ей пришла в голову прихоть, которую всякая добродетельная женщина прекрасно поймет, — узнать, как же закончит мужчина письмо, начатое в таком тоне. Она продолжала читать. Дойдя до четвертой страницы, она, словно утомившись, опустила руки.

— Каролина, пойдите узнайте, кто принес это письмо.

— Сударыня, я приняла его сама от слуги барона де Растиньяка.

Наступило длительное молчание.

— Не угодно ли одеваться?

— Нет.

«Какой нахал!» — подумала маркиза.

Я прошу всех женщин самим сделать комментарии.

Комментарии г-жи де Листомэр закончились тем, что она твердо решила не принимать больше Эжена де Растиньяка, а если встретит

<sup>1</sup> Где любовь, там и бургундец (*лат.*).

его в свете, показать ему более чем презрение, ибо его дерзость была несравнима с тем, что маркизе до сей поры случалось прощать. Первым ее побуждением было сохранить письмо, но, обдумав, она сожгла его.

— Барыня сейчас получила потрясающее любовное письмо и прочла его! — сообщила Каролина ключнице.

— Вот уж этого я от барыни никак не ожидала, — воскликнула изумленная ключница.

Вечером маркиза де Листомэр отправилась к виконтессе де Боссеан, куда, по всей вероятности, должен был приехать и Растиньяк. Это было в субботу, в приемный день виконтессы. Виконтесса находилась в дальнем родстве с г-ном де Растиньяком, и молодой человек не преминет, конечно, посетить ее. Г-жа де Листомэр, приехавшая затем, чтобы уничтожить Эжена своей холодностью, прождала его понапрасну до двух часов ночи. Один очень умный человек, Стендаль, создал оригинальную теорию «кристаллизации» — и она вполне применима к той работе мысли, которая совершалась в маркизе до, во время и после этого вечера.

Четыре дня спустя Эжен бранил своего слугу:

— Вот что, Жозеф, мне придется дать тебе расчет, голубчик.

— Почему, сударь?

— Ты делаешь одни глупости. Куда ты отнес те два письма, которые я дал тебе в пятницу?

Жозеф остолбенел; он замер, как статуя в портале собора, и напряг всю свою память. Вдруг он глупо ухмыльнулся и ответил:

— Сударь, одно я отнес маркизе де Листомэр, на улицу Сен-Доминик, другое вашему поверенному.

— Ты уверен в этом?

Жозеф пришел в совершенное замешательство. Случайно присутствуя при этом, я решил, что мне пора вмешаться.

— Жозеф прав, — сказал я.

Эжен повернулся ко мне.

— Я невольно прочел адреса и...

— И что же? — воскликнул Эжен. — Одно из писем было адресовано госпоже де Нусинген.

— Нет, черт возьми! Я даже подумал, мой милый, что твое сердце перекочевало с улицы Сен-Лазар на улицу Сен-Доминик.

Эжен хлопнул себя ладонью по лбу и усмехнулся. Жозеф сразу понял, что ошибка произошла не по его вине.

А вот и выводы, над которыми все молодые люди должны бы призадуматься. Ошибка первая: Эжену показалось забавным насмеяться г-жу Листомэр недоразумением, сделавшим ее обладательницей письма, которое предназначалось не ей. Ошибка вторая: он отправился к маркизе де Листомэр лишь спустя четыре дня после происшествия, дав, таким образом, возможность мыслям этой добро-

детельной женщины кристаллизоваться. Можно найти тут и еще десяток промахов, но о них лучше умолчать, чтобы предоставить дамам удовольствие объяснить их *ex professo*<sup>1</sup> тем, которые не поняли их сами. Эжен подъезжает к дому Листомэров, но привратник останавливает его, говоря, что маркизы нет дома. Он уже снова садится в экипаж, но тут как раз подходит маркиз.

— Идемте к нам, Эжен; жена у себя.

Не осуждайте маркиза! Ведь как бы хорош ни был муж, он редко достигает совершенства. Только поднимаясь по лестнице, Растиньяк осознал те десять ошибок против светской логики, которые он сделал на этой странице чудесной книги своей жизни. Когда г-жа де Листомэр увидела Эжена, входившего с ее мужем, она невольно покраснела. Молодой человек заметил этот внезапный румянец. Если даже самый скромный мужчина не лишен некоторого налета самовлюбленности, как женщина — роковой кокетливости, то кто же осудит Эжена за то, что он подумал: «Как, и эта крепость взята?» Он приосанился. Молодым людям не свойственна алчность, но все же они никогда не отказываются от трофеев.

Господин де Листомэр взял «Газетт де Франс», которую заметил на камине, и удалился к окну, чтобы при содействии журналиста выработать собственное мнение о положении дел во Франции. Женщина, даже самая застенчивая, умеет быстро выйти из любого затруднительного положения; кажется, будто у нее всегда под рукой фиговый листок, данный ей нашею праmaterью Евой. Когда Эжен, истолковав в свою пользу нежелание принять его, довольно развязно поклонился маркизе, она уже успела скрыть свои мысли за одной из женских улыбок, которые еще загадочнее, чем слово короля.

— Вы были нездоровы, сударыня? Мне сказали, что вы не принимаете.

— Нет, сударь.

— Может быть, вы собирались из дому?

— Тоже нет.

— Вы ждали кого-нибудь?

— Никого.

— Если мой визит некстати, вините в этом только маркиза. Я повиновался вашему таинственному запрету, но он сам пригласил меня переступить порог святилища.

— Господин де Листомэр не был посвящен в мои дела. Иногда из осторожности не посвящаешь мужа в некоторые тайны...

Твердый и кроткий тон маркизы, внушительный взгляд, которым она окинула Растиньяка, зародили в нем мысль, что он, пожалуй, торжествует преждевременно.

— Сударыня, я понимаю вас,— сказал он смеясь.— Значит,

---

<sup>1</sup> Со знанием дела (*лат.*).

я должен вдвойне радоваться тому, что встретил маркиза: он предоставил мне случай оправдаться перед вами, что было бы рискованно, не будь вы воплощенной добротой.

Маркиза удивленно взглянула на барона, но ответила с достоинством:

— Сударь, лучшим извинением для вас было бы молчание. Что же касается меня, то обещаю вам полное забвение. Такое великодушие вы вряд ли заслужили.

— Сударыня,— живо возразил Растиньяк,— прощение излишне там, где нет оскорбления! Письмо,— добавил он, понизив голос,— полученное вами и показавшееся вам столь неприличным, предназначалось не вам.

Маркиза не могла сдержать улыбки, так ей хотелось быть оскорбленной.

— Зачем лгать,— сказала она снисходительно-насмешливым тоном, но довольно мягко.— Теперь, когда я вас пожурила, я охотно посмеюсь над этой уловкой, не лишенной коварства. Я знаю, есть простушки, которые легко попались бы на эту удочку. «Боже мой! как он влюблен!» решили бы они.— Маркиза принужденно засмеялась и добавила снисходительно:— Если вы хотите, чтобы мы остались друзьями, не будем говорить об «ошибках»; меня так легко не проведешь.

— Но даю вам слово, сударыня, вы заблуждаетесь гораздо сильнее, чем думаете,— живо возразил Эжен.

— О чем вы там толкуете?— спросил г-н де Листомэр, который прислушивался к разговору, но никак не мог проникнуть в его гуманную сущность.

— Да вам это неинтересно,— ответила маркиза.

Господин де Листомэр спокойно продолжал читать, потом сказал:

— Ах! госпожа де Морсоф скончалась. Ваш бедный брат, по всей вероятности, находится в Клошгурде.

— Понимаете ли вы, сударь, что вы сказали мне дерзость? — проговорила маркиза, обращаясь к Эжену.

— Если бы я не знал строгости ваших житейских правил,— наивно ответил он,— то подумал бы, что вы или хотите приписать мне мысли, которые я решительно отрицаю, или задумали вырвать у меня мою тайну. А может быть, вы желаете посмеяться надо мной?

Маркиза улыбнулась. Эта улыбка вывела Эжена из себя.

— Я был бы счастлив, сударыня, если бы вы и в дальнейшем продолжали верить в это «оскорбление», хоть я в нем и неповинен. Надеюсь, что случай не даст вам возможности встретиться в свете ту, которой было адресовано это письмо.

— Как! неужели это все еще госпожа де Нусинген? — воскликнула маркиза де Листомэр, движимая таким любопытством узнать

тайну, что оно заглушило в ней желание отомстить молодому человеку за его колкость.

Эжен покраснел. В двадцать пять лет еще краснеешь, когда тебе вменяют в вину верность, над которой женщины смеются, чтобы скрыть, как они ей завидуют. Однако Растиньяк ответил довольно сдержанно:

— А почему бы и нет, сударыня?

Вот какие ошибки мы совершаем в двадцать пять лет! Это признание причинило г-же де Листомэр сильнейшее душевное волнение; но Эжен еще не умел читать по женскому лицу, взглянув на него искоса или вскользь. Губы маркизы побелели. Она позвонила и приказала принести дров, давая этим понять Растиньяку, что ему пора уходить.

— Если все это так,— задерживая Эжена, холодно и чопорно сказала она,— то как объясните вы, сударь, почему на конверте вы поставили мое имя? Ведь ошибиться адресом на письме не так легко, как, уезжая с бала, взять по рассеянности чужой цилиндр.

Эжен смущенно и вместе с тем дерзко взглянул на маркизу; он чувствовал, что становится смешон, и, пробормотав какую-то мальчишескую фразу, вышел.

Несколько дней спустя маркиза убедилась, что Эжен говорил правду. Вот уже шестнадцать дней, как она не выезжает в свет.

На все вопросы о причине этого затворничества маркиз отвечает: «У моей жены гастрит».

Но я лечу ее, мне известна ее тайна; я знаю, что у нее лишь легкое нервное расстройство, которым она и воспользовалась, чтобы не выезжать.

*Париж, февраль 1830 г.*

## ВТОРОЙ СИЛУЭТ ЖЕНЩИНЫ

*Леону Гозлану в знак доброго  
литературного содружества.*

В Париже балы и рауты обычно заключают в себе два рода иваного вечера. Первый — официальный, на нем присутствуют приглашенные, общество изысканное, скучающее. Тут каждый рисуется перед соседом. Большинство молодых женщин приезжает ради кого-нибудь одного. После того как каждая из них убедится в том, что в глазах избранника она прекраснее всех и что мнение это разделяется еще некоторыми гостями; после того как собравшиеся перекинутся пустыми фразами вроде таких: «Когда вы собираетесь в Крампад?» — «Как прелестно пела госпожа де Портандюэр!» — «Кто эта маленькая женщина, вся в бриллиантах?» — или бросят несколько язвительных замечаний, одним доставляющих мимолетное удовольствие, а других глубоко ранящих, — группы приглашенных постепенно редуют, посторонние разъезжаются, свечи догорают в рюстках. Тогда хозяйка дома удерживает несколько артистов, весельчаков, друзей, говоря: «Оставайтесь. Мы поужинаем в тесном кругу». Все собираются в маленькой гостиной. Начинается второй и уже настоящий, званый вечер, где, как в прежние времена, каждый внимателен друг к другу. Беседа становится общей, тут поневоле делаешься остроумным и принимаешь участие в общем оживлении; все выступает ярче, чванливость, которая в обществе иной раз омрачает и самые прекрасные лица, сменяется искренним смехом. Словом, веселье начинается только после того, как кончится раут. Раут, этот надменный парад роскоши, этот церемониальный марш самомнения, является одною из тех английских выдумок, которые стремятся обратить в машину и другие нации. Англия хочет, чтобы весь мир скучал, как она, и не меньше, чем она. Таким образом, в некоторых домах Франции этот второй вечер выливается в радостный протест былого духа нашей жизнерадостной

страны. Но, к сожалению, мало кто протестует, и причина этому проста: званые ужины стали теперь редки потому, что ни при каком режиме не бывало так мало людей обеспеченных, утвердившихся и достигших прочного положения, как в царствование Луи-Филиппа, когда революция возродилась легально. Все стремятся к какой-нибудь цели или торопятся разбогатеть. Время, говорят, теперь стало дороже денег, и никто не имеет возможности с чудесной расточительностью тратить его, возвращаясь домой под утро и вставая за полдень. Поэтому поздние ужины бывают лишь у женщин богатых, которым под силу иметь открытый дом. С июля 1830 года такие женщины в Париже наперечет. Несмотря на молчаливую оппозицию Сен-Жерменского предместья, две-три женщины — среди них маркиза д'Эспар и мадемуазель де Туш — не пожелали отказаться от влияния, которое они оказывали на парижское светское общество, и не закрыли своих салонов.

Салон мадемуазель де Туш, столь известный в Париже, — последнее убежище, где нашло приют старинное французское остроумие с его скрытой глубиной, с тысячью его уловок и изысканной учтивостью. Там вы еще можете встретить утонченное обхождение, невзирая на условность манер; можете услышать непринужденный разговор, вопреки сдержанности, присущей людям хорошо воспитанным, а главное, — там вы найдете богатство мыслей. Там никто не думает приберечь какую-нибудь свою идею для драмы; никто, слушая рассказ, не намеревается создать из него книгу. Одним словом, там перед вами не возникает поминутно отвратительный скелет литературы, подстерегающей случайную добычу — удачную, остроумную фразу или занимательный сюжет. Воспоминание об одном из таких званых вечеров крепко врезалось мне в память, — причина тому откровенные признания знаменитого де Марсе, в которых он вскрыл тогда один из самых сложных тайников женского сердца, а главное, вызванный его рассказом обмен мнений о переменах, происшедших во французской женщине со времени злополучной Июльской революции.

На этом вечере случайно собралось несколько человек, стяжавших неоспоримыми заслугами европейскую славу. Это не лесть по отношению к Франции, — среди нас находилось и несколько иностранцев. Впрочем, более всего блистали в разговоре люди не самые знаменитые. Находчивые реплики, тонкие замечания, прелестные шутки, образы, очерченные с поразительной четкостью, рождались как будто произвольно, расточались пренебрежительно, но без снобизма. Их тонко понимали и тонко оценивали. Люди светские вносили в беседу изящество и совершенно художественное вдохновение. Вы можете и в других странах Европы встретить изящные манеры, приветливость, добродушие и образованность; но только в Париже, только в этом салоне и в тех, о которых я только что

упоминал, вы найдете тот особый ум, который придает всем этим качествам приятное и причудливое единство. Не знаю, что за подводное течение так легко управляет этим потоком мыслей, афоризмов, рассказов, исторических справок. Париж — город изысканного вкуса, ему одному ведома наука превращать банальный разговор в словесный турнир, где в метком слове сквозит природный склад характера, где каждый высказывает свое мнение, в брошенной реплике делится опытом, где все веселятся, отдыхают и изощряются в остроумии. И только здесь вы действительно обмениваетесь мыслями, а не принимаете обезьяну за человека, как дельфин в известной басне \*; здесь вас поймут, и вы не рискуете, поставив ставку золотом, выиграть ломаный грош. Здесь, наконец, коварная откровенность, легкая болтовня и глубокие наблюдения сливаются в живой разговор, который струится, кружится, прихотливо меняет течение и оттенки при каждой фразе. Оживленная критика, рассуждения и сжатые рассказы сменяют друг друга. Здесь говорят и слушают, вопрошают взглядом и на лице читают ответ. Словом, здесь во всем блещет ум, все полно мысли. Никогда еще меня так не пленяла сила удачно задуманного и умело примененного слова, этого орудия актера и повествователя. И не я один подпал под власть этого волшебства, — мы все провели прелестный вечер. Беседа, превратившаяся в повествование, повлекла за собою любопытные признания, наброски портретов, картины безрассудств; эту восхитительную импровизацию, полную естественности, свежести, прихотливости и лукавства, передать невозможно. Но, быть может, вы хоть отчасти поймете очарование настоящего французского званого вечера — в тот его момент, когда самая приятная непринужденность заставляет каждого забыть о своих корыстных интересах, о честности или, если вам угодно, о своих притязаниях.

Около двух часов ночи, когда ужин подходил к концу, за столом оставались только самые близкие знакомые, испытанные пятнадцатью годами дружбы, или люди хорошего вкуса, прекрасно воспитанные, знающие свет. По молчаливому и строго соблюдаемому соглашению всякий в этом доме во время ужина отрекается от своих личных заслуг. Царит полное равенство. Впрочем, здесь собрались люди, из которых каждый мог гордиться собою. Г-жа д'Эспар всегда просит своих гостей не вставать из-за стола, она замечала не раз, что перемена места расхолаживает общее настроение. Переход из столовой в гостиную нарушает очарование. По словам Стерна, мысли писателя, после того как он побрился, отличаются от тех, какие были у него до бритья. Если Стерн прав, то можно смело утверждать, что расположение духа людей, сидящих за столом, иное, чем у людей, вернувшихся в гостиную. Исчезла опьяняющая атмосфера, перед вами уже нет живописного беспорядка десерта, утрачено преимущество той снисходительности, той бла-

гожелательности, которые овладевают нами, когда мы находимся в настроении, присущем человеку сытому, удобно расположившемуся на одном из тех мягких стульев, какие теперь так хорошо делают. Пожалуй, мы охотнее всего беседуем за десертом, наслаждаясь превосходным вином и пользуясь вольностью, разрешающей облокотиться на стол и подпереть голову рукою. В такие минуты каждый любит не только поговорить, но и послушать. Сытый человек бывает, сообразно с характером, или болтлив, или молчалив. Каждый тогда выбирает, что ему приятнее. Это вступление было необходимо, чтобы подготовить вас к обаянию того рассказа, где знаменитый человек, ныне покойный, обрисовал невинное коварство женщины, выказав при этом тонкое лукавство,— эта черта свойственна людям, много выдавшим, и она делает государственных мужей великолепными рассказчиками, если только они, как князь Талейран и Меттерних, снисходят до рассказов.

Де Марсе, назначенный полгода назад премьер-министром, уже успел проявить свои выдающиеся дарования. Те, кто знали его давно, не были удивлены, что он обнаружил таланты и многообразные способности государственного деятеля,— но многих занимала мысль, были ли они результатом сноровки, долгой выучки или открылись в нем неожиданно, в ходе каких-нибудь обстоятельств. Такой вопрос,— разумеется, с философской точки зрения,— и задал ему один умный и наблюдательный человек, бывший журналист, которого он назначил префектом; этот человек восхищался г-ном де Марсе, не примешивая к своему восхищению ни капли едкой критики, которая в Париже оправдывает в глазах выдающихся людей их восхищение другими выдающимися людьми.

— Был ли в вашей жизни случай, мысль, желание, подсказавшие вам ваше призвание? — спросил Эмиль Блонде.— Ведь у всех нас, как у Ньютона, есть свое яблоко, которое, падая, указывает нам, на какой почве разовьются наши способности.

— Да, был,— ответил де Марсе,— и я сейчас расскажу вам об этом.

Красавицы, политические денди, художники, старики, близкие друзья де Марсе — все уселись поудобнее, каждый, как привык, и сосредоточили внимание на премьер-министре. Слуг в комнате уже, конечно, не было, двери были закрыты и портьеры задернуты. Воцарилась такая тишина, что со двора доносился говор кучеров и удары копыт — лошади рвались к себе в конюшни.

— Положение государственного деятеля, друзья мои, поддерживается лишь одним качеством,— сказал министр, играя золотым с перламутром ножом: — он всегда должен уметь владеть собой, учитывать любой исход, каким бы неожиданным он ни был для него, одним словом, он должен таить в себе существо холодное и бесстрастное, которое в качестве зрителя присутствует при всех тревогах

его жизни, при его страстях, переживаниях и подсказывает ему по поводу всего приговор, почерпнутый из некоей таблицы моральных вычислений.

— Вы объясняете этим, почему во Франции так редки государственные мужи,— заметил старый лорд Дэдлей.

— С точки зрения чувств это ужасно,— вновь заговорил министр.— Ужасно, если нечто подобное проявляется у молодого человека. (Ришелье, предупрежденный накануне письмом об опасности, грозящей Кончини, спал до полудня, хотя знал, что в десять часов утра должны убить его благодетеля.) Такой молодой человек, будь он Питтом или Наполеоном,— явление чудовищное. Я таким чудовищем сделался очень рано, и благодаря женщине.

— А я думала,— сказала г-жа де Монкорне улыбаясь,— что мы, женщины, чаще портим политических деятелей, чем способствуем их появлению.

— Чудовище, о котором идет речь, потому только и чудовище, что сопротивляется вам,— сказал рассказчик, иронически поклонившись.

— Если речь идет о любовном приключении, то прошу не прерывать рассказчика никакими рассуждениями,— сказала баронесса де Нусинген.

— Рассуждения в любви неуместны! — воскликнул Жозеф Бридо.

— Мне было семнадцать лет,— продолжал де Марсе,— Реставрация упрочилась; мои старые друзья знают, каким я был в ту пору пылким и страстным. Я любил впервые и теперь могу признать, что я был одним из самых красивых молодых людей в Париже. Красота и молодость — два случайных преимущества, которыми мы гордимся, словно победой. О прочем я вынужден молчать. Как большинство юношей, я был влюблен в женщину старше меня,— на шесть лет. Никто из вас,— сказал он, оглядывая сидящих за столом,— не подозревает ее имени и не узнает его. В ту пору Гонкероль был единственным человеком, проникшим в мою тайну, но он честно сохранил ее. Я несколько побаивался его усмешки, но он ушел,— сказал министр, оглядываясь кругом.

— Он не захотел остаться ужинать,— сказала г-жа де Серизи.

— Целых полгода я был одержим любовью и не понимал, что эта страсть господствует надо мной,— продолжал премьер-министр,— я весь отдавался восторженному поклонению, ведь в нем и торжество и хрупкое счастье юности. Я хранил *ее* старые перчатки; словно вином, упивался ароматом цветов, которыми *она* украшала себя; вставал по ночам, чтобы взглянуть на *ее* окна. Вся кровь прилиwała мне к сердцу, когда я вдыхал запах духов, которыми *она* душилась. Я был далек от мысли, что пылкие, как огонь, женщины таят в груди черствое сердце.

— О, избавьте нас от ваших ужасных сентенций! — улыбнувшись, сказала г-жа де Кан..

— Мне кажется, в ту пору я испепелил бы презрением философа, который высказал эту страшную и глубоко правдивую мысль, — заметил де Марсе. — Все вы люди пронизательные, и мне нет надобности развивать ее. То, что я сказал, напомнит вам ваши собственные безрассудства. Моим кумиром была знатная дама из самого высшего общества, и вдобавок бездетная вдова (о, тут все сочеталось!). Ради меня она уединялась в своих покоях, чтобы вышивать на моем белье метки из своих волос. Одним словом, на мои безумства она отвечала безумствами. Как же не поверить страсти, если она подтверждается безумствами? Мы приложили все старание, чтобы скрыть от света нашу любовь, такую полную, такую дивную. Нам это удалось. И какое очарование таилось в наших похождениях! Об этой женщине я не скажу вам ни слова. Она была в ту пору безупречно красивой и долго еще считалась одной из самых прекрасных женщин Парижа. А тогда за один ее взгляд многие готовы были пожертвовать жизнью. Ее материальное положение было вполне удовлетворительно для женщины влюбленной и обожаемой, однако оно не соответствовало ее знатному имени и тому блеску, которым она была обязана Реставрации. Я был настолько самоуверен, что не питал относительно нее никаких подозрений. Хотя я и был ревнив, как сто двадцать Отелло, это ужасное чувство дремало во мне, как золото в самородке. Я велел бы своему слуге отколотить меня палкой, если бы во мне зародилась хоть тень подлого сомнения в чистоте этого ангела, такого хрупкого и такого сильного душой, такого белокурого и наивного, невинного и чистосердечного, чьи голубые глаза с такой прелестной покорностью позволяли моему взору проникать в глубь ее сердца. Никогда никакой фальши в позе, во взгляде или в слове. Всегда беленькая, свежая, всегда готовая ответить на ласку возлюбленного, как лилия Востока из «Песни песней»! Ах, друзья мои, — горестно воскликнул министр, вновь превращаясь в юношу, — нужно очень сильно удариться головой и набить себе шишку, чтобы рассеялась эта поэзия!

Этот искренний вопль души нашел отклик среди гостей и еще сильнее подстрекнул их любопытство, уже и без того искусно возбужденное рассказчиком.

— Каждое утро, оседлав великолепного скакуна Султана, которого вы прислали мне из Англии, — сказал он, повернувшись к лорду Дэдлей, — я гарцевал на нем около ее коляски. Экипаж нарочно ехал шагом, и букет, который она держала в руках, служил условным знаком, на тот случай, если нам не удастся наскоро обменяться словами. Мы почти каждый вечер встречались в свете, и она ежедневно писала мне, но, чтобы опровергнуть малейшие подозрения и обмануть наблюдавших за нами, мы выработали

особый образ действий. Не смотреть друг на друга, избегать друг друга, говорить друг о друге дурное, слишком откровенно любоваться и расхваливать друг друга или прикидываться отвергнутым,— все эти старые уловки ничего не стоят! Гораздо лучше выказывать притворную страсть к какой-нибудь безразличной тебе особе и учтивое равнодушие к твоему кумиру. Если двое любовников станут играть в эту игру, свет всегда будет одурачен ими. Но они должны быть очень уверены друг в друге. Она в качестве ширмы избрала сановника, бывшего тогда в милости при дворе, человека очень сдержанного и набожного. У себя она никогда его не принимала. Комедия разыгрывалась для простаков в светских гостиных, где ее находили забавной. Между нами не было разговоров о браке. Шесть лет разницы могли тревожить ее, о моем состоянии ей ничего не было известно,— я всегда умалчивал о нем из принципа. Что же касается меня, то я был очарован ее умом, ее манерами, ее образованностью, знанием света и, не колеблясь, женился бы на ней. Однако ее сдержанность нравилась мне. Если бы она первая заговорила со мной о браке, то, может быть, эта утонченная женщина показалась бы мне вульгарной. Полгода полного, безоблачного счастья, бриллиант чистой воды — вот доля любви, предопределенная мне судьбой в этом брэнном мире. Однажды утром, страдая ломотой во всем теле, предвещающей простуду и лихорадку, я написал ей записку, прося перенести на другой день один из наших тайных праздников, которые, как жемчужины в море, скрыты от глаз под кровлями Парижа. Отправив письмо, я стал терзаться раскаянием. «Она не поверит, что я болел!» — подумал я. Надо вам сказать, что она притворялась ревнивой и подозрительной. Если вы действительно ревнуете — значит любите по-настоящему, — добавил де Марсе.

— Почему? — быстро спросила княгиня де Кадиньян.

— Истинная и единственная любовь порождает физическое равновесие, вполне соответствующее тому созерцательному состоянию, в которое впадаешь. Тогда разум все усложняет, работает самостоятельно, измышляет фантастические терзания и придает им реальность. Такая ревность столь же прекрасна, сколь стеснительна.

Иностраннный посол улыбнулся какому-то своему воспоминанию, подтвердившему справедливость этого замечания.

— «Кроме того, говорил я себе, зачем терять минуты счастья? — продолжал рассказ де Марсе.— Не лучше ли поехать на свидание даже больным? Узнав, что я болел, она, конечно, способна приехать ко мне и может себя скомпрометировать». Сделав над собой усилие, я пишу ей второе письмо и везу его сам, так как мой доверенный слуга уже ушел. Нас разделяла река, и мне надо было пересечь весь Париж. Наконец на довольно значительном расстоянии от ее особняка я заметил рассыльного и поручил ему тотчас же отнести письмо. У меня явилась счастливая мысль проехать мимо ее дома,

чтобы удостовериться, не получила ли она оба письма одновременно. Когда я подъезжал, в два часа дня, ворота ее особняка распахнулись и впустили экипаж... Чей же он был? Того, кто играл роль ее подставного возлюбленного! Это произошло пятнадцать лет назад, но и сейчас еще, говоря об этом, я, выдохшийся оратор, зачерствевший от государственных дел министр, чувствую, как сжимается мое сердце и мне становится душно. Спустя час я вновь проезжаю мимо ее дома. Экипаж еще стоит во дворе. По всей вероятности, мое письмо лежало у швейцара. Наконец в половине четвертого экипаж отъехал. Мне удалось разглядеть лицо моего соперника: оно было надменно, он не улыбался, но он был влюблен, это было ясно, и, конечно, они говорили о каком-то важном деле. Я отправился на свидание. Владычица моего сердца тоже пришла, была спокойна, невинна, безмятежна. Тут я должен вам признаться, что всегда находил Отелло не только безумцем, но и человеком дурного тона. Только мавр может вести себя подобным образом. Это чувствовал и сам Шекспир, озаглавивший свою пьесу «Венецианский Мавр». Встреча с любимой женщиной таит в себе нечто исцеляющее сердце,— сразу улетучиваются все муки, сомнения, горести. Мой гнев остыл, я снова улыбался. Итак, сдержанность и спокойствие, которые теперь, в мои годы, могли бы оказаться страшным притворством, были просто следствием моей молодости и любви. Совладав со своей ревностью, я нашел в себе силы наблюдать. Но было заметно, что я нездоров, а терзавшие меня страшные сомнения еще способствовали этому впечатлению. Наконец я нашел случай и как бы невзначай спросил: «У вас сегодня никого не было?» — и в объяснение своего вопроса сказал, как я беспокоился, что она, получив мою записку, посвятит этот день приему гостей.

— Ах,— воскликнула она,— только у мужчины может возникнуть такая мысль! Как могла я думать о чем-нибудь ином, кроме твоей болезни? Пока я не получила твою записку, я все придумывала, как бы тебя увидеть.

— И ты была одна?

— Одна,— ответила она простодушно; вероятно, именно такое простодушие и побудило мавра убить Дездемону. Так как моя возлюбленная занимала весь особняк и других жильцов там не было, эти слова являлись ужасной ложью. Одна такая ложь разрушает безграничное доверие, на котором для иных душ зиждется любовь. Чтобы передать вам, что я переживал в это мгновение, следует допустить, что в нас сокрыто какое-то внутреннее существо, для которого наше видимое «я» служит оболочкой. Это существо, блистательное как звезда, нежное как тень, навеки облеклось в траур... Да, я почувствовал, как сухая и холодная рука распростерла надо мной саван тяжкого опыта и навсегда оставила в моей душе горечь, вызываемую первым предательством. Я потупился, чтобы

она не заметила, как я потрясен. Но тут мне пришла тщеславная мысль, которая несколько отрезвила меня: «Если она обманывает, она недостойна тебя!» Я объяснил краску, выступившую на моем лице, и слезы на глазах нездоровьем, и нежное создание пожелало проводить меня домой на извозчике; она опустила в карете шторы и всю дорогу была так ласкова, так нежна, что обманула бы самого венецианского мавра, которого я привел в пример. Действительно, если бы это большое дитя стало еще несколько мгновений колебаться, то всякий догадливый зритель сообразил бы, что он готов просить у Дездемоны прощения. Да и убить женщину — это ребяческая месть. При расставании моя возлюбленная плакала: до того она была огорчена, что не может ухаживать за мной. Ей хотелось быть моим слугой, она завидовала тому счастливцу, и все говорилось ею так гладко, словно было взято из писем Клариссы \* в дни ее счастья! Даже в самой красивой и в самой ангелоподобной женщине всегда скрыта ловкая обезьяна.

Тут все женщины потупились, словно их задела эта жестокая истина, так жестоко высказанная.

— Я не стану говорить, как я провел ночь и всю следующую неделю,— продолжал де Марсе.— Я признал в себе способности государственного человека.

Это было сказано так к месту, что все мы с восторгом посмотрели на него.

— Пересматривая с дьявольской изощренностью все настоящие, жестокие способы мести женщине (а так как мы друг друга любили, то были среди них страшные, непоправимые),— я презирал себя, чувствовал себя вульгарным и бессознательно создавал отвратительный кодекс: кодекс Снисходительности. Отомстить женщине — разве не значит признаться, что, кроме нее, для тебя не существует женщин, что без нее ты не в силах жить? В таком случае можно ли мезтью вернуть ее? А если она нам не необходима, если для нас существуют и другие, то почему не предоставить ей право, которое мы присвоили себе,— право измены? Все эти рассуждения, конечно, относятся только к страсти, иначе они были бы антиобщественны. А неустойчивость страсти убедительнее всего доказывает, насколько необходима нерасторжимость брака. Словно дикие звери, каковы они и есть, оба пола должны быть прикованы друг к другу нерушимыми, неумолимыми и безгласными законами. Уничтожьте мезть, и измена в любви станет пустяком. Те, которые полагают, что для них в целом мире существует лишь одна женщина, должны признавать мезть. Но тогда настоящая мезть только одна,— мезть Отелло. А вот какова была моя мезть.

Эти слова вызвали среди слушателей неумолимое движение, которое журналисты в отчетах о парламентских выступлениях обозначают так: (сильное оживление).

— Излечившись от простуды и от единственной, божественной, чистой любви, я разрешил себе любовное приключение, героиня которого была очаровательна и совсем не похожа на моего ангела-предателя. Я не порвал окончательно с обманщицей, такой сильной и такой ловкой комедианткой, так как не знаю, доставляет ли истинная любовь такие же тонкие наслаждения, как искусный обман. Подобное лицемерие стоит добродетели (я говорю это не для англичанок, миледи, — мягко сказал министр, обращаясь к леди Баримор, дочери лорда Дэдлея). Словом, я старался быть прежним влюбленным. Мне надо было заказать цепочку из нескольких прядей моих волос для моего нового ангела, и я отправился к искусному мастеру, жившему на улице Буше. Этот человек не знал соперников в изготовлении подарков из волос. Я даю его адрес тем, у кого мало волос: у него в мастерской всегда имеются волосы всевозможных оттенков и всяких сортов. Приняв от меня заказ, он показал мне свои работы. Я увидел предметы, стоившие такого кропотливого труда, который превосходит все, что в сказках приписывают феям, и все, что изготовляют каторжники. Он посвятил меня во все причуды моды на волосяные изделия. «Вот уже год, как все неистово увлекаются модой метить белье вышивкой из волос, — сказал он. — К счастью, у меня превосходный подбор волос и умелые вышивальщицы». При этих словах меня кольнуло подозрение; я вынимаю свой носовой платок и говорю: «Так это вышивали у вас из фальшивых волос?» Он взглянул на платок и ответил: «О, конечно, и заказчица была очень требовательна, она пожелала сличить вышивку с оттенком своих волос. Эти носовые платки моя жена метила сама. У вас, сударь, одна из лучших вышивок, которые когда-либо нами выполнялись». До этого последнего луча, осветившего мне всю картину, я все еще верил во что-то, я придавал еще значение женскому слову. Я вышел из мастерской другим человеком. Веру в наслаждение я сохранил, но веру в любовь утратил. Я стал атеистом, как математик. Два месяца спустя я сидел около моей божественной возлюбленной, в ее будуаре, на ее диване, держал ее руку в своей руке, — а ручки у нее были прелестные, — и мы взбирались на альпийские вершины чувств, срывая самые дивные цветы, обрывая лепестки ромашек (всегда бывают минуты, когда обрываешь лепестки ромашек, даже если находишься в салоне и никаких ромашек нет). В минуту самой глубокой нежности, когда сильнее всего любишь, сознание бренности любви так остро, что непреодолимо хочется спросить: «Любишь ли ты меня? Всегда ли будешь любить?» Я воспользовался этим элгическим моментом, таким сладостным, таким опьяняющим, чтобы заставить ее искусно лгать мне, говорить на очаровательном, поэтическом языке влюбленных. Шарлотта расточала сокровища своих лживых фантазий: она не может жить без меня, я для нее — единственный на свете,

она боится надоесть мне, ибо в моем присутствии теряет разум, возле меня все ее способности воплощаются в любовь. К тому же она слишком нежно любит меня, а это внушает ей страх. Полгода она придумывала, как бы привязать меня к себе навеки, но эта тайна известна только богу. Одним словом, я был ее божеством.

Женщины, слушая повествование де Марсе, казалось, были обижены, что он так хорошо их изображает,— он сопровождал рассказ ужимками, качал головой, жеманничал, создавая полную иллюзию женских повадок.

— Я уже готов был поверить этой очаровательной лжи, но, продолжая держать ее влажную ручку в своей руке, спросил: «А когда ты выходишь замуж за герцога?» Удар был так метко направлен, мой взгляд так смело встретил ее взгляд, а рука ее так безмятежно покоилась в моей, что, как ни легко было ее содрогание, скрыть его совсем было невозможно. Она не вынесла моего взгляда, легкий румянец окрасил ее щеки.

— За герцога? Что вы хотите сказать этим? — спросила она, притворяясь глубоко изумленной.

— Мне все известно,— продолжал я,— и, по-моему, вам не следует больше медлить: он богат, он герцог, он более чем набожен,— он верующий. И я вполне убежден, что благодаря его щепетильности вы оставались мне верны. Вы и представляете себе, как для вас важно, чтобы он согрешил перед самим собой и перед богом,— ведь в противном случае вы ничего не добьетесь от него.

— Что это — сон? — воскликнула она, проводя рукой по волосам,— знаменитый жест Малибран, но она опередила Малибран на пятнадцать лет.

— Полно, не ребячься, мой ангел,— сказал я и хотел взять ее за руки, но она с видом недотроги гневно спрятала их за спиной.— Выходите за него замуж, я разрешаю вам,— продолжал я, ответив церемонным *вы* на ее жест.— Больше того, я настаиваю на этом.

— Но,— воскликнула она, падая передо мной на колени,— это какое-то ужасное недоразумение. Я люблю только тебя, проси у меня каких хочешь доказательств.

— Встаньте, дорогая, и окажите мне честь — будьте правдивой.

— Хорошо, как перед богом.

— Сомневаетесь вы в моей любви?

— Нет.

— В моей верности?

— Нет.

— Ну так вот, я совершил величайший грех, я усомнился в вашей любви и в вашей верности. Между двумя страстными свиданиями я начал хладнокровно следить за вами.

— Хладнокровно! — воскликнула она вздыхая.— Довольно, Анри, вы меня больше не любите.

Эта скромная насмешка удвоила ее ярость; даже слезы выступили у нее на глазах.

— Вы опорочили в моих глазах весь мир и жизнь,— сказала она,— вы лишили меня всех иллюзий, вы развратили мое сердце.

Она сказала мне все то, что я имел право высказать ей,— сказала с такой беззастенчивой самоуверенностью, с такой наивной дерзостью, что другой окаменел бы на месте.

— Что будет с нами, несчастными женщинами, в обществе, которое создала нам Хартия Людовика Восемнадцатого! (Судите сами, куда завело ее красноречие!) — Да, мы рождены для страданий. В страсти мы всегда честнее вас. В вашем сердце нет ни капли благородства. Для вас любовь — игра, в которой вы всегда плутуете.

— Дорогая,— ответил я,— относиться к чему-нибудь серьезно в современном обществе — это значит играть в искреннюю любовь с актрисой.

— Какая подлая измена! Она заранее обдумана!

— Нет, она оправдана!

— Прощайте, господин де Марсе,— сказала она,— вы низко обманули меня!

— А будет ли герцогиня помнить обиды, нанесенные Шарлотте? — спросил я смиренно.

— Конечно,— ответила она с горечью.

— Итак, вы меня ненавидите?

Она кивнула головой, а я подумал: «Значит, не все потеряно!» Я ушел, оставив ее в убеждении, что ей есть за что мстить. Знаете, друзья мои, я изучал жизнь мужчин, пользовавшихся успехом у женщин, но полагаю, что ни маршал Ришелье, ни Лозен, ни Людовик де Валуа в первый раз так искусно не отступали, как я. А что касается моего ума и сердца, то именно тут они окончательно определились, и сила воли, с которой я тогда сумел обуздать порывы чувства, заставляющие нас совершать такое множество необдуманных поступков, дала мне то самообладание, которое вам известно.

— Как мне жаль вторую вашу страсть,— сказала баронесса де Нусинген.

От загадочной улыбки, скользнувшей по губам де Марсе, Дельфина де Нусинген покраснела.

— Как все сапфается! — воскликнул барон де Нусинген.

Наивность знаменитого банкира имела такой успех, что даже жена его, которая и была *второй страстью* де Марсе, не могла не засмеяться вместе со всеми.

— Вы все склонны осуждать эту женщину,— сказала леди Дэдлей,— а я понимаю, почему она не считала свое замужество изменой. Мужчины никогда не желают делать различия между постоянством и верностью. Я знаю женщину, о которой рассказывал господин де Марсе, это была одна из ваших последних знатных дам.

— Увы, миледи, вы правы,— сказал де Марсе,— скоро уже пятьдесят лет, как мы присутствуем при непрерывном разрушении социальных различий. Нам следовало бы оградить женщин от этого страшного крушения, но свод законов сравнивал и их. Как ни ужасно то, что я скажу, но сказать это надо: герцогини исчезают, маркизы тоже. А что касается баронесс (прошу прощения у госпожи де Нусинген, которая будет графиней, когда ее муж станет пэром Франции), то к баронессам никогда не относились серьезно.

— Аристократия начинается с виконтессы,— заметил, улыбаясь, Блонде.

— Графини останутся,— вновь заговорил де Марсе,— изящная женщина всегда будет более или менее графиней, графиней времен Империи или графиней новоиспеченной, графиней из старинного дворянства или, как говорят итальянцы, графиней по изысканности. Но что касается знатной дамы, то она исчезла вместе со всем пышным окружением прошлого столетия, вместе с пудрой, с мушками, туфельками без задников, корсажами на планшетах, украшенными множеством пышных бантов. Современные герцогини легко проходят в двери, которые нет надобности расширять для необъятных физж. Империя видела последние платья со шлейфами. Я до сих пор удивляюсь, каким образом монарх, желавший, чтобы паркет его дворцовых покоев подметали атласные и бархатные шлейфы герцогинь, не закрепил за некоторыми семьями при помощи невыблемых законов право первородства. Наполеон не учел последствий своего Кодекса, которым так гордился. Этот человек, создавая новых герцогинь, вызвал к жизни наших современных светских женщин, посредственный продукт его законодательства.

— Когда только что окончивший школу юнец или бездарный журналист пользуется мыслью, словно молотом, она разрушает основы общественного порядка,— сказал граф де Ванденес.— В наше время всякий пройдоха, умеющий пускать пыль в глаза, украсить свою мощную грудь атласным жилетом в виде панцыря, хранить на челе под ниспадающими кудрями печать сомнительной гениальности, умеющий вихлять в лакированных бальных туфлях, шестифранковых шелковых носках и, гримасничая, носить монокль,— будь он писцом у стряпчего, или сыном подрядчика, или побочным сыном банкира,— позволяет себе дерзко с ног до головы оглядывать самую красивую герцогиню, оценивать ее, когда она спускается по лестнице в каком-нибудь театре, и говорить приятелю, одевающемуся у Бюиссона, где мы все одеваемся, и обутому в лакированную обувь, как любой герцог: «Вот, милый мой, великосветская женщина!»

— Вы не сумели создать партию,— сказал лорд Дэдлей,— и у нас еще долго не будет политики. Во Франции много толкуют об упорядочении труда, но вы еще до сих пор не упорядочили собст-

— Вы правы,— сказал русский князь, приехавший в Париж с целью создать себе здесь литературную славу.— Если объяснить некоторые слова, из века в век прибавлявшиеся к вашему прекрасному языку, то можно было бы написать замечательную историю. Например, слово «организовать». Оно создано Империей и включает в себя целиком понятие «Наполеон».

— Но все это не объясняет мне, что же такое светская женщина! — воскликнул молодой поляк.

— Хорошо, я объясню вам это,— ответил Эмиль Блонде графу Адаму.— Вы бродите в ясный, погожий день по Парижу. Уже больше двух часов, но пяти еще нет. Навстречу вам приближается женщина. Первый беглый взгляд, который вы бросаете на нее, для вас как бы предисловие к чудесной книге; вы предчувствуете уже целый мир, изысканный и утонченный. Как ботаник, собирающий по горам и долинам гербарий, вы среди вульгарных парижанок встретили, наконец, редкий цветок. Эту женщину сопровождают двое мужчин с весьма благородной осанкой, из которых по крайней мере один с орденской ленточкой в петлице, или же в десяти шагах за ней следует слуга в будничной ливрее. Она не носит ярких тканей, ажурных чулок, вычурных пряжек на поясе, ни панталон с вышитой оборкой, пенящейся вокруг щиколотки. Она обута в прунелевые башмачки с лентами, переплетающимися на тончайшем шерстяном или шелковом чулке, сером, без узоров, или же в легкие, очаровательно простые полусапожки. Одежда на ней из красивой, но не очень дорогой ткани, и многие мещанки стараются запомнить фасон ее платья. Чаще всего — это редингот, завязывающийся бантами и изящно обшитый петельками из шнура или тонкой вязаной сеточкой. У незнакомки своя особая манера кутаться в шаль или тальму. Она умеет так завернуться в них, что голова ее выступает словно из какого-то панцыря, который мещанку сделал бы похожей на черепаху, но у нашей незнакомки он дает представление о безупречной ее фигуре. Каким образом достигает она этого? Это ее тайна, и она не гонится за патентом изобретателя. Легкая, плавная походка придает ее движениям что-то цельное, гармоничное, и ее формы играют под одеждой с пленительной и опасной грацией. Так в полдень извивается змейка под зеленым покровом шелестящей травы. Кому обязана она — ангелу или демону? — изящной плавностью своих движений, которые колышат длинную черную накидку, шведля кружева по краям и распространяя легкий аромат духов,— я охотно дам ему наименование — ветерок парижанки? Вы сразу узнаете целую науку, сложную науку в расположении складок самой грубой ткани, драпирующей ее плечи, шею, стан так искусно, что кажется, видишь перед собой античную Мнемозину. Ах, как понятен такой женщине рисунок походки,— простите мне это выражение. Вглядитесь, как благопристойно она выступает, обрисо-

пывая под одеждой свой стан, вызывая у прохожего восхищение, смешанное с желанием, но умеряемое глубоким почтением. Когда англичанка пытается итти такой походкой, она похожа на гренадера, атакующего редут. Да, парижанкам принадлежит гений походки! Должно быть, ради них городскому управлению пришлось залить асфальтом тротуары. Эта незнакомка никого не толкнет. С горделивой скромностью ожидает она, чтобы ей уступили дорогу. Особое отличие хорошо воспитанной женщины заметно хотя бы по ее манере придерживать на груди шаль или тальму. Она идет по улицам Парижа, храня скромный и бесстрастный вид, напоминая мадонны Рафаэля в их окружении. Ее осанка, одновременно и спокойная и пренебрежительная, заставляет самого дерзкого денди почтительно посторониться перед ней. Ее изысканно простая шляпка отделана свежими лентами, иногда цветами. Но самые искусные женщины ограничиваются только завязками из лент. Перьев вы на их шляпках не увидите, — перьям приличествует экипаж; цветы привлекают слишком много взглядов. Из-под шляпки выглядывает свежее спокойное личико женщины не чванливой, уверенной в себе; она ни на что не смотрит пристально, но все замечает; всегда удовлетворенное тщеславие придает ее чертам выражение какого-то равнодушия, которое дразнит любопытство. Она знает, что на нее оглядываются все, даже женщины, и проносится мимо них тоненькая, светлая, словно осенняя паутинка. Эта великолепная порода любит самые жаркие широты и самые чистые долготы Парижа. Вы увидите ее между десятой и сто десятой аркадой улицы Риволи на Больших бульварах — от экватора пассажа Панорамы, где процветают изделия Индии, где разложены самые последние новинки промышленности, до мыса Мадлен, в местностях, наименее опошленных буржуазией, между 30-м и 150-м номерами улицы Фобур-Сент-Оноре. Зимой она любит гулять по террасе Фельянов, но не по асфальтовому тротуару, идущему вдоль нее. В хорошую погоду она скользит по аллее Елисейских Полей, окаймленных с востока площадью Людовика Пятнадцатого, с запада — проспектом Мариньи, с юга — тротуарами для пешеходов и с севера — садами предместья Сент-Оноре. Вы никогда не встретите этой прелестной разновидности женщин на северных окраинах улицы Сен-Дени, никогда не увидите ее на Камчатке узких, грязных торговых улочек, и никогда, нигде вы не встретите ее в дождь и холод. Эти цветы Парижа распускаются только при знойной погоде, их ароматом напоены места прогулок, — но бьет пять часов, и они свертываются, как трехцветный вьюнок. Женщины, которых вы встретите позже, несколько похожи на них и пытаются подражать им, но это женщины как бы светские, тогда как прекрасная незнакомка, ваша дневная Беатриче — женщина светская. Трудно иностранцам, дорогой граф, заметить признаки, по которым опытные наблюдатели узнают как бы светских женщин,

до такой степени ловко они маскируются, но парижанам эти различия бросаются в глаза. Это — неумело скрытые застежки, пожелтевшие тесемки шнуровки, видной сквозь прореху корсажа, расстегнувшегося на спине, стоптанные башмаки, отглаженные ленты на шляпе, слишком пышные сборки платья, слишком накрахмаленный турнюр. Вы заметите, что ресницы она опускает как-то неестественно, и все ее манеры выдают какую-то напряженность. Что же касается женщины буржуазного круга, то ее никак не примешь за светскую женщину, — отличие резко подчеркнуто; потому-то наша незнакомка и производит такое сильное впечатление. Буржуазная женщина деловита, выходит из дому в любую погоду, куда-то семенит, спешит, возвращается, не знает — войти ей в магазин или не войти. В тех случаях, когда светская женщина твердо знает, чего она хочет и что ей делать, женщина буржуазная колеблется; она высоко подбирает платье, чтобы перейти канавку, тащит за собой ребенка, и поэтому опасно озирается, остерегаясь экипажей. Она — мать на глазах у всех; она болтает с дочерью, деньги носит в ручной корзиночке, а чулки у нее ажурные. Зимой сверх меховой пелерины она набрасывает боа, а летом поверх шали — шарф, нагромождает в своем туалете одно на другое. Вашу прелестную незнакомку вы увидите у Итальянцев или на балу в Опере. Там она предстанет перед вами в совершенно ином обличье, и вы скажете: «Но это же не она!» Там эта женщина — словно бабочка, выпорхнувшая из своего таинственного кокона. Как самым утонченным лакомством позволяет она вашим взорам наслаждаться лицезрением ее фигуры, которую утром корсаж лишь слегка обрисовывал. В театре она сидит не выше второго яруса, за исключением Итальянской оперы. Вы можете любоваться изысканной плавностью ее движений. Очаровательная плутовка пускает в ход всевозможные женские уловки, но делает это чрезвычайно естественно, — вам и в голову не придет, что все это совершается сознательно, преднамеренно. Если у нее царственно-прекрасная рука, то даже самый проникательный человек поверит, что ей необходимо было закрутить, поправить или отбросить локон или завиток волос, которых она слегка касается. Если у нее прекрасный профиль, то вам покажется, что она насмехается или хвалит, рассказывая что-то соседу, нечаянно придав головке тот излюбленный великими художниками поворот, при котором свет падает на щеку, четко обрисовывается линия носа, освещаются розовые ноздри, сглаживаются очертания слишком выпуклого лба, в глазах, устремленных куда-то вдаль, усиливается их искристый блеск, и светлым бликом выступает белоснежная округлость подбородка. Если у нее хорошенькая ножка, то она, нежась словно кошечка на солнце, опустится на диван, вытянет ножки, и вы в этом положении тела не найдете ничего, кроме самой восхитительной позы, вызванной усталостью. Только светская женщина чувствует

себя непринужденно в своей одежде. Ничто не стесняет ее. Вы никогда не увидите, чтобы она, как буржуазка, натягивала на плечо соскользнувшую с него ленту или вправляла выскочившую из корсета планшетку, или смотрела бы, охраняет ли шейная косынка, этот неверный страж, два белоснежных сокровища, или же смотрелась бы в зеркало, чтобы убедиться, что прическа не растрепалась. Наряд ее всегда соответствует ее внешности. Она, не жалея времени, на досуге изучила себя, устанавливая, что больше всего ей к лицу, и с давних пор хорошо знает, что к ней не идет. Вы не увидите ее при разъезде, она исчезнет до окончания спектакля, а если случайно, спокойная и величественная, она покажется на красном ковре лестницы, то вызовет пылкое восхищение зрителей. Она здесь по чьему-то приказанию, ей надо кому-то бросить украдкой взгляд, получить какое-то обещание. Быть может, она так медленно спускается, чтобы удовлетворить тщеславие раба, которому она порой сама повинется! Встретив ее на каком-нибудь балу или званом вечере, вы насладитесь искусственной нежностью ее вкрадчивого голоса, вас захватит ее пустая болтовня, которой она с неподражаемым умением придаст видимость мысли.

— Разве не надо быть умной, чтобы слыть светской женщиной? — спросил польский граф.

— Ею невозможно быть, не обладая вкусом, — ответила г-жа д'Эспар.

— Во Франции обладать вкусом — это больше, чем обладать умом, — заметил русский князь.

— Ум такой женщины является торжеством искусства пластического, — продолжал Блонде. — Вы не знаете еще, что она скажет, но вы уже очарованы. Покачает ли она головой, или мило пожмет плечами, она уже позолотила незначительную фразу очаровательной улыбкой, гримаской или вложила смысл вольтеровской эпиграммы в восклицания: «Вот как!» или «Неужели?» или «Еще бы!» Поворот ее головы может стать самым пытливым вопросом. Она придает смысл даже тому движению, каким играет флакончиком с духами, подвешенном к кольцу на ее пальце. Все это искусственное величие достигается самыми пустячными мелочами. Вот она небрежно свесила руку с локотника кресла, а вам кажется, что это спадают капли росы с лепестков цветка, и этим все решено; этим движением она сказала свое слово, взволновав даже самых хладнокровных. Она умест вас слушать, она доставляет вам возможность быть остроумным, а ведь такие минуты (я обращаюсь к вашей скромности) бывают редки.

Молодой поляк слушал Блонде с таким простодушным видом, что все рассмеялись.

— Вам достаточно полчаса побеседовать с буржуазной женщиной, и она уже заговорит о своем муже, — продолжал Блонде, не утратив

комической серьезности.— Но если даже вам известно, что ваша светская женщина замужем, у нее хватит такта не занимать вас разговорами о своем супруге, и вам понадобятся усилия Христофора Колумба, чтобы открыть ее мужа среди гостей. Случается, что вам одному сделать это не под силу. Если вам никого не удалось расспросить, то только к концу вечера вы замечаете, как она пристально смотрит на мужчину средних лет, украшенного орденами, который, кивнув головой, выходит: она попросила мужа вызвать экипаж и уезжает. Вы сами отнюдь не цветок, но вы находились в его близости и вернетесь домой в золотистом тумане дивных грез, которые, быть может, продолжатся и в сновидениях, когда Сон своей могучей дланью распахнет ослепительно-белые врата храма Фантазии. Ни одна светская женщина не принимает у себя ранее четырех часов. Она прекрасно понимает, что надо заставить вас подождать ее. Убранство ее дома всегда самое изысканное, в нем роскошь стала повседневностью, всегда свежа и уместна. Вы там не удивите ничего хранящегося под стеклянным колпаком, не увидите суконных вышитых конвертов, висящих на стене, словно шкафчики для провизии. Уже на лестнице вам будет тепло. Повсюду цветы будут радовать ваш взор. Цветы — единственное подношение, которое она принимает, и то лишь от очень немногих. Букеты живут только день, доставляют радость и требуют обновления. Для нее они, как на Востоке, — символ, обещание. Повсюду разбросаны модные дорогие безделушки, но комнаты не напоминают ни музей, ни антикварную лавку. Вы найдете эту женщину в ее любимом уголке у огня, на диванчике; она приветствует вас не вставая. Здесь ее беседа будет иной, чем на балу. Вне дома она была вашим работодателем, а дома сама заимствует у вас то, что доставляет удовольствие ее уму. Всеми этими оттенками светская женщина владеет в совершенстве. Она ценит в вас человека, который приумножит собирающееся у нее общество, — предмет беспокойства и забот светской женщины в наши дни. Чтобы сделать вас постоянным посетителем ее салона, она будет с вами очаровательно кокетлива. Это даст вам почувствовать, как обособленно живут женщины в наше время и почему они так хотят иметь свой мирок, для которого они будут светилом. Беседа немыслима без общности интересов.

— Да, — сказал де Марсе, — тебе хорошо известен порок нашего времени. Эпиграмма, эта книга, включенная в одну остроту, теперь направлена не на личности, не на предметы, как то было в восемнадцатом веке, но на пошлые происшествия, и живет теперь эпиграмма всего один день.

— Ум светской женщины, если только он у нее есть, — продолжал Блонде, — это ум скептический, тогда как у буржуазной женщины он доверчивый. В этом-то и заключается главное различие этих двух типов женщин. Мещанка, несомненно, добродетельна, светская

же дама — не уверена, есть ли у нее добродетель и будет ли она всегда добродетельна. Она колеблется и противится, тогда как мещанка сначала отказывает наотрез, а затем безоговорочно уступает. Эти постоянные колебания светской женщины — последнее очарование, оставленное ей нашей ужасной эпохой. Она редко бывает в церкви, зато много говорит о религии и постарается обратить вас на путь истинный, если у вас достаточно сообразительности, чтобы разыгрывать перед ней вольнодумца, — этим вы дадите исход ее рвению, и оно выразится в шаблонных фразах, в установленном для сего случая выражении лица, в жестах, принятых у светских женщин. «Ах, как это нехорошо, а я полагала, что вы настолько умны, что не будете нападать на религию! Общество рушится, а вы лишаете его опоры. В данное время религия — это вы и я, это собственность, это будущее наших детей. Ах, не будем эгоистичны! Себялюбие — болезнь нашего века, и единственное лекарство против него — это религия, она вносит единение в семьи, разъединенные нашими законами», и т. п. Она начинает разговор в нео-христианском духе, уснащенной политикой, в духе ни католическом, ни протестантском, зато разговор нравственный, — о, чертовски нравственный! В нем вы узнаете обрывки, лоскутки всех сотканых ныне разношерстных доктрин.

Тут женщины рассмеялись, — такими забавными ужимками сопровождал Эмиль Блонде свои выпады.

— Эти слова докажут вам, дорогой граф Адам, — продолжал Блонде, глядя на поляка, — что в голове светской женщины — настоящая каша из модных политических, религиозных и прочих идей; вместе с тем она окружена блестящими, но непрочными изделиями современной промышленности, которая стремится, чтобы ее товары жили недолго и быстро заменялись новыми. Вы уйдете от этой женщины, говоря себе: «У нее, несомненно, возвышенный образ мыслей». Вы тем более будете в этом убеждены, что она своей нежной рукой сумела прощупать ваше сердце и ум, она выведала ваши тайны, — ибо светская женщина делает вид, что ничего не знает, чтобы обо всем узнать, и есть тайны, о которых она всегда слышит якобы в первый раз, даже, когда эти тайны ей прекрасно известны. Итак, вы уходите от нее очарованным, но обеспокоенным. От вас состояние ее сердца скрыто. В былые времена знатные дамы дерзко афишировали свою страсть, теперь же страсть светской женщины размечена, как нотная бумага. У нее свои восьмушки, свои четверти, свои полуноты, свои четвертные паузы, свои ферматы, свои диэзы. Как женщина слабая, она не хочет компрометировать ни своей любви, ни своего мужа, ни будущности своих детей. Ныне имя, положение, состояние не являются флагом, который внушает уважение и прикрывает любые контрабандные товары на борту. Аристократы не выступают теперь дружным от-

рядом, чтобы заслонить согрешившую знатную даму. Поэтому нынешняя светская женщина не отличается величием, как прежняя знатная дама; она ничего не может попирать своей пятой, ибо сама будет попрана. Поэтому-то она лицемерит, соблюдает приличия, старается сохранить свою страсть втайне и благополучно провести ее по руслу, усеянному подводными камнями. Она опасается своих слуг, как англичанка, которой всюду мерещится судебный процесс за греховные разговоры. Эта женщина, такая непринужденная на балу, такая прелестная на прогулке, — рабыня у себя дома; она независима только в очень замкнутом кругу да в мыслях. Она желает оставаться светской женщиной — вот ее задача. А в наши дни женщина, покинутая мужем, ограниченная скромной пенсией, лишенная выезда, роскоши, ложи в театре, лишенная прелестных принадлежностей туалета, уже больше ни женщина, ни распутница, ни хозяйка. Она исчезла, превратилась в вещь. В монастырь, служить супругу небесному, замужнюю женщину не примут, — это было бы двоемужеством. Будет ли она всегда дорога своему любовнику? Это вопрос. Поэтому светская женщина всегда может подать повод к клевете, но никогда — к злословию.

— Все это жестокая правда, — сказала княгиня де Кадиньян.

— Потому-то, — продолжал Блонде, — светская женщина и живет между английским лицемерием и прелестной откровенностью восемнадцатого века: ублюдочная система, разоблачающая время, где ничто новое не похоже на прошедшее, где новшества ни к чему не ведут, где господствуют только оттенки, где значительные люди стусеиваются, где различия чисто индивидуальны. Я убежден, что женщине, даже рожденной вблизи трона, невозможно постичь до двадцати пяти лет науку интриговать, невозможно понять значение мелочей, переливы голоса и гармонию красок, ангельское коварство и невилнное плутовство, искусство болтовни и молчания, серьезности и шутки, ума и глупости, дипломатии и невежества, — одним словом, постичь все, что составляет сущность светской женщины.

— При таких взглядах, — спросила мадемуазель де Туш Эмиля Блонде, — куда же вы определите женщину-писательницу? Кто она, по-вашему? Светская женщина или нет?

— Если она не талантлива, то это — женщина никчемная, — ответил Эмиль Блонде, сопровождая ответ лукавым взглядом, который мог сойти за похвалу, откровенно обращенную к Камиллу Мопену. — Это мнение Наполеона, а не мое, — добавил он.

— Ах, не нападайте на Наполеона! — воскликнул Каналис, сделав выпреженный жест. — Конечно, у него были свои слабости, и одна из них — зависть к литературным дарованиям. Но кто сумеет объяснить, изобразить или понять Наполеона? Человека, которого изображают со скрещенными на груди руками и который совершил столько дел? Скажите, кто обладал более славной, более сосредото-

точисной, более разъедающей, более подавляющей властью? Свообразный гений, пронесший повсюду вооруженную цивилизацию и ницде ее не закрепивший; человек, который мог всего достигнуть, потому что хотел всего; человек феноменальной воли, укрощавший недуг — битвой и, однако же, обреченный умереть в постели от болезни, после жизни, проведенной среди ядер и пуль; человек, голова которого вмещала законодательство и меч, слово и действие; пронизательный ум, все предвидевший, кроме своего крушения; странный политик, в азартной своей игре бросавший без счета человеческие жизни и пощадивший трех людей: Талейрана, Поццо ди Борго и Меттерниха — дипломатов, смерть которых спасла бы эту империю и которые в его глазах имели больше веса, чем тысячи солдат; человек, которому природа по исключительной милости оставила сердце в бронзовом теле; веселый и добрый в полночь, среди женщин, он утром без стеснения распоряжался Европой, как проказница девчонка для забавы расплескивает воду в ванне! Лицемерный и великодушный, любящий мишуру и одновременно простой, человек, лишенный вкуса, и покровитель искусства, — невзирая на все эти противоречия, он был инстинктивно или органически велик во всем; Цезарь — в двадцать пять лет, Кромвель — в тридцать, добрый отец и примерный супруг, как лавочник с улицы Пер-Лашез. Наконец он создал памятники, государства, королей, кодексы законов, стихи, роман, и все это больше по вдохновению, чем по правилам. Он хотел всю Европу сделать Францией! Сделав нас для всего земного шара бременем, едва не нарушившим законы тяготения, он оставил нас беднее, чем в тот день, когда наложил на нас руку. И он, завоевавший империю ради своей славы, утратил славу на краю своей империи, в море крови и солдат. Человек, который был весь мысль и действие, заключил в себе Дезэ и Фуше \*.

— То — воплощенный произвол, то — сама справедливость, смотря по обстоятельствам! Настоящий король! — сказал де Марсе.

— Ах, какое утофольствие слушать фас! — воскликнул барон де Нусинген.

— А вы что думаете! Разве мы угощаем вас заурядными мыслями? — спросил Жозеф Бридо. — Если бы надо было платить за удовольствие беседы, как вы оплачиваете танцы или музыку, то всего вашего состояния на это не хватило бы! У нас острога дважды в одинаковой форме не подается.

— Неужели же мы действительно так измелечали, как полагают эти господа? — сказала княгиня де Кадиньян, обращаясь к женщинам с вопросительной и насмешливой улыбкой. — Неужели потому, что мы живем при таком режиме, который все умаляет и уже приучил нас любить простенькие блюда, маленькие квартирки, убогие картины, незначительные статейки, маленькие газетки, жалкие книжонки, — неужели должны измелечать и женщины? Почему сердце

человеческое должно измениться оттого, что человек переменял одежду? Во все время страсти останутся страстями. Мне известны примеры изумительной преданности, возвышенных страданий, но им не хватает гласности,— славы, если хотите, которая в былое время превозносила заблуждения некоторых женщин. Но можно быть Агнесой Сорель \* и не спасая короля Франции. Разве наша дорогая маркиза д'Эспар не стоит госпожи Дубле или госпожи дю Дефан \*, у которых говорили и делали столько зла? Разве Тальони не стоит Камарго? \* Малибран разве не равна Сент-Юберти? \* Разве наши поэты не превосходят поэтов восемнадцатого века? Если в данное время, по вине лавочников, которые нами управляют, у нас нет собственного стиля, то разве Империя не накладывала на все своего отпечатка, подобно веку Людовика Пятнадцатого, и ее блеск разве не был сказочным? А разве измелъчали науки?

— Я совершенно согласен с вами, сударыня; женщины нашей эпохи действительно величественны,— сказал генерал де Монриво.— Когда нам на смену придет потомство, госпожа Рекамье \* будет ему казаться столь же великой, как самые прекрасные женщины прошлого столетия! Наша история так многогранна, что не хватит историков для нее! Век Людовика Четырнадцатого имел лишь одну госпожу де Севинье \*, а у нас в Париже их сейчас тысячи, и они, несомненно, пишут лучше, чем госпожа де Севинье, но не печатают своих писем. Как бы француженка ни именовалась — «светской женщиной» или «знатной дамой», она всегда будет женщиной в истинном значении этого слова. Эмиль Блонде нарисовал нам современную женщину и ее искусство оболыщать, но эта женщина, которая жеманится, наряжается, щебечет, повторяя мысли такого-то и такого-то, в нужную минуту может стать героиней. Ваши ошибки, сударыни, тем более поэтичны, что они неизменно и во все времена грозят вам величайшими опасностями. Я много наблюдал свет и, быть может, понял его слишком поздно. Но в тех случаях, когда незаконность ваших чувств была извинительна, я всегда видел следствие какой-нибудь случайности,— назовите это, если хотите, providением,— которая роковым образом поражает ту, кого мы называем женщиной легкомысленной.

— Надеюсь,— возразила г-жа де Ванденес,— что мы можем быть героинями и в других случаях...

— Ах, позвольте уж маркизу де Монриво закончить поучение! — воскликнула г-жа д'Эспар.

— Тем более что он много поучал примером,— заметила баронесса де Нусинген.

— Право,— произнес генерал де Монриво,— среди множества драм,— я говорю «драм», так как вы часто употребляете это слово,— сказал он, обращаясь к Блонде,— среди известных мне драм, в ко-

торых сказался перст божий, самая страшная была почти делом моих рук...

— Расскажите же, я обожаю все жуткое! — воскликнула леди Баримор.

— Все добродетельные женщины это любят, — ответил де Марсе, шлепнув на очаровательную дочь лорда Дэдлея.

— Во время кампании 1812 года, — начал генерал Монриво, обращаясь ко мне, — я был невольной причиной ужасного несчастья, которое может помочь вам, доктор Бьяншон, разрешить некоторые проблемы, так как вы занимаетесь не только человеческим организмом, но и психологией. Это был мой второй поход; я любил опасность и смеялся над всеми, как и подобает молодому и простодушному лейтенанту. Когда мы подошли к Березине \*, армия, как вам известно, уже совсем разложилась и забыла, что значит дисциплина. Это было скопище людей различных национальностей, которое инстинктивно двигалось с севера на юг. Солдаты гнали от своих костров генерала в лохмотьях, если он не принесил им пищи и питья. После переправы через эту знаменитую реку беспорядок не уменьшился. Спокойно, однакож без продовольствия, я выбрался из Зембинских болот и стал искать дом, где мне оказали бы гостеприимство. Я шел, не встречая на пути никакого жилья, или получал отказ там, где просил приюта, но вечером, к счастью, заметил жалкую, маленькую польскую ферму, какую вы и представить себе не можете, если только не видели деревянных хижин Нормандии или самых бедных мыз Босской долины. Такие жилища состоят из одной горницы, разделенной дощатой перегородкой. Отгороженная часть служит складом для сена и соломы. Я чудом разглядел при вечерних сумерках легкий дымок, подымавшийся над этим домом. Рассчитывая найти там товарищей более сострадательных, чем те, к которым до тех пор обращался, я смело двинулся к этой ферме. Войдя, я увидел накрытый стол. Несколько офицеров и среди них одна женщина — явление довольно обычное — ели картошку, конину, поджаренную на углях, и мороженую свеклу. В числе сидящих я узнал двух-трех капитанов первого артиллерийского полка, где я служил. Меня встретили громким «ура», что меня сильно удивило бы по ту сторону Березины; но в данный момент мороз был уже не таким суровым, офицеры отдыхали, им было тепло, они ели, и горница, устланная охапками соломы, сулила им чудесный сон. В ту пору мы были неприхотливы. Филантропия давалась моим товарищам даром — это ведь самый обычный вид филантропии. Я уселся на вязанках соломы и принялся за еду. В конце стола, около двери в боковушку, служившую сеновалом, сидел мой бывший командир, один из самых необыкновенных людей, каких я когда-либо встречал среди человеческого

сброта, с которым мне приходилось сталкиваться. Он был итальянец. А уж если южанин красив, то его красота — всегда совершенна. Обращали ли вы внимание на исключительную белизну кожи тех итальянцев, которые от природы бледны? Эта белизна изумительна, особенно при свечах. Когда я прочитал описание фантастического образа полковника Удэ, изображенного Шарлем Нодье \*, то в каждой из его изящных фраз я нашел отклик собственных впечатлений. Итак, мой полковник был итальянец, как и большинство офицеров его полка, взятого императором из армии принца Евгения \*; он был высокого, саженного роста, великолепно сложен, пожалуй, слишком дороден, но отличался необычайной физической силой, а вместе с тем был ловкий и проворный, как борзая. Черные вьющиеся кольцами волосы оттеняли нежный, как у женщины, цвет лица; руки у него были маленькие, нога красива, рот прелестный; нос орлиный, тонких очертаний, причем кончик его как-то сжимался и белел, когда полковник сердился, а случалось это часто. Вспыльчивость его была столь невероятна, что лучше я умолчу о ней; вы сами будете судить о ней. Никто возле него не чувствовал себя спокойно. Пожалуй, один я не боялся его; правда, он почувствовал ко мне такую исключительную дружбу, что все, что бы я ни делал, он находил прекрасным. Когда он приходил в ярость, лоб его морщился и посередине его прорезали складки в виде дельты, или вернее, в виде подковы коня Редгаунтлета \*. Этот признак ужасал еще сильнее, чем магнетический блеск его синих глаз. Тело его содрогалось, и в порыве гнева физическая сила его, и без того огромная, становилась почти беспредельной. Он сильно картавил. Его голос, не менее мощный, чем голос полковника Удэ в рассказе Шарля Нодье, звучал всевозможными раскатами и переливами в словах со звуком «р». Этот недостаток речи являлся, однако, достоинством в некоторые моменты, — например, когда полковник командовал на маневрах или был взволнован, и вы не можете себе представить, сколько энергии и воли выражало это произношение, считающееся вульгарным в Париже. Надо было слышать полковника, чтобы понять это! Когда он был спокоен, его глаза выражали ангельскую кротость, а безоблачное чело было полно очарования. Ни на одном параде во всей итальянской армии никто не мог с ним сравниться. И даже д'Орсэ, сам великолепный д'Орсэ был побежден нашим полковником во время последнего парада, устроенного Наполеоном перед походом в Россию. В этом одаренном человеке все было противоречиво. Страсть питается контрастами. Не спрашивайте меня, оказывал ли он на женщин то неотразимое впечатление, которому ваша женская природа (тут генерал взглянул на княгиню де Кадиньян) покоряется, как расплавленное стекло стеклодуву: но по странной случайности, — наблюдатели, вероятно, замечали эту странность, — полковник не

имел большого успеха у женщин, а может быть и пренебрегал им. Чтобы дать представление об его вспыльчивости, я расскажу в двух словах, на что он был способен в припадке гнева. Однажды мы продвигались с пушками по узкой дороге, с одной стороны которой был крутой откос, с другой — лес. В пути мы повстречали другой артиллерийский полк, во главе которого шел полковник. Он потребовал, чтобы капитан, командир нашей первой батареи, уступил дорогу. Капитан, конечно, воспротивился. Тогда полковник отдал приказ своей первой батарее двигаться вперед, и, как ни старался эскадрой держаться как можно ближе к лесу, колесо первого лафета задело правую ногу нашего капитана, переломило ее и выбило его из седла. Все произошло в мгновение ока. Наш полковник, находившийся неподалеку, догадался о происшедшем столкновении и во весь опор, перескакивая через ямы и пни, с риском сломать себе шею, подскочил к чужому полковнику в то мгновение, когда наш капитан, падая, крикнул: «Ко мне!» Наш полковник-итальянец уже не был похож на человека. Как на бокале шампанского, искипела пена на его губах, он рычал, словно лев. Не будучи в силах произнести ни слова, ни даже закричать, он подал грозный знак своему противнику, указав на лес, и выхватил саблю. Оба полковника направились туда. Через две секунды мы увидели противника нашего полковника распростертым на земле, с раскрытым черепом. Солдаты его уступили нам дорогу; да, черт побери, живо уступили! Капитан, еле живой, лежал в придорожной канаве, куда его отбросило колесо лафета. Он был женат на прелестной итальянке из Мессины, и она нравилась нашему полковнику. Это обстоятельство усиливало его ярость. Он считал себя обязанным защищать мужа так же, как ее самое. И вот теперь я встретил их, всех троих, в хижине, где меня так гостеприимно приняли: капитан сидел против меня, а жена его — на другом конце стола, против полковника. Эта итальянка была невысокого роста, очень смуглая, в ее черных глазах миндалевидного разреза таился весь зной сицилийского солнца; звали ее Розиной. В то время она была жалостно худа, щеки ее запылились, словно золотистый персик, претерпевший все непогоды в долгом пути. Едва прикрытая лохмотьями, изнуренная переходами, со спутанными, слипшимися волосами, прикрытыми косынкой, она все же сохранила остатки женственности. Ее движения были грациозны; розовые, красиво изогнутые губы, белые зубы, овал лица, стан этой женщины, подвергавшейся лишениям, холоду, пренебрежению, могли еще внушать любовь тому, кто был в состоянии мечтать о любви. Розина принадлежала к числу хрупких по внешности, но сильных и выносливых от природы женщин. Лицо ее мужа, пьемонтского дворянина, выражало насмешливое добродушие, если дозволено сочетать эти два слова. Храбрый и образованный, он, казалось, не подозревал о

трехлетней связи своей жены с полковником. Я приписывал это попустительство итальянским нравам или какой-нибудь супружеской тайне; и все же в лице этого человека было нечто, всегда внушавшее мне смутное недоверие. Его нижняя губа, тонкая и очень подвижная, была не приподнята в уголках рта, а опускалась, что, по-моему, служило признаком жестокости в этом человеке, с виду таком флегматичном и ленивом. Вы прекрасно понимаете, что разговор, когда я пришел, был не особенно оживленным. Мои товарищи, очень уставшие, ели молча, но они, конечно, кое о чем расспросили меня. Мы поведали друг другу о наших злоключениях, попутно делясь мыслями о войне, о генералах, об их ошибках, о русских и о холоде. Вскоре после моего прихода полковник, закончив свою скудную трапезу, вытер усы, пожелал нам спокойной ночи и бросив на итальянку сумрачный взгляд, сказал ей: «Розина!» Затем, не дожидаясь ответа, ушел в клеть, где лежало сено. Смысл его приглашения было легко понять. У молодой женщины вырвался непередаваемый жест, говоривший, что она глубоко возмущена, видя, как грубо выставляют напоказ ее зависимость и оскорбляют ее женское достоинство и достоинство ее мужа. Но в том, как омрачилось ее лицо, как нахмурились брови, сквозило и что-то иное, какое-то предчувствие, быть может предвидение своей судьбы. Розина продолжала спокойно сидеть за столом. Спустя мгновение, по-видимому улегшись на постели из сена и соломы, итальянец повторил: «Розина!» Тон этого вторичного призыва был еще грубее первого. Картавость полковника и растягивание гласных в конце слов, присущее итальянскому языку, передавали весь деспотизм, нетерпение и волю этого человека. Розина побледнела, но встала, прошла позади нас и направилась к полковнику. Все мои товарищи хранили глубокое молчание, но я, к несчастью, обвел всех их взглядом и засмеялся. Мой смех заразил остальных. «Tu ridi?»<sup>1</sup> — сказал муж. «Честное слово, товарищ, — ответил я, перестав смеяться, — признаюсь: виноват. Приношу тысячу извинений; если же тебе мало моих извинений, то я к твоим услугам...» — «Не ты виноват, а я», — ответил он холодно. Вслед за тем все мы легли в этой же горнице и крепко уснули. На следующее утро каждый, не будя соседа, не подыскивая себе спутника, пустился в дорогу куда глаза глядят, с тем эгоизмом, который и превратил наше отступление в самую страшную, жалкую и отвратительную личную драму, которая когда-либо имела место на земле. Однако шагах в семистах — восьмистах от места нашего ночлега мы почти все сошлись и дальше уже продолжали путь вместе, словно стая гусей, подгоняемая слепой прихотью ребенка. Одна и та же необходимость гнала нас всех вперед. Дойдя до

---

<sup>1</sup> Смеешься? (итал.).

пригорка, откуда еще видна была ферма, в которой мы провели ночь, мы слышали крики, похожие на рычание льва в пустыне, на рев быка. Да что говорить,— эти вопли ни с чем знакомым сравнить нельзя. Мы различили также и слабый женский крик, примешавшийся к зловещим хриплым воплям. Мы все как один оглянулись, охваченные ужасом. Мы больше не увидели дома, а лишь огромный костер. Строение, которое было кругом забаррикадировано, пылало. Вместе с клубами дыма ветер доносил до нас дикий вой и какой-то странный запах. В нескольких шагах от нас шел капитан, он только что спокойно присоединился к нашему каравану. Мы все молча смотрели на него; никто не осмеливался обратиться к нему с вопросом, но он догадался о терзавшем нас любопытстве, постучал себя в грудь указательным пальцем правой руки, а левой указал на пожар: «Son' io!»<sup>1</sup> — сказал он. Мы продолжали путь, не сказав ему ни слова.

— Нет ничего страшнее взбесившегося барана,— заметил де Марсе.

— Было бы просто жестоко оставлять нас под жутким впечатлением этого рассказа; мне все это будет сниться... — сказала г-жа де Портандюэр.

— А какова же была кара, постигшая первую страсть господина де Марсе? — спросил, улыбаясь, лорд Дэдлей.

— Шутки англичан всегда безобидны,— заметил Блонде.

Де Марсе, обращаясь ко мне, ответил:

— Об этом может нам рассказать господин Бьяншон, он видел, как эта женщина умирала.

— Да,— ответил я,— и смерть ее была одна из самых прекрасных, какие я когда-либо видел. Мы с герцогом провели всю ночь у изголовья умирающей; острое воспаление легких не оставляло никакой надежды. Накануне ее соборовали. Герцог дремал. Около четырех часов утра герцогиня проснулась и, дружески улыбаясь, подала мне трогательный знак, чтобы я не будил его, а между тем ведь она умирала! Она страшно исхудала, но черты лица и его овал сохранили дивную красоту. Это бледное лицо было прозрачным, как фарфоровая ваза, освещенная изнутри. Блестевшие глаза и лихорадочный румянец четко выделялись на нем, но все оно дышало мягкой прелестью и величавым покоем. Казалось, она жалеет герцога, и чувство это исходило из возвышенной нежности, которая с приближением смерти была беспредельна. Царила глубокая тишина. Комната, еле освещенная затененной лампой, была похожа на комнату всякого умирающего. В это время пробили часы. Герцог проснулся и пришел в отчаяние от того, что задремал. Я не заметил досадливого жеста, которым он выразил сожаление, что пропустил

<sup>1</sup> Это я! (итал.).

несколько мгновений, из тех последних мгновений, которые ему суждено было провести с женой; и, несомненно, всякая другая женщина могла бы не понять его, но умирающая поняла. Этот государственный деятель, поглощенный делами Франции, отличался множеством странностей, из-за которых талантливых людей принимают за сумасшедших, меж тем как они объясняются тонкостью их организации и требованиями их ума. Он пересел в кресло подле кровати жены и стал пристально смотреть на нее. Умирающая с трудом взяла руку мужа, слабо пожала ее и чуть слышным, нежным и взволнованным голосом сказала: «Мой бедный друг, кто же теперь будет понимать тебя?» И глядя на него, она умерла.

— Истории, которые доктор рассказывает, производят глубокое впечатление,— заметил герцог де Реторе.

— И очень трогательное,— добавила мадемуазель де Туш.

— Ах, сударыня,— ответил доктор,— я храню в памяти и жуткие истории. Но для каждого рассказа нужна особая обстановка. Помните, как остроумно, по словам Шанфора, кто-то ответил герцогу де Фронсаку: «Чтобы оценить твою шутку, недостает бутылки шампанского».

— Но ведь уже два часа, и рассказ о Розине подготовил нас,— сказала хозяйка дома.

— Расскажите, господин Бьяншон, расскажите,— послышалось со всех сторон.

Доктор жестом выразил согласие, и тотчас воцарилось молчание.

— Шагах в ста от Вандома, на берегу Луары,— начал Бьяншон,— стоит ветхий, побуревший дом с очень высокой кровлей. Стоит он на отшибе, и близ него нет ни зловонного кожевенного завода, ни жалкой харчевни, какие встречаются на окраинах почти всех маленьких городов. Перед домом раскинулся большой сад, спускающийся к реке; буксовые деревья, в былое время подстриженные и тянувшиеся аллеями, разрослись в причудливом беспорядке. Кудрявый ивняк, поднимавшийся от самой воды, быстро вытянулся вверх и образовал изгородь, наполовину скрывающую дом. Так называемые сорные травы украсили сочной зеленью откос берега. Фруктовые деревья, за десять лет успевшие одичать, уже не приносят плодов, и их побеги образуют густую поросль. Ряды посаженных деревьев превратились в лиственные завесы. Дорожки, когда-то посыпавшиеся песком, теперь покрылись портулаком, да и следов-то этих дорожек не осталось. Стоя на вершине горы, где вздымаются развалины старинного замка герцогов Вандомских,— на единственном месте, откуда взору доступно проникнуть за эту ограду,— думаешь, что когда-то, давным-давно (даже трудно вообразить себе когда именно), этот земной уголок был отрадой какого-нибудь дворянина, занятого разведением роз или тюльпанов, словом, садовода и любителя редких плодов. С горы видна увитая зеленью

беседка, точнее, ее развалины; там стоит стол, еще не совсем разрушенный временем. Вид этого заглохшего сада дает представление о скромных, безмятежных радостях, которыми наслаждаются в провинциальной тиши, — так по эпитафии на памятнике представляешь себе весь жизненный путь какого-нибудь почтенного купца. Благонамеренно христианская надпись на циферблате солнечных часов «Ultimam cogita»<sup>1</sup>, навеивает чувство грусти и отрешенности. Кровля дома сильно обветшала, ставни всегда закрыты, балконы усеяны гнездами ласточек, двери неизменно заколочены. Высокие травы зелеными штрихами прочертили трещины каменного крыльца, железная оковка дверей заржавела. Ветер, солнце, зима, лето, снег источили дерево, покоробили доски, изъели все краски. Царящий здесь мертвенный покой нарушают лишь птицы, кошки, куницы, крысы да мыши, которым привольно здесь бегать, драться, прыгаться. Невидимая рука всюду начертала слово *тайна*. Если же вы, покорясь любопытству, вздумаете взглянуть на дом со стороны улицы, то увидите большие, сверху закругленные ворота, в которых озорники ребятишки проковыряли множество отверстий. Позже я узнал, что эти ворота были забиты уже десять лет. Посмотрев сквозь их пробоины, можно убедиться, что и во дворе такое же запустение, как в саду. Пучки травы пробиваются между каменными плитами. Огромные трещины бороздят стены, почерневшие зубцы которых покрылись вьющимися растениями. Ступени крыльца разошлись, шнур от звонка истлел, водосточные желоба разбиты. «Что за пламя, низвергнувшееся с небес, пронеслось здесь? Что за судилище обрекло смерти эту обитель? Богохульствовали здесь? Или здесь предавали Францию?» — спрашиваешь себя. Но пресмыкающиеся ползут здесь, не отвечая. Этот пустой и заброшенный дом — непроницаемая тайна, разгадать которую невозможно. Когда-то встарь это было небольшое ленное владение, называвшееся Гранд-Бретеш. В пору моего пребывания в Вандоме, когда Деппен оставил меня там для наблюдения за одним богатым пациентом, созерцание этого странного жилища стало одним из моих живейших удовольствий. Ведь оно было значительно выше обычной руины! С руинами связываются воспоминания о чем-то неопровержимо подлинном, эта же обитель, еще не рухнувшая, но постепенно разрушаемая чьей-то беспощадной рукой, скрывала тайну, скрывала неведомый замысел или, по меньшей мере, прихоть. Нередко по вечерам я подходил к одичавшей ивовой изгороди, ограждавшей дом. Не обращая внимания на царапины, я пробирался через кустарник в этот покинутый сад, в это владение, которое не было больше ни частным, ни общественным. Часами я всматривался в царивший там хаос. Но я ни за что не стал бы расспрашивать какого-нибудь

<sup>1</sup> Думай о смертном часе (лат.).

болтливого вандомского обывателя об истории, с которой, несомненно, было связано это своеобразное зрелище. Я сам придумывал ряд упоительных приключений, я отдавался здесь тихим радостям грусти, восхищавшим меня. Если бы я узнал причину этой заброшенности, — быть может, пошлую, — я лишился бы опьянявшей меня неизъяснимой поэзии. Уединенный приют вызывал в моем воображении разнообразнейшие картины человеческого бытия, омраченного печалью: то мне рисовался монастырь, но без монахов, то покой кладбища, но без усопших, которые говорят с нами языком надгробных надписей. Сегодня мне чудился тут дом прокаженных, завтра — дом Атридов \*, но чаще всего — провинциальная жизнь с ее отсталыми взглядами, с ее сонным бытием. Не раз плакал я там, но никогда не смеялся. Нередко я ощущал невольный ужас, слыша над головой глухой свист крыльев диких голубей. Почва под ногами была сырая. Надо было остерегаться ящериц, змей, лягушек, которым привольно жилось в этом саду. Главное, надо было сносить холод, который окутывал ледяным плащом, подобно руке Командора, обнявшей шею Дон-Жуана. Однажды вечером меня охватил ужас: ветер повернул старый заржавевший флюгер, и его скрип показался мне стоном, вырвавшимся у дома, в тот самый миг, когда в моем воображении завершалась мрачная драма, объяснявшая сущность этой воплощенной в камне скорби. Я вернулся в гостиницу во власти мрачных дум. Едва я поужинал, как ко мне в комнату с таинственным видом вошла хозяйка и сказала:

— Сударь, вас спрашивает господин Реньо.

— Господин Реньо? Кто это такой?

— Вы не знаете, кто такой господин Реньо? Странно, — проговорила она уходя.

И вдруг передо мной вырос долговязый хилый человек в черном, с шляпой в руке, появившийся, словно баран, готовый броситься на врага. Я увидел покатый лоб, клинообразную голову и какое-то серое лицо, похожее на стакан с мутной водой. Вот такие бывают привратники у министров. На этом человеке был поношенный сюртук, сильно потертый по швам, но в жабо его сорочки сверкал бриллиант, а в ушах были золотые серьги.

— Сударь, с кем имею честь? — спросил я.

Он сел на стул, придвинулся к огню, положил шляпу на стол и, потирая руки, ответил:

— Какой холод! Сударь, моя фамилия Реньо.

Я поклонился, подумав: «Ну и что же?»

— Я — вандомский нотариус, — продолжал он.

— Очень приятно, сударь, — воскликнул я, — но по некоторым личным соображениям я отнюдь не собираюсь писать завещания.

— Минуточку! — сказал он, подняв руку, словно призывал меня

и молчанию, — позвольте, сударь, позвольте! Мне стало известно, что вы иногда прогуливаетесь в парке Гранд-Бретеш.

— Прогуливаюсь, сударь.

— Минуточку! — и он повторил тот же жест. — Тем самым вы совершаете правонарушение. Сударь, я пришел к вам во имя покойной графини де Мерэ и в качестве ее душеприказчика с просьбой прекратить эти прогулки. Минуточку! Я не дикарь и отнюдь не собираюсь обвинять вас в преступлении. К тому же вполне естественно, что вы не подозреваете причин, которые заставляют меня не препятствовать разрушению самого прекрасного в Вандоме особняка. Однако, сударь, вы как будто человек образованный и должны знать, что закон предусматривает строгие кары за вторжение в частное владение, находящееся на запоре. Изгородь — та же стена. Правда, извинением вашему любопытству может служить состояние, в котором находится дом. Я был бы очень рад разрешить вам сколько угодно ходить туда, однако, являясь душеприказчиком покойной владелицы, я обязан, сударь, просить вас прекратить посещение ее парка. Я и сам, сударь, с того часа, как вскрыл завещание, не переступал порога этого дома, который, как я имел честь доложить вам, является частью наследства, оставшегося после госпожи де Мерэ. Мы только переписали все окна и двери, чтобы установить размер налога, который я и плачу ежегодно из сумм, завещанных на это покойной графиней. Ах, сударь, ее завещание наделало немало шуму в Вандоме!

Тут достойный человек умолк и высморкался. Я с уважением отнесся к его болтливости, прекрасно понимая, что завещательное распоряжение госпожи де Мерэ является самым значительным событием его жизни, основой его репутации, всей его славы и благоденствия. Приходилось сказать «прости» моим чудесным мечтаньям, моим выдумкам, и я поддался искушению узнать истину от служителя закона.

— Сударь, — спросил я, — если вы не сочтете это нескромностью с моей стороны, разрешите спросить у вас о причинах столь странного завещания?

При этих словах на лице нотариуса мелькнуло выражение, появляющееся у людей, когда они садятся на своего любимого конька. Он несколько фатовато поправил воротничок сорочки, вынул табакерку, открыл ее, предложил мне табак и, когда я отказался, взял большую понюшку. Он был совершенно счастлив. Человек, не имеющий любимого конька, не подозревает, каких наслаждений он лишает себя. Любимый конек — это нечто среднее между страстью и помешательством. В эту минуту я во всей полноте понял Стерна и целиком постиг ту радость, с которой дядюшка Тоби, при помощи Трима \*, сидел на своего боевого коня.

— Сударь, — сказал мне господин Реньо, — я был первым клерком

у Рогена, в Париже. Превосходная контора! Вы о ней, вероятно, слышали? Нет? А между тем несчастное банкротство сделало ее знаменитой. Не имея достаточно средств, чтобы устроиться в Париже, где в 1816 году цены на нотариальные конторы сильно возросли, я приехал сюда с целью купить контору моего предшественника. В Вандоме у меня были родственники, и среди них очень богатая тетка, на дочери которой я женился. Сударь,— продолжал он, передохнув,— спустя три месяца после того, как я был утвержден господином министром юстиции, однажды вечером, когда я уже собирался ложиться спать (я тогда еще не был женат), меня вызвали к графине де Мерэ, в ее поместье Мерэ. Служанка, достойная девица, которая в настоящее время служит в этой гостинице, ждала меня у ворот в коляске графини. Минуточку! Надо вам сказать, сударь, что граф де Мерэ за два месяца до того, как я поселился здесь, уехал в Париж и там умер. Кончил он плохо, так как стал предаваться всевозможным излишествам. Понимаете? В день его отъезда графиня де Мерэ покинула Гранд-Бретеш и вывезла оттуда всю обстановку. Некоторые утверждали, будто она даже сожгла мебель, ковры, одним словом все предметы, кои составляют обстановку дома, ныне находящегося во владении вышеупомянутого лица... Постойте, что это я, однако, говорю?.. Извините, мне показалось, что я диктую арендный договор... Итак, она будто бы сожгла всю мебель на лугу в Мерэ. Бывали вы в Мерэ, сударь? Нет, конечно,— ответил он за меня,— ах, это очень живописное место! До отъезда из Гранд-Бретеш,— продолжал он, слегка кивнув головой,— граф с графиней месяца три вели несколько странный образ жизни. Они перестали принимать гостей, жили на разных половинах: графиня в нижнем этаже, граф — наверху. Оставшись одна, графиня выходила только в церковь; она отказывалась принимать друзей и подруг, приезжавших навестить ее. Когда она покинула Гранд-Бретеш, чтобы переехать в Мерэ, она уже сильно изменилась. Драгоценная женщина! Я говорю «драгоценная», так как этот бриллиант получен мною от нее; но я ее видел, впрочем, один единственный раз... Итак, эта добрая женщина была тяжело больна. Видимо, она считала свою болезнь неизлечимой, ибо скончалась, так и не прибегнув к помощи врача. Правда, многие из наших дам полагали, что она немножко была не в своем уме. Поэтому мое любопытство, сударь, было сильно возбуждено, когда я узнал, что госпожа де Мерэ нуждается в моих услугах. Да и не я один интересовался этой историей. В тот же вечер, хотя час был поздний, весь город уже знал, что я приглашен в Мерэ. На вопросы, которые я задавал в пути служанке, она отвечала очень неопределенно. Все же она сказала, что днем ее госпожу исповедовал кюре и что вряд ли она доживет до утра. Часов в одиннадцать мы приехали в замок. Я поднялся по большой лестнице, затем, пройдя целую анфиладу

высоких темных покоев, чертовски холодных и сырых, добрался до парадной спальни, где находилась графиня. По слухам, носившимся об этой женщине,— сударь, я никогда не закончу своей истории, если начну передавать все рассказы, ходившие на ее счет,— и воображал, что увижу светскую львицу. Представьте же себе, что я с трудом разглядел ее на огромной кровати, где она лежала. Правда, этот обширный покой с фризами в старорежимном стиле, до такой степени запыленными, что при одном взгляде на них уже хотелось чихать, освещался только одной масляной лампой. Ах, да! Ведь вы никогда не бывали в Мерэ! Так вот, сударь, там была старинная кровать, с балдахинном из набивной узорчатой материи; возле кровати стоял ночной столик, а на нем лежало «Подражание Христу». Как книгу, так и лампу, замечу в скобках, я впоследствии приобрел для жены. Тут же рядом стояло мягкое кресло для служанки и два стула. Камин не топился. Вот и вся обстановка. В инвентарной описи она не заняла бы и десяти строк. Ах, сударь, если бы видели, как довелось увидеть мне, эту огромную спальню, затянутую коричневым штофом, вам показалось бы, что вы перенеслись на страницу какого-то романа. От всего веяло ледяным холодом, больше того, веяло смертью,— проговорил он, театральным жестом воздев руку, и сделал паузу.— Лишь подойдя вплотную к кровати и пристально всмотревшись,— продолжал он,— я разглядел, наконец, госпожу де Мерэ; да и то благодаря тому, что свет от лампы падал на подушки. Лицо у графини было желтое, как воск, и напоминало сжатый кулачок. На ней был кружевной чепчик, из-под которого выбивались прекрасные, но совсем седые, белые как лунь волосы. Она приподнялась, хотя это стоило ей, видимо, невероятных усилий. Большие черные глаза, провалившиеся от болезни, уже почти угасшие, смотрели неподвижным взглядом. «Садитесь»,— прошептала она, чуть приподняв брови. Ее лоб покрылся испариной. Худые руки были словно кости, обтянутые тонкой кожей; на них отчетливо проступали все вены и мышцы. Когда-то она была, наверно, красавицей. Но в ту минуту при взгляде на нее какое-то неопишное чувство овладело мною. По словам людей, облачавших ее в саван, они просто ужасались ее худобе. Словом, то была жуткая картина. Болезнь так изглодала эту женщину, что она казалась призраком. Когда она заговорила, синеватые губы ее как будто не шевелились. Хотя моя профессия и приучила меня к подобным зрелищам и мне не раз доводилось у изголовья умирающих скреплять их завещания, признаюсь вам, что слезы родных и агония этих умирающих не производили на меня такого тяжелого впечатления, как смерть этой одинокой, молчаливой женщины в ее обширном замке. Не слышно было ни малейшего звука, даже не видно было легкого движения покрывала, которое приподнималось бы от дыхания больной. Я стоял неподвижно, глядя на нее в каком-то оцепенении. Я вижу ее как

сейчас. Наконец ее большие глаза ожили, она попыталась поднять правую руку, но рука бессильно упала на постель, и чуть слышный шепот, словно вздох, слетел с ее уст.

— Я с нетерпением ждала вас! — Ее щеки порозовели; ей трудно было говорить.

— Сударыня...— начал было я.

Она сделала мне знак молчать. А тут еще старуха служанка встала с кресла и шепнула мне:

— Молчите! Графиня не выносит ни малейшего шума. Ваши слова могут ее взволновать.

Я сел. Спустя несколько секунд госпожа де Мерэ собрала остаток сил и с бесконечным трудом просунула правую руку под подушку. Секунду она лежала неподвижно, потом сделала последнее усилие и вытащила из-под подушки запечатанный конверт; крупные капли пота выступили у нее на лбу.

— Я доверяю вам мое завещание. О боже! боже мой! — простонала она.

И это был конец. Она взяла распятое, лежавшее на постели, судорожным движением поднесла его к губам и умерла. Право, как вспомню, какие у нее были глаза в смертную минуту, мне до сих пор делается не по себе. Наверно она сильно страдала, но в ее последнем взгляде светилась радость, и это чувство запечатлелось в ее застывших глазах. Я унес завещание; вскрыв его, я узнал, что госпожа де Мерэ назначила меня своим душеприказчиком. Все свое имущество, за исключением некоторых особо оговоренных сумм, она завещала больнице в Вандоме. А относительно Гранд-Бретеш она распорядилась так. Она предписывала оставить дом в течение пятидесяти лет после ее смерти в том самом виде, в каком он окажется в день ее кончины, воспрещала доступ в него кому бы то ни было, не позволяла производить ни малейших починок этого дома и даже выделила определенную сумму на жалованье сторожам, если в них будет надобность, чтобы в точности выполнялась ее последняя воля. По истечении указанного в завещании срока, если воля покойной будет соблюдена, дом должен перейти к моим наследникам,— вам, сударь, наверно, известно, что сами нотариусы не имеют права наследовать по завещанию своих клиентов. Если же воля завещательницы будет нарушена, то все переходит к законным наследникам с тем, однако, что будет выполнено дополнительное завещательное распоряжение, каковое должно быть вскрыто по истечении указанных пятидесяти лет. До сей поры завещание не было опротестовано, следовательно...

Долговязый нотариус, не договорив фразы, с торжествующим видом посмотрел на меня, а я привел его в полный восторг, сказав ему несколько приятных слов.

— Сударь,— сказал я,— вы произвели на меня своим рассказом

такое сильное впечатление, что мне кажется, будто я вижу перед собой эту умирающую, с лицом блее простыни; горящие глаза ее внушают мне ужас. Она будет сниться мне сегодня всю ночь. Но, по всей вероятности, у вас возникли кое-какие догадки по поводу этого странного завещания?

— Сударь,— ответил господин Реньо с забавной важностью,— и никогда не позволю себе критиковать поведение лиц, удостоивших меня таким подарком, как вот эта бриллиантовая булавка.

Вскоре, однако, мне удалось преодолеть щепетильность вандомского нотариуса, и господин Реньо сообщил мне — разумеется, со множеством отступлений — соображения глубоких политиков обоего пола, мнения которых в Вандоме неоспоримы, как закон. Но эти соображения были столь противоречивы, столь путаны, что я, невзирая на весь мой интерес к этой достоверной истории, чуть не задремал. Глухой, однообразный голос нотариуса, привыкшего, видимо, прислушиваться только к собственным словам и заставляя выслушивать себя своих клиентов и сограждан, усыпил меня, восторжествовав над моим любопытством. К счастью, господин Реньо собрался уходить.

— Ах, сударь,— сказал он, спускаясь по лестнице,— многие хотели бы прожить еще сорок пять лет, но... минуточку!..— и он лукаво приложил указательный палец правой руки к носу, словно хотел сказать «внимание!».— Чтобы столько прожить, надо быть моложе шестидесяти лет!

Я закрыл за ним дверь, выведенный из дремоты его последними словами, которые, очевидно, казались ему необычайно остроумными. Затем я уселся в кресло, поставил ноги на каминную решетку и принялся воображать роман в духе госпожи Радклиф \*, построенный на юридических данных нотариуса Реньо, как вдруг дверь моей комнаты отворилась от энергичного прикосновения ловкой женской руки. Вошла моя хозяйка, полная, жизнерадостная, добродушная женщина, не исполнившая своего предназначения: это была настоящая фламандка, ее следовало бы запечатлеть на одном из полотен Генирса.

— Ну что, сударь,— сказала она,— господин Реньо, верно, выложил вам свою историю о Гранд-Бретеш?

— Да, тетушка Лепа.

— Что же он вам рассказал?

Я вкратце повторил ей смутную и бесцветную повесть о госпоже де Мерэ. При каждом слове она все больше настораживалась, глядя на меня с пытливостью трактирщицы,— это качество является чем-то средним между чутьем жандарма, хитростью шпиона и лукавством кунца.

— Дорогая тетушка Лепа,— добавил я, кончив рассказ,— мне

кажется, что вы знаете еще кое-что... Иначе зачем бы вам сейчас прийти ко мне?

— Ах, честное слово, нет! Это так же верно, как то, что я зовусь Лепá.

— Не клянитесь! По глазам вижу, что вам известна какая-то тайна. Вы знавали господина де Мерэ? Что это был за человек?

— Боже мой, господин де Мерэ был красавец мужчина, такой высокий ростом, что его взглядом не охватишь. Настоящий пикардийский дворянин! А уж нравный! Чуть что, вспыхнет как порох,— так у нас здесь говорят. За все он всегда расплачивался наличными, чтобы ни с кем не иметь осложнений. Очень уж он был горячего нрава. Все наши дамы были от него без ума.

— Потому что он был горячего нрава? — спросил я хозяйку.

— Может быть, и так, — ответила она. — Сами понимаете, сударь, за какого-нибудь обыкновенного человека госпожа де Мерэ не пошла бы,— не в обиду будь сказано другим, она была самая красивая и самая богатая невеста во всей Вандомской округе. У нее было тысяч двадцать ренты. Весь город собрался на ее свадьбу. Новобрачная была такая хорошенькая, такая приветливая,— просто прелесть, не женщина, а золото! Ах, какая это была пара!

— Брак был счастливый?

— Да как вам сказать?... И да, и нет... наверняка-то мы ничего не знали, сами понимаете, ведь знатные господа с нами не бывают на короткой ноге. Госпожа де Мерэ была женщина добрая, ласковая, пожалуй ей иногда не сладко жилось из-за крутого нрава мужа. А он был гордый, но мы все же любили его. Ну, уж такой он был! Дворянин... сами понимаете...

— Однако должна же была случиться какая-то беда, чтобы господа де Мерэ так скоро разошлись?

— Я не сказала, что случилась беда, сударь. Об этом я ничего не знаю.

— Ах, вот как? Теперь я уверен, что вы все знаете!

— Ну, ладно, сударь, я все вам расскажу. Когда я увидела, что к вам идет господин Реньо, я сразу поняла, что разговор пойдет о госпоже де Мерэ и об ее усадьбе. И вот надумала я, сударь, посоветоваться с вами; вы человек, видно, благоразумный и плохого не посоветуете такой незащитной женщине, как я. Я ведь никогда никому не делала зла, а все-таки совесть меня мучает. Никому из здешних жителей я не смею признаться. Они все сплетники и не умеют держать язык за зубами. А к вам, сударь, я привыкла,— другие-то постояльцы никогда не жили у нас так долго, как вы, и мне некому было рассказать про эти пятнадцать тысяч франков...

— Догорая тетушка Лепá,— прервал я поток ее красноречия,— если ваша исповедь может доставить мне какие-нибудь неприятности, то я ни за какие блага в мире не хочу ее выслушивать.

— Не бойтесь,— перебила она меня,— вот сейчас сами увидите. Настойчивость моей почтенной хозяйки навела меня на мысль, что я не первый, кому она доверяет тайну, единственным хранителем которой я должен был явиться. Я стал слушать.

— Сударь, когда император послал сюда на жительство военнопленных и прочих иностранцев, то у меня за счет казны поселили одного молодого испанца,— его оставили в Вандоме под честное слово. Но, хоть он и дал честное слово, что не убежит, а все равно каждый день должен был являться в префектуру. А испанец-то был знатного рода, уж поверьте. Имя у него кончалось на «ос» и на «диа», что-то вроде Багос де Фередиа. Оно записано у меня в книге постояльцев: если хотите, можете взглянуть. Вот уж красивый был молодой человек! А говорят, что все испанцы — уроды. Ростом был велик — пять футов с небольшим, но сложен был прекрасно. Руки у него были маленькие, и уж как он их холил! Поглядели бы вы, сколько у него было разных щеточек, не меньше, чем у женщин, для всяких прихорашиваний. Волосы у него были густые, черные, глаза огненные, цвет лица довольно смуглый, но мне это очень нравилось. Белье он носил очень тонкое, я такого ни у кого не видывала, хотя у меня и останавливались важные особы, и между прочим генерал Бертран, герцог д'Абрантес с супругой, господин Деказ и даже сам король испанский. Кушал он мало, зато был так уживчив, так любезен, что сердиться на него было невозможно. Да, очень он мне пришелся по душе, хотя никак, бывало, с ним не разговоришься,— обращаешься к нему, он не отвечает: такая уж у него была странность, вроде чудачества; говорят, испанцы все такие. Он, словно священник, все читал молитвенник, исправно ходил к обедне и на все прочие богослужения. В церкви,— мы потом только обратили на это внимание,— он всегда садился на одно и то же место, в двух шагах от часовни госпожи де Мерэ. Но так как он шел туда в первый же раз, когда пришел в церковь, то никто не подумал, что он делал это с умыслом. К тому же бедняга сидел, все время уткнувшись в молитвенник. В ту пору, сударь, он по вечерам прогуливался на горе, среди развалин замка. Только и было у него, несчастного, развлечения,— там он вспоминал свою родину. Говорят, в Испании везде горы. С первых же дней своего плена он стал приходить домой поздно. Я сильно встревожилась,— вижу, что он возвращается только в полночь; но потом все мы привыкли к его причудам. Он взял ключ от входных дверей, и мы его больше не дожидались. Жил он в нашем доме на улице Казери, и вот однажды один из наших конюхов сказал нам, что как-то вечером, когда он водил лошадей на водопой, ему показалось, будто издали купается в реке наш испанский гранд, плывет, словно рыба. Когда постоялец вернулся домой, я посоветовала ему остерегаться водорослей. Мне показалось,— он очень недоволен, досадует, что

его заметили на реке. И что же, сударь, как-то днем, вернее утром, комната его оказалась пуста, — он не вернулся. Я все обшарила и нашла в ящике стола записку, пятьдесят испанских червонцев — значит, около пяти тысяч франков, да на десять тысяч франков бриллиантов в запечатанной коробочке. В записке было сказано, что в случае, если он не вернется, бриллианты и деньги он оставляет нам с тем, однако, условием, чтобы мы заказали молебен об его спасении и благополучии. Мой муж был еще в ту пору жив. Он побежал на розыски. И вот какие странные дела! Он нашел одесду испанца под большим камнем около свай, на берегу реки, вблизи замка, почти насупротив Гранд-Бретеш. Муж отправился туда так рано, что его никто и не заметил. Он принес платье испанца домой, а как прочел записку, сжег его, и мы, согласно желанию графа Фередиа, заявили, что он бежал. Супрефект поставил на ноги всю жандармерию, но — не тут-то было! Его так и не поймали. Лепа решил, что испанец утонул. А я, сударь, по-другому думаю: мне кажется, тут замешана госпожа де Мерэ, — ведь Розали как-то говорила мне, что у ее хозяйки было распятие из черного дерева и серебра, и она так дорожила этим распятием, что велела положить его с собой в гроб, а между тем в первые дни, как господин Фередиа поселился у нас, я видела у него точно такое распятие, а потом оно куда-то исчезло. Теперь скажите, сударь, правда ведь, что я могу со спокойной совестью взять эти пятнадцать тысяч франков, что оставил мне испанец? Ведь они принадлежат мне законно?

— Конечно! Ну, а пробовали вы расспросить Розали?

— Как же, сударь, пробовала... Но что поделаешь! Молчит девушка. Она что-то знает, да у нее ничего не выпытаешь.

Поговорив со мной еще немного, хозяйка удалилась, оставив меня во власти смутных и мрачных дум, романтического любопытства и северного ужаса, который сродни глубокому чувству, овладевающему нами, когда мы ночью входим в темную церковь и замечаем вдали, под высокими сводами, слабый свет; скользит чья-то черная фигура... слышится шуршанье, то ли платья, то ли сутаны... и мы вздрагиваем. Гранд-Бретеш и его высокие травы, его заколоченные окна, его заржавевшие железные засовы, запертые двери, пустынные покои вдруг возникли предо мной какой-то фантастической страшной сказкой. Я мысленно пытался проникнуть в таинственную обитель, стараясь распутать узел этой сложной истории, этой драмы, погубившей трех человек. Розали стала для меня самым интересным человеком в Вандоме. Присматриваясь к ней, я заметил следы затаенной думы на ее пышущем здоровьем, румяном лице. Что-то говорило в ней то ли об угрызениях совести, то ли о надежде; все в ней свидетельствовало о тайне, как облик испуганно молящейся святоши или девушки-детоубийцы, которой непрестанно слышится последний крик ее младенца. Однако повадки Розали были грубоваты

и наивны, бесхитростная улыбка не таила в себе ничего преступного, и вы сочли бы ее ни в чем не повинной простушкой при одном взгляде на ее большой синекрасный клетчатый платок, прикрывавший пышную грудь, туго стянутую платьем в белую и лиловую полоску. Нет, решил я, не уеду из Вандома до тех пор, пока не узнаю истории Гранд-Бретеш! Чтобы достичь цели, я даже сделаюсь, если понадобится, любовником Розали.

— Розали,— обратился я к ней однажды вечером.

— Что угодно, сударь?

— Вы не замужем?

Она слегка вздрогнула.

— О! Женихов много! Да зачем замуж идти? Не хочу несчастной быть,— ответила она смеясь.

Она быстро справилась с охватившим ее душевным беспокойством, ибо все женщины, начиная от знатных дам и кончая служанками и харчевне, в достаточной мере наделены самообладанием.

— Вы такая свеженькая, такая миловидная, от поклонников у вас, вероятно, отбоя нет; скажите же, почему вы после смерти госпожи де Мерэ поступили служанкой в эту гостиницу? Неужели она не завещала вам хотя бы самой скромной ренты?

— Ну, конечно, сударь, завещала. А что же мне не служить здесь? У меня лучшее место во всем Вандоме.

Судьи и адвокаты именуют такой ответ «уклончивым». Во всей этой истории Розали являлась, на мой взгляд, центром шахматной доски! К ней тянулись все нити тайны и ее разгадки; она казалась мне запутанной в этот узел. Теперь вопрос шел уже не о вульгарной попытке обольстить ее; эта девушка таила в себе развязку романа, и она стала для меня предметом неусыпного внимания. Присматриваясь к Розали, я открыл в ней — это всегда бывает, когда на женщине сосредоточиваются наши мысли,— множество достоинств. Она была опрятна, щеголевата и, разумеется, красива,— об этом и говорить нечего; вскоре я нашел в ней все то очарование, которым страсть наделяет в наших глазах женщину, какое бы положение она ни занимала. Две недели спустя после посещения нотариуса, как-то поздней ночью, точнее ранним утром, ибо было еще очень рано, я сказал Розали:

— Расскажи мне все, что ты знаешь о госпоже де Мерэ.

— Ох!— воскликнула она с ужасом.— Не просите меня об этом, господин Орас.

Ее красивое, живое лицо омрачилось, румянец поблек, глаза утратили свой наивный, мягкий блеск. Я настаивал.

— Ну, хорошо, пусть. Раз вы так хотите, я все вам расскажу, но только сохраните это в тайне.

— Будь спокойна, дорогая, я сохраню все твои секреты с безукоризненной честностью вора; это честность самая надежная.

— Нет уж,— пошутила она,— я лучше положусь на *вашу* собственную честность.

Тут она поправила на себе шаль и устроилась поудобнее. Ведь когда приступаешь к рассказу, необходимо, чтобы все располагало к доверию и спокойствию. Самые интересные истории рассказываются в уютной обстановке, вот как сейчас, когда мы собрались вокруг этого стола. Видано ли, чтобы кто-нибудь рассказывал стоя или натошак? Если бы мне пришлось в точности передать многословное красноречие Розали, вряд ли хватило бы для него и целой книги. Но поскольку ее сбивчивый рассказ дополняет болтовню нотариуса и болтовню госпожи Лепа, как средний член арифметической пропорции дополняет два крайних ее члена, необходимо вкратце изложить его. Итак, я расскажу лишь самое существенное.

— Комната, которую госпожа де Мерэ занимала в Бретеше, находилась в нижнем этаже; устроенный в стене чуланчик, площадью фута в четыре, служил ей гардеробной. Месяца за три до происшествия, о котором пойдет речь, госпожа де Мерэ так серьезно заболела, что муж не решался беспокоить ее и устроился в другой комнате, этажом выше. Однажды вечером из-за случайного совпадения обстоятельств, которого никак нельзя предвидеть, он вернулся двумя часами позже обычного из клуба, куда всегда ходил читать газеты и толковать о политике. Жена была уверена, что он уже дома, уже лег в постель и спит. Но вторжение неприятеля во Францию вызвало между посетителями клуба горячие споры, партия в биллиард проходила азартно; граф проиграл сорок франков,— сумму огромную для Вандома, где все скряжничают и где нравы отличаются похвальной скромностью; эта скромность, быть может, и становится источником истинного счастья. Жаль, что ни один парижанин не ценит его. С некоторых пор господин де Мерэ довольствовался тем, что осведомлялся у Розали, легла ли жена спать, и, неизменно получая утвердительный ответ, тотчас же поднимался к себе; привычка и доверие делали его недалеким. На этот раз ему пришла, однако, фантазия зайти к жене, чтобы поделиться своими злоключениями, а может быть, и найти у нее утешение. За обедом он заметил, что госпожа де Мерэ одета очень кокетливо; возвращаясь из клуба, он думал о том, что жена его, как видно, поправилась и после болезни очень похорошела; как все мужья, он заметил это несколько поздно. Вместо того чтобы позвать Розали, которая в это время была на кухне и следила за тем, как кучер с кухаркой разыгрывают сложную партию в бриск, господин де Мерэ направился в комнату жены, осветив себе путь большим фонарем, который он поставил на первую ступеньку лестницы. Его шаги, которые нетрудно было узнать, гулко отдавались под сводами коридора. В тот момент, когда он отворял дверь в комнату жены, ему послышалось, будто дверца чуланчика, о котором

и упоминал выше, захлопнулась. Но когда он вошел, госпожа де Мерэ была одна; она стояла возле камина. Муж простодушно решил про себя, что в чуланчике находится Розали. Однако подозрение, словно колокольчик звеневшее у него над ухом, пробудило в нем глухое недоверие. Он взглянул на жену и прочел в ее глазах намешательство и какой-то злобный испуг. «Как вы поздно вернулись», — сказала она. Ее голос, обычно такой чистый и мягкий, показался ему слегка изменившимся. Господин де Мерэ ничего не ответил, так как в эту минуту вошла Розали. Все это было для него словно удар молнии. Скрестив на груди руки, он машинально принялся ходить по комнате от окна к окну.

— У вас какие-нибудь неприятности, или вам нездоровится? — робко спросила его жена, в то время как Розали помогала ей раздеваться.

Он промолчал.

— Ступайте, — приказала госпожа де Мерэ служанке, — я сама закручу папильотки.

Одного взгляда на лицо мужа ей было достаточно, чтобы почувствовать, что произошло что-то непоправимое, и ей хотелось остаться с ним наедине. Когда Розали ушла или сделала вид, что ушла (она задержалась на несколько мгновений в коридоре), господин де Мерэ сел около жены и холодно спросил:

— Сударыня, в вашей гардеробной кто-нибудь есть?

Она спокойна взглянула на мужа и просто ответила:

— Никого нет.

Это «нет» повергло господина де Мерэ в отчаяние. Он не поверил, а между тем никогда еще жена не казалась ему такой чистой, такой непорочной, как в эту минуту. Он встал и пошел к гардеробной, намереваясь открыть дверь. Госпожа де Мерэ схватила его за руку, удержала и, печально взглянув на него, сказала непривычно взволнованным голосом:

— Если вы там никого не найдете, то знайте, между нами все будет кончено!

Неизъяснимое достоинство, которым дышало все поведение жены, вернуло графу его глубокое уважение к ней и внушило ему одно из тех решений, которым не хватает только более обширной арены, чтобы стать бессмертными.

— Хорошо, Жозефина, — сказал он, — я не войду туда. В том и другом случае нам пришлось бы расстаться навеки. Слушай, я знаю, как чиста твоя душа, знаю, что ты ведешь жизнь праведницы, ты не совершишь смертного греха даже ради спасения своей жизни.

При этих словах госпожа де Мерэ растерянно взглянула на мужа.

— Возьми распятие и поклянись мне перед богом, что там никого нет. Я поверю тебе и не открою эту дверь.

Госпожа де Мерэ взяла распятие.

— Клянусь,— проговорила она.

— Громче!— приказал муж.— Скажи: «Клянусь перед богом, что там никого нет».

Не дрогнув, она повторила эти слова.

— Отлично,— холодно сказал господин де Мерэ.

Наступило короткое молчание.

— Какая прекрасная вещь, я прежде не видел ее у вас. Очень гонкая работа,— заметил господин де Мерэ, разглядывая распятие из черного дерева, отделанное серебром.

— Я купила его у Дювивье. В прошлом году, когда отряд пленных проходил через Вандом, он приобрел его у одного набожного испанца.

— Вот как!— сказал господин де Мерэ, повесив распятие на прежнее место. Он позвонил. Розали не замедлила явиться. Господин де Мерэ быстро пошел ей навстречу, отвел ее к окну, выходящему в сад, и, понизив голос, сказал:

— Мне известно, что Горанфло мечтает на тебе жениться и только бедность препятствует вашему браку. Ты сказала ему, что выйдешь за него замуж лишь тогда, когда он станет подрядчиком строительных работ. Так вот, сходи за ним, приведи его сюда. Пусть захватит с собой мастеров и прочий инструмент. Постарайся никого не разбудить в доме, кроме него. Вознаграждение превзойдет его мечты. Но смотри, выйдя отсюда, не болтай, иначе...— Он нахмурил брови. Розали пошла было, но он вернул ее.

— Возьми мой ключ.

— Жан!— позвал он на весь коридор. Жан, бывший одновременно и кучером и доверенным лицом графа, бросил карты и явился.

— Ложитесь все спать,— сказал хозяин и, сделав ему знак приблизиться, шепотом добавил:— Когда все уснут,— уснут,— понимаешь?— доложи мне об этом.

Отдавая это приказание, господин де Мерэ не спускал глаз с жены, затем спокойно сел около нее, возле камина, и стал рассказывать о партии в бильярд и о спорах в клубе. Когда Розали вернулась, она застала супругов за дружеской беседой. Незадолго перед тем граф отделал потолки во всех парадных комнатах нижнего этажа. В Вандоме очень мало гипса, а расходы по доставке сильно удорожают его; поэтому господин де Мерэ закупил гипса с избытком, будучи уверен, что излишки всегда у него кто-нибудь купит. Это обстоятельство внушило ему замысел, который он и привел в исполнение.

— Сударь, Горанфло пришел,— тихо доложила Розали.

— Пусть войдет,— ответил граф.

— Госпожа де Мерз при виде каменщика слегка побледнела.

— Горанфло,— сказал муж,— сходи за кирпичом, принеси сюда столько, чтобы хватило заложить дверь этого чулана. Возьми гипс, который остался, и оштукатурь стену.— Затем, подозвав к себе ближе каменщика и Розали, он тихо добавил:

— Слушай, Горанфло, сегодня ночью ты будешь работать здесь. А завтра утром получишь пропуск, с которым уедешь за границу,— в тот город, который я тебе укажу. На дорогу я дам тебе шесть тысяч франков. В этом городе ты проживешь десять лет. Если тебе там не понравится, можешь переехать в другой город, но только в той же стране. Поезжай через Париж и жди меня там. В Париже я дам тебе вексель еще на шесть тысяч франков, которые будут тебе выплачены при твоём возвращении, в том случае, если ты точно выполнишь наш договор. За это ты должен хранить молчание обо всем, что будешь делать здесь в эту ночь. Что же касается тебя, Розали, ты получишь десять тысяч франков. Деньги будут выплачены тебе в день свадьбы, при условии, что ты выйдешь замуж за Горанфло. Но если вы хотите, чтобы ваша свадьба состоялась, вы должны молчать. Иначе — никакого приданого.

— Розали,— позвала госпожа де Мерз,— причеши меня.

Муж спокойно прохаживался по комнате, наблюдая за дверью, за каменщиком и за женой, но не выказывал при этом оскорбительного недоверия. В ходе работы Горанфло приходилось стучать. Госпожа де Мерз воспользовалась мгновением, когда он сбрасывал кирпич; а муж находился на другом конце комнаты, и шепнула Розали:

— Получишь тысячу франков ренты, дорогая, если сумеешь шепнуть Горанфло, чтобы он оставил внизу отверстие,— и вслух спокойно добавила:

— Иди же, помоги ему!

Супруги безмолвно сидели все время, пока Горанфло замуровывал дверь. Со стороны мужа это молчание было преднамеренным: он не хотел дать жене возможность бросить какую-нибудь фразу, которая могла иметь двоякий смысл. А госпожа де Мерз молчала из страха или из гордости. Стена была воздвигнута до половины, и тут хитрый каменщик воспользовался моментом, когда господин де Мерз стоял к нему спиной, и пробил киркой щель в одной из створок двери. Госпожа де Мерз поняла, что Розали передала Горанфло ее слова. И тогда все трое увидели мрачное, смуглое лицо черноволосого человека с горящим взглядом. Прежде чем муж обернулся, несчастная женщина успела кивнуть ему, как бы говоря: «Надейтесь!»

В четыре часа утра, когда только еще стало светать (это было в сентябре), каменщик закончил работу; он остался под присмотром Жана, а господин де Мерз лег спать в комнате жены. На следующее утро он беззаботно воскликнул:

— Ах, черт возьми! Мне надо пойти в мэрию за пропуском.

Он надел шляпу, пошел было к двери, но вернулся и захватил распятие. Жена вздрогнула от радости. «Он пойдет к Дювивье»,— подумала она. Как только он вышел, она позвонила Розали.

— Кирку! Скорее кирку!— закричала она.— Я видела вчера, как работал Горанфло. Мы успеем пробить отверстие и вновь замуровать его.

В мгновение ока Розали принесла топорик, и госпожа де Мерэ с рвением, которое трудно вообразить, принялась разрушать каменную кладку. Ей уже удалось выбить несколько кирпичей, но когда она собиралась нанести еще один, самый сокрушительный удар, в комнату вдруг вошел господин де Мерэ. Она лишилась чувств.

— Положите графиню в постель,— холодно приказал муж.

Предвидя то, что должно произойти в его отсутствие, он расставил жене западню: мэру он просто-напросто написал записку, а за ювелиром — послал. Когда Дювивье пришел, в комнате все уже было приведено в порядок.

— Дювивье,— спросил его граф,— покупали вы распятия у испанцев, проходивших здесь?

— Нет, сударь.

— Хорошо, благодарю вас,— ответил он, бросив на жену взгляд, полный ненависти.— Жан,— добавил он, обратясь к доверенному слуге,— вы будете подавать мне еду в комнату графини, она больна, и я не оставлю ее, пока она не выздоровеет.

Жестокий человек в продолжение двадцати дней не покидал спальни жены.

В первое время, когда в замурованном чулане слышался шум, Жозефина порывалась броситься к мужу, чтобы умолить его сжалиться над умирающим, но граф отвечал, не давая ей вымолвить слова:

— Вы поклялись на распятии, что там никого нет.

Когда Бьяншон кончил, все женщины встали из-за стола, и это нарушило впечатление, произведенное рассказом. Все же некоторые из них испытали леденящий ужас от последних его слов.

## ВЕДЬМА

### ПРОЛОГ

Некие жители преславной Турени, прослышав о том, что автор сей книги с великим рвением изучает древности, а равно забавные случаи и любовные похождения, происшедшие в нашем благословенном краю, заключили, что все, касающееся Турени, должно быть автору известно, и однажды после обильных возлияний приступили к нему с вопросом, установил ли он, как знаток этимологии, по какой причине одна из улиц города Тура прозывается «Горячей», возбуждая тем немалое любопытство. В ответ на это автор выразил удивление, что турецкие старожилы могли запомнить об изрядном числе монастырей, расположенных по вышеозначенной улице, стены коих так долго накалялись от строгого воздержания монахов и монахинь, что стоило иной порядочной женщине замедлить ненароком шаг, совершая вблизи тех стен вечернюю прогулку, как она в скором времени оказывалась в тягости. Один дворянчик, желая блеснуть своими познаниями, сказал, что некогда на том месте сосредоточены были все городские притоны. Другой пустился в научные лабиринты, заговорил красно да непонятно, сопрягая старину с новизной, объяснял, откуда какое слово происходит и как их следует употреблять, пробовал на зуб глаголы и, как алхимик, разбирал древние языки со времен потопа: еврейский, халдейский, египетский, греческий и латинский, приплел к чему-то Турнуса, основателя города Тура, и добавил, что ежили из слова chauld (горячий) выбросить две буквы h и l, — получится слово cauda, означающие «хвост», из чего следует, что в этом деле замешан чей-то хвост; турецкие дамы из всей этой премудрости только о хвосте и поняли.

А некий старец заявил, что на месте улицы в доброе старое время бил горячий источник, откуда пивал воду его прапрадед. Словом, в срок меньший, чем требуется, чтобы слюбиться мухе с мухой, нагромодили целую кучу этимологических объяснений, где истину было труднее обнаружить, нежели найти вошь во всклокоченной бороде капуцина. Но ученый муж, прославленный своими скитаниями по монастырям, немало истребивший масла в лампе, светившей ему при ночных бдениях, истрепавший не один фолиант, а уж документов, хартий, актов, протоколов и исследований по истории Турени собравший больше, чем собирает хлебопашец колосьев на ниве в августе месяце, — сидя безмолвно в углу, сей ученый муж, старый, хилый, согбенный подагрой, вдруг презрительно усмехнулся и внятно произнес: «Чепуха!» Услышав это восклицание, автор понял, что старику ведома некая достоверная история, которой можно будет порадовать читателя.

И действительно, на другой день подагрик сказал автору:

— Своей поэмой, озаглавленной «Невольный грех», вы навсегда завоевали мое уважение, ибо все в ней истинная правда, с начала до конца, а сие, по моему разумению, есть наиценнейшее качество в подобных материях. Но, как я вижу, вам неизвестны приключения мавританки, обращенной в христианскую веру мессиром Брюином де ла Рош-Корбон. Мне она известна, и, ежели вас занимает объяснение названия «Горячая улица», а также судьба монахини-египтянки, я вручу вам некий любопытный свод древних документов, позаимствованных мною в архиве архиепископства, библиотека коего немного пострадала в те дни, когда никто из нас не мог поручиться с вечера, что у него утром голова останется на плечах. Надеюсь, что вы будете вполне удовлетворены. Не правда ли?

— Еще бы, — ответил автор.

Таким образом, автор получил в пользование от прилежного собирателя древностей несколько прекрасных запыленных пергаментов, оказавшихся старинными протоколами церковного суда, и не без труда перевел их на французский язык, считая, что доподлинное восстановление этого средневекового судебного дела, которое раскрывает бесхитростное простодушие далекой старины, будет как нельзя более любопытным. Итак, внимайте! Вот в каком порядке были расположены документы, которые автор истолковал в меру своего разума, ибо всех дьявольских премудростей языка понять не мог.

Глава первая  
КТО БЫЛА ВЕДЬМА

*In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen*<sup>1</sup>.

В год тысяча двести семьдесят первый от рождества Христова нам, Жерому Корнилю, главному пенитенциарию и судье по делам духовным, к сему призванному членами капитула при соборе св. Маврикия в городе Туре, надлежало представить на рассмотрение нашего владыки архиепископа Жеана де Монсоро жалобы и пени горожан, прошения коих будут к сему приложены. Некоторые знатные особы, а также горожане и простолюдины со всей епархии явились с показаниями о бесчинствах дьявола, подозреваемого в принятии женского обличия, и о великом зле, им содеянном душам христианским. В настоящее время оный дьявол ввергнут в темницу при капитуле. Дабы убедиться в справедливости сих жалоб, мы приступили к настоящему опросу 11 декабря сего года, в понедельник после обедни, имея в виду показания каждого свидетеля оному дьяволу сообщить, и, допросив о возводимых на него обвинениях, судить его по законам *contra daemonios*<sup>2</sup>.

Для ведения и составления протокола вызван нами из капитула рубрикатор Гильом Турнебуш, муж весьма ученый.

Первым явился к нам для показания некий Жеан, именуемый Тортебра, или Ловкач, турский горожанин, с разрешения властей содержащий гостиницу под вывеской «Аист», что на площади у моста; Тортебра поклялся спасением души своей, положив руку на святое евангелие, что не произнесет ничего, чего бы он сам не слышал и не видел, и он показал следующее:

— Свидетельствую, что около двух лет тому назад под Иванов день, когда жгут праздничные костры, незнакомый мне дворянин, состоящий по всей видимости на королевской службе и находящийся у нас по пути следования из святой земли, выразил желание нанять у меня дом, выстроенный мною за городом, с разрешения капитула, возле места, именуемого полем Сент-Этьен. Этот дом я сдал ему на девять лет за три безанта \* чистым золотом.

В упомянутом доме названный рыцарь поселил девку, видом пригожую, одетую на иноземный лад — по-сарацински или по-маврритански. Он прятал ее ото всех и не допускал никого к дому на расстояние выстрела из лука. Все же я рассмотрел, что голова ее разубрана пестрыми перьями, цвет кожи сверхъестественной красоты, глаза же ее так пылали, что описать не берусь и думаю, что бил из них адский пламень.

<sup>1</sup> Во имя отца и сына и святого духа. Аминь (лат.).

<sup>2</sup> Против дьявола (лат.).

По той причине, что покойный рыцарь угрожал смертью каждому, кто посмел бы сунуть нос в ее жилище, я с великим страхом покинул свой собственный дом и по нынешний день втайне хранил сомнения, опасаясь, не дьяволица ли она чужеземка, столь привлекательного обличья, что среди женщин я еще не выдывал ей равных.

Так как многие люди всякого звания подозревали, что рыцарь был уже мертв и держался на ногах лишь силою ворожбы, заклинаний, волшебного зелья и прочих сатанинских чар этого подобия женщины, желавшей укорениться в нашем краю, то и заявляю, что сколько ни видел я того рыцаря, всегда был он бледен, точно восковая пасхальная свеча. Люди же гостиницы «Аист» знают, что оный рыцарь был предан земле на девятый день по своем прибытии. По словам конюха, покойный его хозяин, запершись в доме, крепко любился с мавританкой, семь дней подряд не выходя от нее, в чем, к ужасу нашему, и признался на смертном одре.

Тогда говорили, будто дьяволица привязала к себе названного рыцаря своими длинными волосами, якобы наделенными теми горячительными свойствами, посредством коих адский огонь охватывает христиан, под видом огня любовного, и они предаются плотскому неистовству, пока душа не выйдет вон из тела и попадет прямо в руки сатане. Я же утверждаю, что ничего подобного не видел, разве только видел покойного рыцаря изнуренным, зачахшим, не могущим пошевелить перстом. И все же он до последнего часа, не внимая уговорам духовника, рвался к своей девке. И люди признавали в нем кавалера де Бюзль, сражавшегося в святой земле и, по слухам, встретившего в азиатской стране, в Дамаске или еще где-то, околдовавшего его дьявола.

Как бы то ни было, я оставил мой дом в распоряжение незнакомки, согласно условиям договора при сдаче дома в наем. После кончины рыцаря я решил справиться у названной чужеземки, желает ли она остаться у меня в доме, или нет. С большими затруднениями я был, наконец, допущен к ней в сопровождении некоего диковинного человека — чернокожего, полуголого и белоглазого. Тогда-то я увидел мавританку в уборе, сверкающем золотом и драгоценными камнями, освещенную ярким светом, в легкой одежде и возлежащей на азиатском ковре с другим дворянином, тоже погубившим ради нее свою душу. И я не осмеливался взглянуть на нее, ибо глаза ее миготали бы меня покориться ей, — если уж от одного ее голоса у меня похолодало нутро, помутилось в голове и душа рванулась к ней. В таком смятении, страшись господа, а ровно и ада, выбежал я вон, покинув свой дом на ее произвол, — столь губительно было видеть ее басурманскую смуглость, пышущую дьявольским зноем, слышать ее голос, ущемляющий сердце, не говоря уже, что ножки ее были гораздо меньше тех, какие пристало иметь женщине обыкновенной; и с того дня я больше не хожу в мой дом, боясь адовых мук. Я все сказал.

Названному Тортебра мы показали некоего абиссинца, эфиопа или нубийца, черного с головы до пят, лишенного вовсе тех примет мужского пола, коими обычно одарены все христиане. И ввиду того, что сей эфиоп, многократно подвергнутый всяким пыткам и даже огню, упорствовал в молчании, хоть и стонал громко, было установлено, что он языка нашей страны не знает. Названный Тортебра сообщил, что язычник абиссинец проживал в его доме вместе с дьяволицей и содействовал ей в колдовстве.

Вышеуказанный Тортебра, ревностно исповедующий великую католическую веру, заявил, что больше знать ничего не знает и говорит с чужих слов, и все это известно остальным прочим, и что, не являясь свидетелем, он свидетельствует лишь о том, что слышал.

*Вторым* по нашему вызову явился Матвей по прозвищу Пустобрех, поденщик с фермы, находящейся близ Сент-Этьена, каковой, поклявшись на святом евангелии говорить одну лишь правду, признался, что всегда видел яркий свет в окнах у чужеземки и слышал непотребный и сатанинский хохот днем и ночью, и в праздники и в постные дни, равно и в святую седмицу и в сочельник, словно там пировало видимо-невидимо народу. Засим сообщил, что в окнах дома видел множество растений всякого рода, цветущих среди зимы, и особенно много роз в морозную пору и других прочих цветов, коим требуется изрядная жара, так что тут не обошлось без магии. Однакож этим он удивлен отнюдь не был, ибо от самой чужеземки исходил зной, и когда прогуливалась она под вечер вдоль его стены, то наутро на грядках до срока поспевали овощи. И не раз в деревьях начиналось брожение соков лишь от одного прикосновения ее одежды, и росли они вдвое быстрее положенного. Названный Пустобрех закончил тем, что ничего не знает, ибо трудится с раннего утра и ложится спать с курами.

Засим была опрошена жена поденщика Пустобреха и после клятвы сообщила все, что известно ей по сему делу. Она принялась хвалить чужеземку за то, что якобы по ее прибытии муж стал лучше с ней обращаться, и все благодаря соседству доброй дамы, разливающей вокруг себя любовь, как солнце свои лучи. Она говорила еще много иссуразного, чего мы здесь приводить не намерены. Пустобреху, равно как и его жене, был предъявлен вышеупомянутый неизвестный африканец, которого они признали, ибо не раз видели его в саду около дома, и, по их разумению, он — слуга дьявола.

*Третьим* явился мессир Гардуэн V, сеньор де Маилье, к коему мы почтительно обратились с просьбой разъяснить происшедшее для представления его показаний святой церкви, на что он ответил согласием и дал клятву доблестного рыцаря говорить лишь то, что видел собственными глазами. Он показал, что впервые увидел дьявола, о коем идет речь, во время крестового похода в городе Дамаске, где встретил покойного рыцаря де Бьюэля, дравшегося на поединке за обладание оной девкой, ибо эта девка, или дьявол,

принадлежала тогда мессире Жофруа IV де ла Рош-Позе, привезшему ее из Турени, хоть и была она сарацинкой, чему рыцари Франции премного дивились, так же как и ее красоте, вызывавшей немало толков и даже кровопролитных драк в лагере крестоносцев. Во время похода девка эта была причиной многих смертей, ибо де ла Рош-Позе уложил не одного крестоносца, пожелавшего отбить прелестницу, ведь, по словам рыцарей, тайно добившихся ее ласк, наслаждения, даримые ею, ни с какими иными сравнить невозможно. Но под конец рыцарь де Бюэль убил Жофруа де ла Рош-Позе и стал обладателем сей губительницы. Он укрыл ее в монастыре, или же в гареме, по сарацинскому обычаю. До того ее многие видели и слышали, как говорила она во время пиршеств на всяких заморских языках — и по-арабски, и по-гречески, и по-латыни, и по-мавритански, и по-французски, превосходя всех, кто среди христиан знает одно лишь наречие Франции, отчего и прошла молва, будто познания ее от дьявола.

Названный рыцарь Гардуэн признал, что не имел в святой земле притязаний на дьявола отнюдь не из робости, или по равнодушию, или по какой-либо другой причине; приписывает же он свою удачу тому, что носил при себе кусок дерева от креста господня, и, кроме того, участью одной знатной дамы родом из греческой земли, которая спасла его от опасности, лишая силы по утрам и вечерам, ибо забирала от него все, не оставляя ничего другим ни в сердце его, ни в иных местах.

Названный рыцарь засвидетельствовал, что женщина, проживавшая в доме Тортебра на поле Сент-Этьен, действительно есть сарацинка, прибывшая из Сирии, в чем он уверился, будучи приглашен к ней на пирушку рыцарем де Круамар, который представился на седьмой день и, по словам его матери, г-жи де Круамар, был разорен дотла названной девкой, от ласк коей иссякли его жизненные силы, а от нелепых прихотей иссяк кошелек.

После чего рыцарь Гардуэн был спрошен нами в качестве мужа рассудительного, ученого, уважаемого, что думает он о названной женщине, и, побуждаемый нами говорить все по совести, потому что речь идет о богомерзком случае, враждебном вере христианской и божественному правосудию, он ответил:

Иные крестоносцы во время похода сообщили ему, будто чертовка эта девственна для всякого, кто находится с ней, что будто в нее вселился сам Маммон и для каждого нового любовника возобновляет ее девственность, и много других небылиц говорилось, что говорят мужчины спяну, из чего не составишь пятого евангелия. Но верно одно, что он, уже старик, не приемлющий больше удовольствий, почувствовал себя вдруг молодым человеком во время последнего ужина, коим угостил его барон де Круамар. И что голос чертовки проник ему в сердце еще прежде, нежели достиг слуха, и зажег во всем его теле такой пламень страсти, что жизнь его стала исходить тем же путем, откуда она берется. И если б не прибег

он к помощи кипрского, если б не напился, чтобы закрыть глаза, свалиться под стол и не видеть пламенного взора дьяволицы — хозяйки дома — и не погубить себя ради нее, он уж наверно убил бы юного де Круамара, чтобы хоть раз насладиться ласками этой сверхъестественной женщины. После сего случая он поспешил исповедаться в нечистых своих помыслах. И по совету свыше взял у жены своей реликвию — кусок древа креста господня — и не выезжал более из своего поместья; но, даже вопреки христианской стойкости, голос дьяволицы нет-нет да и прозвучит в его ушах, а по утрам вставала она в его памяти с огневеющей грудью. По той причине, что разжигающий вид мавританки взбудрил бы его, как юношу, его, полумертвого старца, и лишил бы последних жизненных сил, названный рыцарь Гардуэн просит нас не вызывать при нем на допрос сию владычицу любовных чар, коей если не дьявол, то сам бог-отец даровал непонятную власть над мужчинами. После чего рыцарь удалился, прочитав в протоколе свое показание и признав чернокожего африканца слугой и пажом вышеуказанной дамы.

*Четвертым* был вызван к нам еврей Соломон аль Ратшильд, которого мы заверили именем капитула и нашего архиепископа, что он не будет подвергнут ни пытке огнем, ни прочим пыткам, а также не будет ему от нас никакого беспокойства и вторичного вызова на допрос, принимая во внимание, что он собирался в путь по делам своей коммерции. Дав показание, он может удалиться совершенно свободно.

Названный еврей, Соломон аль Ратшильд, сколь ни мерзка его вера и личность, был нами выслушан с целью узнать от него все, касающееся распутства названной ведьмы. Ввиду того, что он, Соломон, стоит вне христианской церкви, отделен от нас пролитой кровью нашего спасителя (*trucidatus Salvator inter nos*), то никакой присяге не был он принуждаем.

На вопрос, почему явился он без зеленой ермолки и без желтого колеса на кафтане, нашиваемого на месте сердца, согласно постановлению святой церкви и короля, Соломон аль Ратшильд предъявил нам письменный указ нашего короля, разрешающий ему это, с подтверждением сенешала Турени и Пуату. После чего вышеупомянутый еврей показал, что поставлял на крупные суммы товары даме, проживающей в доме Тортсбра, хозяина гостиницы. Так он продал ей золотые подсвечники в несколько ветвей, изящной чеканки, несколько серебряных позолоченных блюд, кубки, украшенные драгоценными камнями — изумрудами и рубинами. С востока выписал для нее множество роскошных тканей, персидских ковров, шелковых материй и тонкого полотна. Словом, вещи столь роскошные, что ни одна королева христианского мира не могла бы похвастаться лучшим подбором драгоценностей и домашней утвари. На триста тысяч турецких ливров приобрел он для нее цветов из Индии, попугаев, птиц, перьев, пряностей, вин из Греции и бриллианты.

На вопрос наш, доставлял ли он ей какие-либо предметы для дьявольских заклинаний, как то: кровь новорожденных, черные книги и другие предметы, обычно употребляемые колдуньями, аль Ратшильд, предупрежденный нами, что он может давать показания, не боясь, что будет за то взыскано с него, поклялся своей иудейской верой, что никогда ничем подобным не торговал. По словам его, он ведет слишком крупные дела, чтоб заниматься такими пустяками, ибо он поставляет драгоценности для некоторых весьма могущественных особ, как то: маркиз де Монфера, английский король, король Кипра и Иерусалима, граф Прованский, знатные венецианцы и многие германские князья. Его торговые галеры ходят в Египет под защиту султана, привозят слитки золота и серебра, почему он и посещает монетный двор города Тура. Притом он заявил, что считает даму, о коей идет речь, весьма честной особой и самой обыкновенной женщиной, только невиданной красоты и изящества. Слухи о ее одержимости считает пустой выдумкой сумасбродов. Еще показал он, как, наслышавшись о ее дьявольском очаровании, поддался игре воображения, прельстился ею и предложил ей свои услуги в тот день, когда она случайно вдовела, и был принят. Хотя после той ночи он долго чувствовал себя разбитым, но не ощутил, как утверждают иные, что, мол, живым от нее не вернешься и расплавишься, словно свинец в тигле алхимика.

После сего заявления названному Соломону было разрешено удалиться, согласно охранной грамоте, хотя из показаний его явствует, что сам он близок с дьяволом, ибо сумел выйти цел оттуда, где погибали добрые христиане. Аль Ратшильд предложил капитулу собора нижеследующую сделку относительно помянутого дьявола: буде ее приговорят к сожжению живьем, он, Соломон, обязуется заплатить выкуп, столь значительный, что можно будет на ту сумму достроить самую высокую башню воздвигаемой ныне церкви св. Маврикия.

Что и занесено в протокол для того, чтоб в свое время обсудить на соборе капитула.

Удаляясь, Соломон аль Ратшильд не пожелал указать свое местожительство, сказав, что решение капитула ему сообщит некий еврей из еврейской общины города Тура по имени Товий Натан. Перед уходом еврея ему был предъявлен африканец, в котором он признал пажа дьяволицы и сообщил, что у сарацин есть обычай оскотлять своих слуг, коим поручен надзор за женщинами, и что об этом древнем обычае есть указания у историков: случай с Нарцесом, полководцем константинопольским, и многими другими.

На следующий день после обеда к нам явилась *пятая свидетельница*, весьма высокородная дама де Круамар. Названная дама поклялась святой верой и принесла присягу на евангелии и сказала, проливая слезы, что похоронила своего старшего сына, который скончался вследствие уму непостижимой страсти к дьяволу женского

пола. Онный молодой дворянин, имея от роду двадцать три года, был отменного здоровья, весьма мощен и бородат подобно своему покойному отцу. И, несмотря на свое могучее сложение, через три месяца побледнел и зачах, замученный ведьмой с Горячей улицы, как прозывают ее в народе; а мать лишилась всякой власти над ним. И в последние свои дни он стал похож на жалкого, высохшего червяка, каких нередко обнаруживают рачительные хозяйки, подметая свое жилище. И все же, пока еще мог он держаться на ногах, ходил к этой проклятой и отдавал ей последние свои силы и последние червонцы. Когда же он слег и ждал смертного часа, то изрыгал хулу и брань на голову своей сестры, брата и родной матери, хохотал в лицо духовнику; он отрекся от бога и пожелал умереть нераскаянным, чем весьма огорчились его слуги и, дабы спасти душу господина и извлечь ее из ада, заказали в соборе две ежегодных заупокойных мессы. А за право погребения его в освященной земле семья де Круамар обязалась в течение ста лет жертвовать капитулу воск для нужд часовни и церкви к празднику святой троицы. В заключение мать покойного заявила, что, кроме непотребных слов, произнесенных в присутствии досточтимого брата Людовика По, мармустьерского монаха, пришедшего напутствовать названного барона де Круамара, она от сына не слышала никаких иных слов, касающихся дьяволицы, изводившей его. И, сказав это, высокородная дама в глубоком трауре удалась.

*Шестой* явилась к нам по вызову нашему некая судомойка Жакетта, по прозвищу Чумичка, которая ходит по домам чистить кухонную посуду и живет в настоящее время в рыбном квартале. Поклявшись святой верой не говорить ничего такого, чего бы сама не считала за правду, заявила она следующее. Однажды зашла она на кухню к чертовке, ибо не боялась ее, ввиду того, что она чертовка вредила лишь мужскому полу. Судомойка свободно могла рассмотреть сего дьявола в женском обличии. Роскошно одетая, она прогуливалась в саду в обществе рыцаря, болтая с ним и смеясь, словно обыкновенная женщина. В ней судомойка признала мавританку, обращенную в христианство покойным сенешалом Турени и Пуату мессиром Брюином, графом де ла Рош-Корбон и отданную в монастырь Эгриньольской богоматери. Мавританка эта была найденным, подобранным у подножия статуи святой девы Марии, пречистой матери нашего спасителя. Видимо, ее ребенком похитили цыгане. В то время происходили волнения в Турени, и никто не думал заботиться об этой девчонке, коей исполнилось двенадцать лет, когда покойный сенешал и его супруга спасли ее от костра, где ей не миновать было жариться,—они окрестили ее и стали восприемниками сей дщери ада. В ту пору Чумичка работала прачкой в монастыре и подтверждает, что через двадцать месяцев после поступления в монастырь она цыганка бежала из него столь ловко,

что никто не мог понять, как это произошло. Тогда было признано, что она с помощью дьявола улетела по воздуху, ибо, несмотря на все розыски, никаких следов побега в помещении монастыря не обнаружилось и все вещи оставались на своих местах.

Судомойке был показан все тот же африканец. Она заявила, что его не видела в глаза, хотя и не прочь была поглядеть, ибо он сторожил то помещение, где мавританка неистовствовала, дюжинами губя своих любовников.

Седьмым нами из заключения был вызван для показаний Гюг дю Фу, двадцати лет от роду, сын мессира де Бридоре, отданный своему отцу на поруки по уплате его светлостью соответствующего залога. Гюг дю Фу был застигнут на месте преступления, когда он в сообществе нескольких негодных юнцов напал на тюрьму архиепископства и капитула, осмеливаясь противиться решению церковного правосудия и намереваясь устроить побег дьяволу, о коем идет речь. Невзирая на нежелание юноши отвечать, мы приказали названному Гюгу дю Фу свидетельствовать с полной искренностью обо всем, что известно ему о дьяволе, в сношениях с коим он сильно подозревается, и пояснили, что дело идет о его спасении и о жизни названной ведьмы; тогда он, приняв присягу, сказал:

— Клянусь спасением моей души и святым евангелием, лежащим под моей рукой, я считаю женщину, в коей подозревают дьявола, истинным ангелом, считаю женщиной безупречной телом и еще более того — душою. Она живет совершенно честной жизнью, исполнена очарования и искусна в любви. Она никому не причиняет зла, наоборот, щедра, помогает бедным и обездоленным. Заявляю, что она искренними слезами оплакивала кончину друга моего рыцаря Круамара, и так как она в тот день дала обет пресвятой деве, не допускать до любовных утех слишком слабым плотью юношей, то неистовство и с превеликой стойкостью отказывала мне в наслаждениях телесных и разрешила лишь обладать ее сердцем, признав меня его властелином. После сего любезного дара, сдерживая мои разгорающиеся чувства, она жила в одиночестве, я же проводил в ее доме почти все свои дни, счастливый уж тем, что могу видеть и слышать ее. И я упивался, дыша единым с нею воздухом, любуясь светом, коим все озаряли ее прекрасные очи, испытывая больше радости за сим занятием, чем небожители в раю. Избрав ее навсегда дамой моего сердца, в ожидании того дня, когда она станет моею милой голубкой, моей женой, единственной моей подругой, я, несчастный безумец, не получил от нее даже залога будущих наслаждений, а напротив, слышал только множество добродетельных советов: как достигнуть мне славы доброго рыцаря, как стать сильным и прекрасным, никого не бояться, кроме бога, почитать женщин, служить лишь одной даме и любить прочих в ее честь; впоследствии, когда я окрепну в бранных трудах и если будет она по-прежнему

мила мне, только тогда она станет моею, ибо любит меня одного и, вопреки всему, дождетя меня.

И, говоря так, заплакал молодой рыцарь Гюг и, плача, присо-вокупил, что при мысли об этой прелестной и хрупкой, как тростинка, женщине, чьи руки казались ему слишком слабыми даже для легкого бремени золотых запястий, он не мог совладать с собой, ибо представил себе железные оковы, разрывающие ее нежную кожу, и прочие муки, коим она была предательски подвергнута и кои вызывают его возмущение. И раз уж дозволено говорить о своем горе пред лицом правосудия, он заявляет, что жизнь его навеки связана с жизнью его прелестной возлюбленной и подруги, и если б ей угрожала беда, он твердо решил умереть.

И названный молодой дворянин возносил всякую хвалу дьяволице, что свидетельствует, сколь глубоко проникла в него порча, а также показывает всю мерзость и неисцелимую греховность его жизни и коварство чар, коими он был опутан, что и будет повергнуто на суд господина нашего архиепископа, дабы спасти от адских сетей покаянием и через изгнание беса эту молодую душу, если только дьявол окончательно не завладел ею.

Названного молодого человека передали в руки его родителя, после того как он показал, что африканец — слуга обвиняемой.

*Восьмой* предстала пред нами, введенная с большим почетом слугами господина нашего архиепископа, достопочтенная и высокородная дама Жаклина де Шаневрие, аббатиса кармелитского монастыря пресвятой девы. Даме этой была поручена покойным сеншалом Турени, отцом монсеньора графа де ла Рош-Карбон, ныне покровителя названного монастыря, цыганка, при святом крещении нареченная Бланш Брюин.

Мы объяснили досточтимой госпоже аббатисе нижеследующее: что дело идет о святой церкви, о вящей славе господней и о вечном спасении людей нашей епархии, угнетенных кознями дьявола, равно как о жизни одной из тварей господних, невинность коей еще может быть доказана. После сего объяснения мы просили госпожу аббатиссу свидетельствовать обо всем, что было ей известно касательно таинственного исчезновения ее дочери во Христе, Бланш Брюин, обрученной нашему спасителю под именем сестры Клары. Тогда досточтимая госпожа аббатисса сообщила то, что следует ниже.

Происхождение сестры Клары ей, свидетельнице, не известно. Но подозревается, что родилась она от родителей еретиков, врагов господя нашего. Она действительно была отдана в монастырь, управлять коим поручено ей, аббатиссе, духовной властью, хотя она себя и считает сего недостойной. Названная сестра стойко отбыла срок послушания и произнесла монашеский обет по святому уставу ордена. Но по произнесении обета погрузилась в глубокую грусть и чрезвычайно побледнела. Спрошенная ею, аббатиссой, о причинах уныния, названная сестра, обливаясь слезами, ответила, что причины

сего ей самой не известны; что уже тысячу и один раз проливала она слезы, оплакивая свои прекрасные волосы, и что, помимо того, она жаждет свежего воздуха и не может сдержать желания бегать, карабкаться на деревья и резвиться, как ее к тому приучила жизнь под открытым небом; что ночи свои она проводит в слезах, мечтая о темном боре, под сенью коего ей случалось не раз ночевать. И, вспоминая о прежних днях, возненавидела она монастырский воздух, от которого спирает дыхание; исподволь в ней накоплялись греховные мысли, и подчас мечты отвлекали от молитв, лишая ее всякого покоя. Свидетельница тогда же преподала ей святые поучения, предписываемые церковью, напомнила ей о вечном блаженстве, вкушаемом в раю девственницами, и сколь преходяща жизнь наша на этом свете и сколь безгранична милость божья, дарующая за каждую утраченную нами горькую радость уготованные нам награды любви вечной. Несмотря на эти мудрые материнские советы, злой дух все же упорствовал в названной сестре Кларе, и она попрежнему любовалась листвою дерев, зеленью лугов, глядя на них в церковные окна во время богослужения и в часы молитв. Она, коварная, напускала на себя мертвенную бледность, лишь бы остаться ей в постели, а иной раз носилась по монастырскому двору, подобно козе, сорвавшейся с привязи. В конце концов она исхудала, утратила свою неопишуемую красу и блуждала как тень. «По этой причине, мы, аббатисса, ее духовная мать, опасаясь рокового исхода, поместили сестру Клару в лазарет. И в одно зимнее утро она исчезла, не оставив за собой никаких следов побега, как то: взломанных дверей, замков, открытых окон, ничего, что доказывало бы ее бегство. Ужасное это происшествие мы отнесли за счет пособничества дьявола, терзавшего и соблазнявшего ее. Тогда отцами нашей церкви дано было заключение, что сия дочь ада, назначенная отвращать монахинь от их святой жизни, но ослепленная блеском их добродетелей, пролетев по воздуху, вернулась на шабаш ведьм, которые, желая надругаться над нашей святой верой, подбросили сию цыганку на площадь у статуи девы Марии».

Сказав это, аббатисса с великим почетом, по приказанию господина нашего архиепископа, была отвезена в свой монастырь.

Девятым пришел вызванный нами для показания Жозеф, по прозвищу Рыбак, — меняла, лавка коего находится у моста под вывеской «Золотой безант». Меняла поклялся своей католической верой не говорить ничего другого, кроме правды, известной ему, по поводу дела, ведомого церковным судом. И он свидетельствовал следующее:

— Я — несчастный отец, ввергнутый святою волей господина в великую скорбь. До появления здесь ведьмы с Горячей улицы было у меня единственное сокровище — мой сын. Он был красив, не хуже дворянина, и учен, как писец: более дюжины совершил он путешествий в чужие страны и к тому же был добрый католик;

он бежал любовных игр, ибо решил остаться в безбрачии, разумея, что он моя единственная опора на старости лет, свет моих очей и радость моего сердца. Таким сыном гордился бы сам король Франции. Добрый и смелый малый, лучший мой советник во всех делах торговли, веселье моего дома, одним словом — сокровище бесценное, ибо я одинок на этом свете, потеряв в недобрый час подругу жизни, и слишком я ныне стар, чтобы родить себе еще сына. И что же, монсеньор, сокровище это, не имеющее себе равного, и зято дьяволом и ввергнуто в ад. Да, господин судья, как только мой сын увидел сии ножны от тысячи кинжалов, сию дьяволицу ненасытную, в коей все — орудие погибели, тенета соблазна и сладострастия, бедняга запутался в них и с того дня жил между колонн Венеры, и протянул недолго из-за нестерпимого зноя, там царящего, ибо потоку не утолить жажды ненасытной прорвы, хоть вливай в нее потоки всего мира! Увы, бедный мой мальчик все свое состояние, все надежды на потомство, на вечное блаженство, самого себя целиком, да и не только себя, вверг в бездну, словно крупницу проса в пасть быка. И я, сирота на старости лет, я, здесь свидетельствующий, не хочу иной радости, как только видеть, как зажарят сего дьявола, вскормленного кровью и золотом, паука, запутавшего в свои тенета, стубившего больше молодых супругов, больше семейных уз и сердец, больше добрых христиан, чем найдется прокаженных во всем христианском мире. Жгите, терзайте сию блудницу, сего вампира, растлевающего души, кровожадную тигрицу, факел любовный, кипящий ядом всех гадюк. Завалите яму сию бездонную. Жертвую свои деньги капитулу на хворост для костра, предлагаю руку мою, чтоб бросить в огонь первую вязанку. Держите крепко, господа судьи, оного дьявола, ибо огонь его сильнее всякого земного огня. Само адское пекло в лоне ее. Сила ее, сила Самсонова, в ее волосах, а в голосе ее — как будто райская музыка. Она пленяет, чтоб убить и тело и душу. Она улыбается, чтоб укусить, она лобзает, чтобы пожрать. Одним словом, она и святого может привязать к себе и заставить отречься от бога. Сын мой, сын мой, где ты сейчас, цвет моей жизни, цветок, срезанный дьявольскими чарами! Святой отец, зачем призвали вы меня? Кто отдаст мне моего сына, душу коего поглотило чрево, дарующее смерть всем и никого не родившее, ибо один лишь дьявол прелюбодействует без зачатия. Вот мое показание, которое прошу мэтра Турнебуша записать, не сокращая ни на иоту, и дать мне его в списке, дабы я мог читать его богу, ежевечерне вознося молитвы, наполнить слух его воплями о крови невинного, дабы умолить его простить моему сыну в бесконечном милосердии своем.

Засим следует еще двадцать семь показаний, передать которые в их настоящем виде и полноте было бы слишком долго и докучно. Это запутало бы нить достопамятного дела, меж тем как, по

правилам старины, рассказ должен идти прямо к цели, как вол в ярме по знакомой дороге. Вот в коротких словах главная суть этих показаний.

Немало добрых христиан, горожан и горожанок славного города Тура показали, что она дьяволица проводит все дни в разгуле и пирах, затмевающих пышностью королевские забавы. Никогда никто не видел ее в церкви, бога она хулила, над священнослужителями смеялась. Никогда и нигде не сотворила она крестного знамения, и говорит она на всех языках мира, что разрешил господь лишь святым апостолам. Не раз носилась она верхом на звере неизвестного вида, взлетая под самые облака. Она не стареет, и лицо ее вечно молодо. В один и тот же день она дарит любовью отца и сына, не считая это за грех; от нее исходит дух лукавый, чья пагубная власть проявилась на некоем пекаре, который однажды вечером сидел на скамье у крыльца своего дома и, увидав ее, проходящую мимо, чуть не задохнулся от любовного жара, поспешил домой, лег в постель и заключил в объятия свою хозяйку с неистовой страстью. Поутру же нашли его мертвым. И мертвый он все еще любодествовал. Говорили еще, что многие старцы отдавали остаток своих сил и червонцев, чтобы проникнуть к ней и вкусить от греха, как в дни своей юности, и что умирали они, как мухи, отвернувшись от неба, и тут же чернели, точно мавры. Дьяволица никогда не появлялась ни к обеду, ни к ужину, ибо питалась лишь в одиночку, поедая человеческие мозги. Не раз видали ее на кладбище, куда она ходила по ночам глотать кости молодых мертвецов, желая насытить дьявола, каковой бешено брыкался и ярился в ее лоне, чем и объясняются ее убийственные, губительные, сокрушительные, язвящие, жальщие лобзания и объятия, любовные судороги и корчи, после коих многие мужчины уходили помяты, скрючены, искусаны, исцарапаны, пришиблены. Словом, с того дня, как наш спаситель загнал легион бесов в стадо свиней, не родилось на земле более злой и вредной, ядовитой и хищной твари. И если бы бросить весь наш богоспасаемый город Тур на эту ниву Венерину, превратился бы он в семя городов, и уж не преминула бы эта чертовка проглотить его, как ягоду.

Последовало еще множество заявлений, донесений, показаний, жалоб, из которых обнаружилась дьявольская природа этой женщины — дочери, бабки, сестры, любовницы, ублюдка сатаны. Помимо того, показания сии заключали длинный перечень бед и несчастий, навлеченных ею на все семья. И если можно было бы передать здесь все, согласно протоколам, хранящимся у старика, косму мы обязаны их обнаружением, то до читателя дошли бы вопли ужаса, подобные воплям египтян на седьмой день казней египетских. Протоколы, подписанные мэтром Гильомом Турнебушем, поистине делают честь его имени.

На десятом заседании следствие было закончено, достигнув долж-

ной полноты и убедительности доказательств, украсившись подлинными документами и в достаточной мере разбухнув приложениями — жалобами, отводами, возражениями, доверенностями, поручительствами, вызовами, заочными свидетельствами, всенародными и тайными признаниями, клятвами, очными ставками и показаниями, — на все это дьяволица должна была дать ответы. Недаром горожане говорили, что если она действительно дьяволица, изводящая мужчин, то и тогда ей придется пробираться через лавину исписанных пергаментов, прежде чем она вернется цела и невредима в свое адское пекло.

## Глава вторая

### О ТОМ, КАК ПОСТУПИЛИ С ОНЫМ ДЬЯВОЛОМ ЖЕНСКОГО ПОЛА

*In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.*

В год тысяча двести семьдесят первый от рождества Христова перед нами, Жеромом Корнилем, великим пенитенциарием и духовным судьей, облеченным сим званием святою церковью, явились: мессир Филипп д'Идре — бальи города Тура и провинции Турени, жительствующий в собственном доме на улице Ротисери; мэтр Жеан Рибу — староста братства и мастер цеха суконщиков, жительствующий на набережной Бретани, у коего на вывеске изображен святой Петр в «оковах»; мессир Антуан Жаан — староста цеха менял, жительствующий на площади у моста, имеющий на вывеске своей изображение святого Марка, считающего деньги — турецкие ливры; мэтр Мартин Бопертюи — капитан городских лучников, жительствующий в замке; Жеан Рабле — корабельный конопатчик, жительствующий при верфях острова св. Иакова, казначей братства лурских корабельщиков; Марк Жером по прозвищу Железная Петля — вязальщик, председатель коллегии мастеров, у коего на вывеске изображен святой Севастьян; Жак, называемый Вильдомер, — кабатчик и винодел, жительствующий на Большой улице, где он и содержит питейное заведение «Сосновая шишка». Названному мессиру д'Идре, бальи, равно как и остальным вышеперечисленным турецким горожанам, зачитали мы следующее прошение, составленное ими, обдуманное и подписанное для направления в церковный суд:

#### *Прошение*

«Мы, нижеподписавшиеся, жители города Тура, пришли в дом господина д'Идре — бальи Турени, ввиду отсутствия нашего мэра, с просьбою выслушать жалобы наши и пени о злодеяниях и кознях, излагаемых ниже. Заявление направляем в суд архиепископа, раз-

бирающий преступления против католической церкви, к коим и относится поднятое нами дело.

С некоторых пор в нашем городе появился зловредный дьявол в образе женщины, проживающей на усадьбе Сент-Этьен в доме хозяина гостиницы Тортебра, построенном на земле соборного капитула, каковая земля подчинена судебным установлениям, действующим в архиепископских владениях. Сия женщина, чужеземка, ведет жизнь блудницы, позволяя себе злоупотребления и излишества всякого рода, доходя до столь злокозненного распутства и продажности, что поступки ее грозят разрушить веру католическую в нашем граде, ибо те, кто посещает ее, возвращаются с душой безнадежно загубленной, отказываются от наставлений святой церкви, изрыгая непристойную хулу на нее.

Посему, принимая во внимание, что многие из тех, кто ее навещал, скончались, и что, явившись в наш город, она не имела никакого иного имущества, кроме самой себя, а накопила, как о том идет молва, несметные богатства и сокровища, равные королевским, отчего и возникло подозрение, что приобретаются они путем колдовства или краж при помощи волшебных чар, исходящих, противу естества человеческого, от сей сладострастной чужеземки;

принимая во внимание, что дело идет о чести, безопасности наших семей, что никогда еще в нашем крае не было столь жадной и похотливой блудницы, которая столь вредоносно исполняла бы свое поганое ремесло и столь явно и страшно угрожала жизни, кошельку, нравам, добродетели, религии и всему достоянию жителей нашего города;

принимая во внимание необходимость расследовать личность и поведение оной преступницы, дабы проверить законны ли ее любово-страстные действия и не проистекают ли они, как то видно из ее поведения, от внушения злого духа, посещающего нередко христианский мир в женском обличи, о чем учит нас святое писание, где сказано, что наш спаситель был вознесен на гору сатаной, именуемым Люцифером, или Астаротом, показавшим ему в краткое мгновение времени плодоносные долины Иудейские, и что во многих местах видены была тогда суккубы, или демоны с женским обличем, каковые демоны, не желая вернуться в преисподнюю, остались на земле и, храня в себе неугасимый огонь, пытаются освежить себя и насытиться, пожирая души человеческие;

принимая во внимание, что в случае, касающемся названной женщины, имеются тысячи доказательств бесовского наваждения, о коих горожане говорят открыто, и что полезно даже для спокойствия самой обвиняемой привести дело к полному выяснению, дабы она не подверглась преследованию от людей, разоренных ее кознями;

посему молим вас соблагovolить представить нашему духовному владыке и отцу нашей епархии премилостивому и пресвятому ар-

хиспископу Жеану де Монсоро на рассмотрение жалобы страждущей его паствы и испросить его вмешательства. Тем вы исполните положенное вам по сану, как мы исполняем долг стражей, бдящих о безопасности города, каждый, согласно вверенным его попечению делам.

К сему руку приложили в год от рождества господа нашего тысяча двести семьдесят первый, в день всех святых, после обедни».

После того как мэтр Турнебуш закончил чтение сего прошения, мы, Жером Корниль, спросили жалобщиков:

— Мессиры, настаиваете ли вы и ныне на вами изложенном? Есть ли у вас иные доказательства, кроме тех, каковые вы нам представили? Готовы ли вы поклясться перед богом, людьми и перед обвиняемой в истинности ваших слов?

Все, кроме мэтра Жеана Рабле, настояли на своем заявлении, а названный Рабле отказался от обвинения, сказав, что он считает мавританку вполне натуральной и славной девкой, у которой нет иных пороков, как только доводить любовь до чрезвычайно высоких градусов.

Посему, мы, судья, по зрелом размышлении решили дать ход прошению означенных горожан и постановляем предъявить женщине, заключенной в узилище капитула, обвинение, допросить ее и судить по статьям законов, канонических правил и ордонансов contra daemonios.

Приказ с изложением обвинений будет обнародован городским глашатаем на всех перекрестках города при звуке труб, дабы всем было ведомо и дабы каждый мог прийти с показанием, согласно своей совести, и быть сведен в очной ставке с дьяволицей и дабы обвиняемая могла обеспечить себя, согласно закону, защитником для ведения сего дела подобающим образом.

Подписали: *Жером Корниль.*

А ниже:

*Турнебуш.*

*In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.*

В год тысяча двести семьдесят первый от рождества Христова, в десятый день февраля месяца после обедни по нашему, Жерома Корниля духовного судьи, приказу была приведена из тюрьмы капитула женщина, взятая в доме хозяина гостиницы Тортебра, что в владениях капитула собора св. Маврикия, и посему подлежащая правосудию Турского архиепископства. По сути же ее преступления имеет быть судима церковным судом, о чем она и была поставлена нами в известность.

После того как ей были внятно прочитаны и ею хорошо усвоены: во-первых, прошение города, во-вторых, жалобы, обвинения, свидетельства, против нее изложенные в двадцати двух тетрадах мэтром Турнебушем, о чем было ранее нами упомянуто, мы, призывая

имя божье и святую церковь, приняли решение обнаружить истину посредством допроса названной обвиняемой.

Во-первых, мы спросили обвиняемую, из какой страны и города она родом?

На что ответ дала: «Из Мавританской страны».

Потом мы спросили, есть ли у нее отец и мать или какая-нибудь родня?

На что ответ дала, что родителей своих не знает.

Мы спросили, как ее имя?

На что ответ дала: «По-арабски — Зульма».

Мы спросили, откуда она знает наш язык?

На что ответ дала: «Знаю, потому что переселилась в вашу страну».

Мы спросили, когда это было?

На что ответ дала: «Приблизительно двенадцать лет тому назад».

Мы спросили, сколько лет ей было тогда?

На что ответ дала: «Пятнадцать лет без малого».

Мы сказали: «Итак, вы признаете, что вам двадцать семь лет».

На что ответ дала: «Признаю».

Мы сказали ей, что она та самая мавританка, найденная у подножия статуи владычицы-девы, крещенная архиепископом; восприемниками ее были покойный сенешал де ла Рош-Корбон и госпожа д'Азе, его супруга. Мы сказали ей, что она была отдана в монастырь кармелиток, где дала обет девственности, бедности, молчания и любви к господу, под благим покровительством святой Клары.

На что ответ дала: «Это правда».

Тогда мы спросили, признает ли она за правду показания высокочтимой и благородной госпожи аббатиссы монастыря кармелиток, а также показания Жакетты, по прозвищу Чумичка, кухонной судомойки.

На что ответ дала, что большей частью это правда.

Мы сказали ей: «Значит, вы христианка?»

На что ответ дала: «Да, отец мой!»

Тогда ей было предложено осенить себя крестным знаменем и почерпнуть святой воды из кропильницы, каковую подал ей Гильом Турнебуш, что она и сделала на наших глазах, чем установлено было с очевидностью, что Зульма-мавританка, именуемая в нашей стране Бланш Брюин,— монахиня из монастыря кармелиток, нареченная сестрой Klarой, подозреваемая в том, что она — дьявол, принявший женский облик, в нашем присутствии засвидетельствовала свою веру и тем самым признала правомочность над собой церковного суда.

Тогда нами были сказаны ей следующие слова:

— Дочь моя, над вами тяготеет грозное подозрение, что дьявол споспешествовал вашему исчезновению из монастыря, ибо свершилось оно сверхъестественным путем.

На что ответ дала, что бегство ее произошло вполне естественным

путем — через выходную дверь, после вечерни, под плащом монаха-доминиканца Жеана де Марселис, посетившего монастырь. Доминиканец поселил ее в своей каморке на улице Купидона, поблизости одной из городских башен. Сей монах длительно и упорно обучал ее любовным ласкам, о коих в то время она не имела никакого представления. К этим ласкам она чрезвычайно пристрастилась и находила в них великую приятность. Мессир Амбуаз увидел ее в окошко и воспылал к ней страстью. Она полюбила его от всего сердца, больше, чем монаха, и бежала из конуры, где доминиканец прятал ее удовольствия своего ради. Оттуда она попала в Амбуаз, где развлекалась охотой, танцами и имела наряды королевской пышности. Однажды мессир де ла Рош-Позе был приглашен бароном Амбуазом попить и повеселиться. Барон Амбуаз, без ведома ее, показал ее приятелю, когда она нагая выходила из ванны. Увидев ее, мессир де ла Рош-Позе охвачен был любовным недугом и на следующий же день сразил на поединке барона Амбуаза, а ее против воли, не вникая слезам, увез с собой в святую землю, где она вела жизнь женщин, чья красота привлекала к ним всеобщую любовь и поклонение. После многих приключений вернулась она, обвиняемая, в нашу страну, презрев мрачные предчувствия, ибо такова была воля ее господина и повелителя барона де Бюэля, чахнувшего в азиатской стране от тоски по родному замку. Он обещал оградить ее от всяких преследований. Она доверилась ему, тем паче что любила его крепко. Но по приезде своем в эту страну рыцарь де Бюэль, к великому ее прискорбию, занемог и скончался; не прибегал он ни к каким лекарям, невзирая на настойчивые ее мольбы, ибо ненавидел врачей, знахарей и аптекарей, и сие есть истинная правда.

Тогда мы спросили обвиняемую, признает ли она за правду все сказанное добрым рыцарем Гардуэном и хозяином гостиницы Тортебра. На что ответ дала, что признает сказанное правильным в большинстве своем, но многое в то время назвала злословием, клеветой и глупостью. Тогда обвиняемой было предложено нами заявить, была ли у нее любовь и плотская близость со всеми теми рыцарями и прочими, о чем свидетельствуют жалобы и заявления жителей города Тура. На что она весьма дерзко ответила: «Насчет любви признаюсь,— насчет плотской близости не помню».

Тогда мы сказали, что все те мужчины умерли по ее вине. На что ответ дала, что неповинна в их смерти, ибо всегда отказывала им. И чем более избегала их, тем они яростнее ее домогались, но когда овладевали ею, то, по милости божией, она отдавалась любви от всего сердца, ибо испытывала радости, ни с чем не сравнимые. Затем она заявила, что созналась в тайных чувствах своих лишь потому, что призвали ее говорить всю правду и она говорила, страшась костра и палачей.

Тогда мы спросили ее, под страхом пыток, что она имела в

чувствах, когда какой-нибудь благородный рыцарь умирал вследствие близости с нею. На что ответила, что сие повергало ее в тоску и она просила себе смерти и молила бога, святую деву и угодников принять ее к себе в рай, тем паче что встречалась лишь с мужчинами прекрасной и чистой души, и, видя их гибель, премного скорбела, считая себя вредоносным созданием, жертвою злого рока, который передавался другим, как чума.

И тогда мы спросили у нее, где она молилась?

На что ответ дала, что молилась у себя дома в молельне, преклоняя колени перед богом, который, согласно евангелию, видит и слышит все и пребывает везде.

Мы спросили ее, почему она не посещает церковных богослужений и не соблюдает праздников. На что ответ дала, что те, которые посещали ее для любви, выбирали праздничные дни, и она следовала их желанию.

Возражая на это, мы христиански наставили ее, что, поступая так, она больше покорялась воле людей, нежели заповедям божьим.

На что ответ дала, что ради тех, кто горячо любил ее, она бросилась бы в сгонь, не имея никаких иных побуждений к любви, кроме своего желания. За все золото мира не отдала бы она своего тела и своих ласк даже королю, не полюбив его всем сердцем, всем существом, от головы до пят, от кончиков ногтей до корней волос. Словом сказать, никогда не была продажной, ни одной крупицы своей любви не отдавала мужчине, не избранному ею. И тот, кто хоть один час держал ее в своих объятиях или поцеловал ее хоть однажды в уста, обладал ею до конца своих дней.

Мы спросили, откуда у нее драгоценности, золотые и серебряные блюда, драгоценные камни, роскошная утварь, ковры и прочее — стоимостью в двести тысяч дублонов, согласно оценке, каковые вещи, обнаруженные в ее жилище, переданы в казну капитула. На что ответ дала, что на нас она надеется, как на самого бога, но не смеет отвечать на этот вопрос, ибо он касается одной из сладчайших сторон любви, которой она неизменно жила.

Спрошенная вторично, она ответила, что если б судья знал, каким обожанием она окружала возлюбленного, с какой покорностью следовала за ним во всех его начинаниях, благих и скверных, если б он знал, с каким усердием ему подчинялась, с какой радостью исполняла желания возлюбленного, внимая, как закону, каждому слову, которым он дарил ее, если б судья знал, каким поклонением пользовался этот мужчина, то мы сами, старый судья, сочли бы вслед за ее возлюбленным, что никакими деньгами не оплатить эту великую привязанность, которой ищут все мужчины. Затем она сказала, что никогда ни у одного из них не просила ни подарка, ни платы и довольствовалась тем, что жила в их сердцах, в чем и находила непрерывное, невыразимое наслаждение. Она чувствовала себя богатой, обладая сердцем возлюбленного, и не помнила

ни о чем ином, как только о том, чтобы воздать ему большей радостью, большим счастьем, нежели то, что от него получила.

Но, вопреки ее запрету, влюбленные своим долгом считали всегда любезно ее благодарить. То один приходил к ней, дарил ей жемчужную пряжку, говоря: «Вот доказательство, что я не ошибся и атласная твоя кожа с своею белизной превосходит жемчуга». Говоря так, он надевал жемчуг ей на шею, целуя ее страстно. Она, утверждающая сие, сердилась на подобные безрассудства, но не могла отказаться от драгоценных украшений, дабы не лишать возлюбленного услады любоваться ожерельями и запястьями, блиставшими на ее теле. Каждый по-своему ее наряжал, у каждого были свои прихоти. Одному нравилось рвать на ней роскошные одежды, в которые она облекалась лишь ему в угоду. Другой украшал ее сапфирами, покрывал ими ее руки, ноги, шею, волосы. Иной укладывал ее на ковер, завернув в длинный хитон из черного шелка или бархата, и целыми днями мог восторгаться совершенством ее красоты. Все прихоти ее любовников доставляли ей неизъяснимое удовольствие, ибо сие радовало их. Затем она сказала, что ничто нам так не мило, как наше собственное наслаждение, и мы стремимся к тому, чтоб все сверкало красотой и дышало гармонией вокруг нас и в наших сердцах, а потому все ее любовники одинаково желали украсить ее жилище самыми богатыми дарами; побуждаемые этим желанием, с такою же охотой, как и она сама, убирали они золотом ее жилище, расстилали шелка, расставляли цветы. Ввиду того, что это никому не мешало, не было у нее ни намерения, ни возможности запретить рыцарю или даже влюбленному в нее богатому горожанину поступать по своей воле, и таким образом она принуждена была принимать от них в дар редкие благовоения и иные приятности, от которых сама была без ума; таково происхождение золотых блюд, ковров и драгоценных камней, изъятых у нее по приказу церковного суда.

Здесь кончается первый допрос названной сестры Клары, подозреваемой в том, что она дьявол. Кончается допрос по той причине, что мы, судья, а также Гильом Турнебуш, стали изнемогать, слушая голос помянутой обвиняемой, и почувствовали даже некоторую истому. Нами, судьей, назначен второй допрос на третий день от сего числа для нахождения доказательств бесовской одержимости обвиняемой. Согласно приказу судьи, названная обвиняемая препровождена обратно в узилище под охраной мэтра Турнебуша.

*In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.*

В день тринадцатый указанного месяца февраля перед нами, Жеромом Корнилем, и прочая, и прочая предстала обвиняемая сестра Клара для допроса о деяниях ее и вменяемых ей преступлениях.

Мы, судья, сказали обвиняемой, что из различных ответов,

данных ею на предыдущем допросе, суд выводит заключение, что не во власти обыкновенной женщины, буде даже разрешено ей предаваться плотскому греху во угождение всем, доводить стольких до смерти, столь искусно соблазнять чарами,— невозможно сие без содействия вошедшего в нее беса, коему продана ее душа по взаимному с ним договору. Отсюда следует, что под внешним ее обличем живет и действует дьявол, виновный в сих бесовских делах, а по сему от нее требуется ныне: заявить, сколько было ей лет, когда приняла она в себя дьявола, сознаться, какие условия были заключены между нею и дьяволом, и правдиво рассказать об их совместных злых кознях. И тут обвиняемая заверила, что готова отвечать нам, смертному, как богу, нашему общему судье, и после чего утверждала, что никогда не видела дьявола, не говорила с ним и не имела желаний его видеть; никогда не занималась ремеслом блудницы, ибо предавалась всевозможным наслаждениям, каковые изобретает любовь, не иначе как побуждаемая желанием того удовольствия, которое творец небесный вложил в оное занятие; и двигала ею не столько неутолимая похоть, сколько стремление излить нежность и доброту сердца на возлюбленного господина своего. Но, если таково было ее хотение, она молит нас подумать о том, что она по рождению бедная африканка, в жилы которой господь влил горячую кровь и дал ей столь сильную склонность к любовным усладам, что не могла она сдерживать сердечного волнения при одном взгляде мужчины. Если вожделевший к ней рыцарь касался ее, она сразу, замерев, подпадала помимо своей воли под его власть. От оного прикосновения просыпалось в лоне ее предчувствие и воспоминание всех утех любви и возникало жгучее волнение, так что пламя пробегало по жилам, и вся она с головы до ног обращалась в любовь и радость. И с того дня, когда доминиканец — монах Марселис — первым открыл ей понимание сих вещей, не стало у нее другой мысли, и она уразумела, в сколь совершенном соответствии находится любовь с данными ей природой особыми качествами, что она, конечно, бы зачухла в том монастыре без мужчины и естественной близости с ним. В доказательство она утверждала с уверенностью, что после ее бегства из названного монастыря не случалось ей не только одного дня, но и одной минуты проводить в тоске или грусти; всегда она была весела, исполняя тем святую волю господню, пожлавшего вознаградить ее за все время, потерянное в монастыре.

На сие мы, Жером Корниль, возразили оному дьяволу, что подобный ответ есть явное богохульство, ибо все мы сотворены для вящей славы творца и рождены на свет, дабы служить господу и чтить его, помнить его благие заповеди и жить в святости, в чаянии вечного блаженства, а не валяться вечно на ложе, совершая то, что даже тварь всякая делает в положенное ей время года. На что названная сестра ответила, что всегда почитала господа во всех странах,

где была, и всегда пеклась о старых и недужных, подзвая им и деньгами и платьем, и сочувствовала им в их нищете, и что надеется в день Страшного суда предстать перед творцом в соупутствии немалого числа добрых дел, угодных богу, кои взывать будут о прощении ей грехов. Далее она сказала, что если б не смирение и не страх прогневить святых отцов капитула, то с превеликой радостью отдала бы она свое имущество, чтобы достроить собор святого Маврикия, и сделала бы постоянный вклад ради спасения своей души, для чего готова отрешиться от самой себя и своих радостей, и что мысль о благом деле давала бы ей двойную усладу, ибо каждая любовная ночь закладывала бы лишний камень в воздвигаемую базилику. Ради каковой цели, а также ради ее вечного спасения, все любящие ее с великой охотой пожертвовали бы своим достоянием.

На что мы ответствовали сей ведьме, что она не может оправдаться в своем бесплодии, ибо, несмотря на столь частое плотское сближение, не родилось от нее ни одного младенца, что доказывает присутствие в ее теле дьявола. Единственно Асторот или какой-либо святой апостол мог бы говорить на всех языках, она же говорила на языках всех стран, и это тоже доказывает присутствие в ней дьявола. На это ответила, что касается знания языков, то по-гречески ничего не знает, кроме лишь Кири элейсон (господи помилуй), и к сим словам прибегала нередко. По-латыни же ведомо ей одно лишь слово: *Amen*, и обращалась она с этим словом к господу, молясь об освобождении из узилища. Говоря об остальном, она заявила, что весьма сетовала на свое бесплодие, и если добродетельные жены рожают, то происходит это, по ее разумению, лишь от того, что мало радости черпают они в любви, меж тем как она наслаждается даже чрезмерно. Но такова, видно, воля господа бога, коему ведомо, что избыток счастья грозил бы миру гибелью.

Услышав это и еще тысячи подобных объяснений, достаточно доказующих присутствие дьявола в теле оной монахини, ибо таково свойство Люцифера, что доводы его, зиждясь на ереси, кажутся правильными, мы приказали подвергнуть в нашем присутствии обвиняемую геенне и пытке, дабы смирить дьявола страданием и подчинить его церковной власти. В свидетели сего мы вызвали на допрос Франсуа де Ганжеста, врача капитула, желая поручить ему обследовать свойства женского естества (*virtutes mulvae*) обвиняемой, религии нашей ради, выяснить, не обнаружатся ли у нее какие-либо приспособления для ловли особым путем христианских душ.

Мавританка сначала горько плакала, потом, несмотря на оковы, бросилась на колени с криком и стонами, моля об отмене нашего приказа, доказывая, что ее тело в таком состоянии слабости и кости ее столь хрупки, что расколются подобно стеклу. Потом она предложила в качестве выкупа за себя отдать капитулу все свое состояние и обещала незамедлительно покинуть страну.

На что мы повелели ей заявить добровольно, что она всегда была дьяволицей — то есть, что она из породы ведьм, кои суть дьяволы женского пола, — на них адом возложено соблазнять христиан порочными ласками и пагубными обольщениями любви. На что она ответила, что подобное заявление было бы отвратительной ложью, ибо ее женское естество сотворено в согласии с природой.

Когда же оковы были сняты с нее палачом, обвиняемая преднамеренно и по злому умыслу распахнула свои одежды и помрачила, смутила наш разум и произвела потрясение в наших мыслях видом своего тела, поистине оказывающего на мужчин сверхъестественное действие.

Тут мэтр Гильон Турнебуш, не в силах побороть природу свою, бросил перо и вышел вон, объяснив нам, что не может присутствовать при истязании обвиняемой, не испытывая невообразимого соблазна, являющего его мозг, ибо чувствует, как его одолевает бес.

Тут закончился второй допрос, ввиду того что гонец и привратник капитула доложили, что мэтр Франсуа де Ганжест в отъезде. Пытка и допрос отложены до завтра и произойдут в полдень после обедни. Сие занесено нами, Жеромом Корнилем, в отсутствие мэтра Гильома Турнебуша, что подписью удостоверяю

*Жером Корниль  
великий пенитенциарий.*

#### А К Т

Сего дня четырнадцатого числа месяца февраля пришли к нам, Жерому Корнилю, следующие граждане: Жеан Рибу, Антуан Жаан, Мартен Мопертюи, Жером Железная Петля, Жак де Виль д'Омер и мессир д'Идре, замещающий мэра города Тура в его отсутствие. Каковым жалобщикам, подписавшим прошение о судебном преследовании, составленное в городской ратуше, мы объявили нижеследующее. Бланш Брюин, постригшаяся, как она ныне призналась, в монастыре кармелиток под именем сестры Клары, и обвиняемая ныне в дьявольской одержимости, просит подвергнуть ее божьему суду и для своего оправдания вызывается пройти испытание водой и огнем в присутствии членов капитула и всего города Тура, дабы доказать свою естественную женскую природу и всю невиновность.

На сие прошение названные обвинители ответили согласием и приняли на себя обязанность, как представители города, подготовить место, пригодное для костра, и одобрили назначение восприемников обвиняемой. После чего нами, судьей, был назначен срок испытания на первый день нового года, совпадающий с праздником пасхи, в полдень, после обедни. Обе стороны признали, что срок этот вполне достаточен. Согласно их желанию, настоянию и за их счет, настоящее решение будет оглашено по всем городам, селам и замкам Турени и по всей Франции.

*Жером Корниль.*

О ТОМ, ЧТО СДЕЛАЛА ВЕДЬМА, ДАБЫ ЗАВЛАДЕТЬ ДУШОЙ  
СТАРОГО СУДЬИ, И ЧТО ПРОИЗОШЛО ВСЛЕДСТВИЕ СЕГО  
ДЬЯВОЛЬСКОГО НАВАЖДЕНИЯ

Сие есть предсмертная исповедь, совершенная в первый день марта месяца 1271 года от рождества господя нашего спасителя Жеромом Корнилем, священником, каноником капитула собора св. Маврикия, великим пенитенциарием, признающим себя сих званий и сана недостойным. Оный Жером Корниль, достигнув последнего часа жизни и будучи отягчен бременем прегрешений, злодеяний, беззаконий и мерзости всякой, пожелал, чтоб признания его были обнародованы и сим послужили торжеству истины, славы божьей и правосудия церковного суда, дабы снискать облегчение кары своей на том свете.

Для выслушания исповеди названного Жерома Корниля, лежавшего на смертном одре, были призваны Жан де ла Гэ (Гаагский) — никарий церкви св. Маврикия, Пьер Гюар — казначей капитула, назначенный нашим господином архиепископом Жеаном де Монсоро записывать слова умирающего, засим доминиканец Людовик По, монах Мармустьерского монастыря, избранный умирающим в духовные отцы и исповедники. К сим троим присоединился великий ученый, уважаемый доктор Гильом де Цензорис, римский архидиакон, присланный (legatus) святейшим отцом нашим папой и находящийся временно в нашей епархии. Сверх сего присутствовало большое число верующих, пришедших, дабы стать свидетелями при кончине названного Жерома Корниля, ввиду его желанья принести всенародное покаяние, ибо он отходит в дни великого поста и слова его могут открыть глаза христианам, ослепленным страстями, ведущими в ад.

И так как Жером Корниль по крайней телесной слабости своей говорить не мог, вместо него Людовик По, доминиканец, прочел нижеследующую исповедь к великому смятению всех присутствующих.

«Братья мои, до семьдесят девятого года жизни, какого возраста я ныне достиг, не знал я за собой особых грехов, кроме тех мелких прегрешений, в коих виновен перед господом каждый христианин, сколь праведен бы он ни был, и подобные грехи не столь уж трудно искупить покаянием.

Полагаю, что вел я жизнь христианскую и заслужил то звание и положение, кои присуждены мне всей епархией, где я облечен был высоким саном великого пенитенциария, коего я оказался недостойн. Ныне же, страшась предстать перед лицом господя, трепеща перед муками, кои уготованы злодеям и клятвопреступниками в аду, я решил, приближаясь к последнему моему часу, облегчить чудовищный груз своих злодеяний самым искренним покаянием, на какое я только способен. Посему вымолил я у церкви, той церкви, от коей отступился, кою предал, поправ ее правосудие

и могущество, разрешение снизойти к моей просьбе и позволить мне, по примеру древних христиан, исповедаться всенародно. Хотелось бы мне найти в себе довольно сил, чтобы раскаяние свое усугубить: встать на паперти собора, где и подвергнуться глумлению от всех братьев моих; целый день провел бы я там, коленопреклоненный, со свечой в руке, с вервием вокруг шеи, босой, ибо много блуждал я по адским тропам, нарушая заповеди господни. Но да будет в этом великом крушении зыбкой моей добродетели поучение вам,— страшитесь, братья, соблазна и козней дьявольских, ищите прибежище в единоспасающей церкви. Я столь был соблазнен Люцифером, что лишь ради вашего представительства, о коем я взываю, господь наш Иисус Христос смилуется надо мной, бедным заблудшим христианином, чьи очи исходят слезами. О, если бы мог я прожить вторую жизнь, дабы трудом и молитвою искупить мои грехи. Итак, внимайте и трепещите от великого страха.

Я был избран капитулом для выяснения дела, поднятого против некоего дьявола в женском облици, действующего в образе беглой монахини, гнусной богоотступницы. Имя ее Зульма в языческой стране, откуда она прибыла; в нашей епархии известна она как сестра Клара, монахиня монастыря кармелиток, повергшая в смятение весь город, соблазнившая великое множество мужчин, дабы захватить их души во власть Маммоны, Астарота и сатаны — князей тьмы. Достигала она сего, отправляя доблестных мужей на тот свет в состоянии смертного греха и причиняя им смерть тем путем, каковым дается жизнь. А я, судья, старец, чье сердце остужено годами, попался на закате дней своих в ту же западню, и потерял разум, и предательски нарушил обязанности, возложенные на меня капитулом. Узнайте же, сколь лукав дьявол, и остерегайтесь его козней. На первом допросе оной ведьмы я увидел в ужасе, что оковы не оставили следа на ее ногах и руках, и я был поражен скрытой ее силой при внешней ее слабости. Ум мой помрачился внезапно, когда я увидел телесные совершенства, коими облекся дьявол. Я внимал музыке ее речей, согревавших меня от головы до ног, голос ее вызывал во мне желание быть молодым, дабы отдаться этому дьяволу, и мне уже казалось, что единый час, проведенный с нею, радость любви в ее нежных объятьях стоят вечного блаженства. Тогда пренебрег я твердостью духа, коей должен быть вооружен судья. Сей дьявол, допрашиваемый мной, опутал меня такими словами, что на втором допросе уверился я, будто совершу преступление, ежели подвергну пыткам и мукам хрупкое создание, плакавшее подобно невинному ребенку. Тогда голос свыше указал мне исполнить долг свой, ибо позлащенные словеса и речи, звучавшие, будто арфа небесная, суть дьявольские уловки; сие тело, столь стройное, столь цветущее, обратится в отвратительное косматос чудовище с острыми когтями, а глаза, столь ласковые,—

в адские угли; сзади вытянется чешуйчатый хвост, а прелестные уста станут пастью крокодила. И тут я вновь решил пытать названную дьяволицу до тех пор, пока не признается она в своей скверне, ибо такое воздействие принято в христианской церкви. Но когда, готовая к пытке, она предстала предо мною во всей наготе своей, я вдруг почувствовал себя силою волшебства в ее власти. Я почувствовал, как хрустнули старые мои кости, по телу разлился жар; в сердце закипела молодая кровь, все естество мое возликовало, и яд, проникший в меня через глаза, растопил снега моих седин. Я забыл свою христианскую жизнь и как будто вновь обратился в школяра, что, сбежав из класса, весело резвится в полях и ворует яблоки. Я не мог поднять руки для крестного знамения и уж не помнил ни церкви, ни бога-отца, ни сладчайшего спасителя. Во власти подобного помрачения шел я по улицам, вспоминая нежность одного голоса, нашептывающего мне мерзкие слова, и гнусную красоту тела сего демона. И вот тогда-то схватил меня дьявол, воткнувши свои вилы в мой мозг, как топор в сердцевину дуба, и я почувствовал, что меня словно силою толкают в узилище, невзирая на моего ангела-хранителя, который то и дело дергал меня за руку и защищал от соблазна, но я противился его святому увещанию и помощи, и вот потащили меня миллионы когтей, кои вонзились мне в сердце, потащили прямо в темницу. И двери ее открылись предо мною, но не узнал я мрачных ее сводов, ибо ведьма с помощью злых духов или колдовства построила себе шатер из пурпурных шелковых тканей, полный аромата цветов и благовоний; в шатре возлежала она, роскошно одетая, и не было на ней ни ошейника, ни цепей на руках и ногах. Я позволил снять с себя рясу и опустился в душистую ванну, после чего дьяволица обрядила меня в мавританское платье и угостила редкостными яствами, поданными на драгоценных блюдах и в золотых чашах... Азиатские вина, волшебное пение и музыка, тысячи лстивых слов проникали через мой слух в мою душу, а возле меня была она, ведьма, и ее нежные и мерзостные прикосновения вызывали в моем теле все новые и новые желания. Мой ангел-хранитель покинул меня! С той минуты я жил лишь страшными лучами мавританских очей, упивался жаркими объятиями прелестных рук, лобзаннями румяных губ, каковые зазались мне человеческими устами, и нисколько не боялся укуса жемчужных зубов, тянувших меня в самую глубину ада. Мне приятно было чувствовать на себе ни с чем не сравнимую ласку ее рук, и я не думал о том, что руки эти — сатанинские когти, я загорался, как молодой супруг подле новобрачной, не помышляя о том, что обручаюсь с гибелью вечной. Я нимало не помышлял о мирских делах и господе, я лишь мечтал о любви, о нежных персях этой женщины, которая жгла меня огнем, и об адских вратах, куда мне не терпелось кинуться. Увы, братья мои, три дня и три ночи я был прикован

к ней, любодействовал, и не истощалась сила чресл моих; руки ведьмы вонзались в меня, подобно жалу, исторгая из моего дряхлеющего тела, из моих сохнувших костей все новые любовные соки. Сначала сия чертовка, дабы привлечь меня, пролила в меня некую медовую сладость, блаженство сотнями игол пронзало мои кости, и мозг костей, и жилы, и за оной игрой воспламенилась помраченная мысль моя, моя кровь и плоть. И начал я поистине гореть адским огнем, словно клещами растягивались мои суставы, и несказанная, нестерпимая мерзость сладострастия разрешила узы моей жизни. Волосы сей дьяволицы, кои она рассыпала по бедному моему телу, лизали меня языками пламени, и косы ее казались мне прутьями раскаленной решетки. В этом смертельном наслаждении я видел перед собой ее пылающее лицо, она смеялась и говорила мне дразнящие слова. Я ее рыцарь, ее властелин, ее копьё, светлый день, ее радость, ее молния, ее жизнь, и лучше меня не было у нее возлюбленного. Она хочет еще теснее слиться со мной, войти в меня, или пусть лучше я войду в нее. Слушая то, я, ужаленный ее языком, высасывающим мою душу, еще глубже опускался в ад, где не мог сыскать дна. И когда у меня в жилах не осталось ни единой капли крови, когда душа моя едва трепетала в теле и жизнь стала меня покидать, чертовка, все такая же свежая, белая, румяная, сияющая, заулыбалась и сказала:

— Бедный дурень, вот ты думаешь, что я дьявол, а если я скажу тебе: продай мне душу свою за один поцелуй, разве ты не сделаешь того с радостью?

— Да,— сказал я.

— А если б тебе пришлось, чтобы и впредь быть со мною, испить крови новорожденных младенцев, набираясь сил, которые будешь расточать на моем ложе, ужели не стал бы ты сосать эту кровь?

— Да,— сказал я.

— А если бы ты захотел всегда оставаться моим любовником, веселым, как юноша в свои цветущие годы, полным жизни, упоенным наслаждениями, погруженным в глубины удовольствия, как пловец в волны Луары... разве ты для этого не отрекся бы от бога и не плюнул бы в лицо Иисуса?

— Да,— сказал я.

— И если б тебе предстояло еще двадцать лет монастырской жизни, разве не променял бы ты эти двадцать лет на два года обжигающей любви всегда в таком приятном движении?

— Да,— сказал я.

И тогда я почувствовал, будто сотни острых когтей раздирают мою грудь и тысячи клювов хищных птиц клюют ее с клетотом. Затем меня внезапно подняли над землей, ведьма уносила меня, махая крылами, и говорила: «Скачи, скачи, мой наездник, крепко сиди в седле, держись за гриву, за шею твоей кобылицы, мчись, мой наездник, скачи, смотри — все скачет...».

И я увидел, как в тумане, земные города и, получив особый дар прозрения, увидел многих и многих мужчин в объятиях ведьм, блудодействующих в великой разнузданности, выкрикивая слова любви, и все, вцепившись друг в друга, сопрягались в страшных корчах. Тогда моя кобылица, с головой мавританки, мчась над облаками, показала мне землю, соединявшуюся с солнцем, порождавшим мириады звезд, где миры женского начала сочетались с мирами мужского начала, и вместо слов, кои говорят твари божии, оные миры грохотали громами, меча молнии. Я несся все выше и видел над вселенной женское естество всех вещей, сочетающееся в любви с державным источником движения. И ведьма, издеваясь, кинула меня в самое средоточие сей ужасающей вековечной схватки, и я пропал там, как песчинка в море. А моя белая кобылица подгоняла меня: «Скачи, скачи, мой славный наездник, смотри — все скачет». И уразумел я тогда, сколь ничтожен священнослужитель в том вихре зачинающихся миров, где во все времена притягиваются друг к другу металлы, камни, воды, эфиры, громы, растения, рыбы, животные, люди и духи, миры и планеты, и отрекся я от веры католической. И ведьма показала мне громадное пятно туманности, растекающееся по небу; то был, сказала она, Млечный Путь — капля небесного семени, отделившаяся от потока, пролитого в сопряжении миров. И я скакал дальше на взбесившейся ведьме при свете тысячи миллионов звезд и жаждал в этом стремлении слиться с природой миллионов существ. И от сего великого усилия любви я упал, сраженный, и, падая, слышал раскаты сатанинского хохота. Я пришел в себя, лежа в своей постели. Меня окружали мои слуги, сии мужественные люди вступили в борьбу с дьяволом, вылив на мою постель ведро святой воды, вознося горячие молитвы господа богу. Но при всей их помощи я должен был еще выдержать ужасную борьбу с ведьмой, когти коей впились в мое сердце, причиняя мне невыносимые муки. Однакож, ободренный словами моих слуг, родных и друзей, силился я перекреститься, но ведьма, прячась в моей постели, в изголовье, в ногах — везде, щекотала меня, подсмеиваясь, кривляясь, вызывая передо мной множество бесстыдных видений и возбуждая во мне гнусные желания. Наконец, монсеньор архиепископ сжалился надо мной и велел принести ко мне мощи святого Гатьена, и как только святой ларец коснулся моего изголовья, названная дьяволица обратилась в бегство, оставив после себя адский серный смрад, от коего у моих слуг и друзей першило в горле целые сутки. Божественный свет, просиявший в моей душе, открыл мне, что я на пороге смерти вследствие моих прегрешений и борения моего с лукавым. И я молился о даровании мне милости продлить дни мои хоть немного, во славу господа и его церкви, во имя неocenенных заслуг Иисуса, на кресте умершего ради спасения всех христиан. За сию молитву была мне дарована милость вос-

становления моих сил для покаяния в грехах и позволено воззвать ко всем членам капитула собора святого Маврикия, дабы они содействовали мне в спасении из чистилища, где в страшных муках предстоит мне искупить грехи мои. В конце сей исповеди заявляю, что решение мое призвать суд божий по делу названной дьяволицы испытанием водой и огнем — есть не что иное, как попустительство, случившееся от лукавого наущения дьяволицы, ибо сие предоставило бы ей возможность ускользнуть от правосудия архиепископа и капитула. Дьяволица тайно созналась мне в том, что ею подговорен, для замены ее, иной дьявол, приученный к подобным испытаниям. А еще заявляю, что жертвую капитулу собора святого Маврикия все мое состояние и все имущество на построение часовни при оном храме. Прошу выстроить ее, украсить и освятить в честь святого Жерома и святого Гатьена. Первый из них мой покровитель, а второй — спаситель души моей».

Сие показание, выслушанное присутствующими, было представлено церковному суду Жеаном де ла Гэ (Иоганном Гагским).

Мы, Жеан де ла Гэ (Иоганн Гагский), великий пенитенциарий капитула святого Маврикия, избранный собранием всех членов капитула, согласно правилам и обычаю сего храма и назначенный возобновить следствие по делу дьяволицы, заключенной в темнице капитула, приказываем вновь приступить к допросам и розыску. Будут выслушаны все те граждане нашей епархии, коим известно что-либо к сему относящееся. Объявляем ранее произведенное судебное следствие, а также допросы и постановления недействительными, и от имени собрания членов капитула, решение коего непреложно, упраздняем их. Заявляем, что нет основания для божьего суда, о котором просила дьяволица, ввиду дерзко задуманного ею обмана. Сей приказ должен быть обнародован глашатаем при звуке труб в тех же местах епархии, где в прошлом месяце были обнародованы ложные решения — всего числом два, принятые по наущению дьявола, в чем и признался покойный Жером Корниль. Да помогут все христиане нашей святой церкви и да исполнят ее заповеди.

*Жеан де ла Гэ.*

#### Глава четвертая

**КАК УСКОЛЬЗНУЛА ИЗ РУК ПРАВОСУДИЯ МАВРИТАНКА  
С ГОРЯЧЕЙ УЛИЦЫ И СКОЛЬ ВЕЛИКИХ ТРУДОВ СТОИЛО  
СЖЕЧЬ И ЗАЖАРИТЬ ЕЕ ЖИВЬЕМ НАПЕРЕКОР АДУ**

*Написано в мае 1360 года в качестве завещания.*

«Мой дорогой и горячо любимый сын, когда ты прочтешь эти строки, я, твой отец, буду лежать в могиле, в надежде, что ты станешь молиться обо мне. Заклинаю тебя вести себя в жизни так,

как указывает мое письмо, заключающее в себе разумное наставление твоей семье и ради твоего счастья и благополучия, ибо составлено оно в то время, когда еще свежа в моей памяти великая несправедливость людская. В молодые свои годы я питал честолюбивые замыслы: подняться высоко в церковной иерархии и удостоиться больших почестей, и ни одна иная стезя не казалась мне столь заманчивой. Побуждаемый подобным замыслом, научился я читать и писать и ценою больших трудов приготовился вступить в ряды духовенства. Но, не имея ни покровителя, ни мудрого советчика для успехов на этом поприще, задумал я достичь цели, предложив свои услуги в качестве секретаря, писца или рубрикатора капитулу собора св. Мартина, где числились самые богатые и влиятельные особы христианского мира. Там мог я вернее всего оказать услуги лицам высокородным и тем самым снискать себе руководителей и покровителей, с помощью коих я, приняв монашество, добился бы митры, как всякий другой, и мог бы занять где-нибудь епископское кресло. Но я, честолюбивый, метил слишком высоко, и ошибку эту указал мне сам господь на деле. Мессир Жан де Вильдомир, ставший впоследствии кардиналом, перебил мне дорогу, и я был с позором отстранен. В тот печальный час я получил поддержку и помощь доброго Жерома Корниля, пенитенциария собора, о ком я часто вам рассказывал. Добряк уговорил меня пойти в писцы в капитул св. Маврикия, архиепископства города Тура, и я с честью исполнял эту обязанность, ибо славился как искусный писец. В год, когда я должен был стать священником, произошло приснопмятное разбирательство по делу дьявола с Горячей улицы, о чем и по сей день вспоминают старики, рассказывая по вечерам молодым эту историю, каковая обошла в свое время всю Францию. Чая, что за оказанную мною услугу капитул продвинет меня на почетное место и честолюбие мое будет удовлетворено, добрый мой учитель возложил на меня все письменоводство по сему важному делу.

Сперва монсеньор Жером Корниль — старец, приближавшийся к восьмидесяти годам, муж великого ума, справедливости и опыта — заподозрил наличие злого умысла со стороны обвинителей, хотя не терпел похотливых девок и в жизни своей, святой и добродетельной, никогда не имел дела с женщинами. Святость монсеньора Жерома Корниля и была причиной избрания его в судьи. После рассмотрения всех показаний и выслушав ответы бедной девки, убедился он, что, хотя сия жизнелюбивая продажная тварь есть беглая монахиня, ни в каких бесовских деяниях она неповинна, зато великие ее богатства стали предметом вожделения ее врагов и иных прочих, которых не назову тебе здесь из осторожности. В то время все считали ее столь богатой и серебром и золотом, что она могла бы, по их догадкам, купить все графство Турени, ежели б ей то заблагорассудилось. Оттого-то тысячи лживых и нелепых толков и поклепов

ходили об этой девке и почитались непреложными в роде евангельской истины, тем более что порядочные женщины завидовали ей безмерно. Удостоверясь, что эта девка не одержима никаким иным бесом, разве только любовным, монсеньор Жером Корниль уговорил ее удалиться в монастырь до конца своих дней. Затем, узнав, что некоторые смелые рыцари, стойкие в бою и богатые поместьями, вызвались сделать все возможное, дабы спасти мавританку, он тайно научил ее обратиться к обвинителям и просить суда божьего, пожертвовав при том капитулу все свое состояние и тем заставив злые языки умолкнуть. Таким образом был бы спасен от костра прелестнейший из цветов, когда-либо распускавшийся под нашими небесами. Грешила же она лишь тем, что с излишней нежностью и состраданием врачевала раны любви, которые взоры ее причиняли сердцу ее обожателей. Но дьявол истинный под видом монаха вмешался в оное дело. И вот как это произошло. Жеан де ла Гэ, злейший враг добродетелей, благонравия и святости, присущих монсеньору Жерому Корнилю, проведаль, что бедная девка живет в тюрьме, как королева, и облыжно обвинил великого пенитенциария в сообщничестве с нею и в потворстве ей якобы в благодарность за то, что, по словам сего злоязычного пастыря, она сделала старца молодым, влюбленным и счастливым. Не выдержав клеветы, несчастный старец скончался от горя, поняв, что ла Гэ поклялся погубить его, домогаясь для себя его сана. Действительно, наш господин архиепископ посетил тюрьму и увидел мавританку в прекрасном помещении, на удобном ложе и без оков, ибо, запрятав бриллианты туда, где никому и в голову не пришло их искать, купила она себе расположение тюремщика. Говорили также, что оный тюремщик пленился ею и из любви к ней, а вернее, из страха перед молодыми баронами, любовниками этой женщины, подготовлял ей побег. Бедняга Жером Корниль был уже при смерти. Стараниями Жеана де ла Гэ капитул решил следствие, произведенное пенитенциарием, а также его заключение по этому делу, объявить недействительными. Названный Жеан де ла Гэ, в то время простой викарий собора, доказал, что для того требуется признание старика на смертном одре при свидетелях. Тут господа сановники капитула собора св. Маврикия и монахи из Мармустье через архиепископа и папского легата стали мучить и терзать полумертвого старца, дабы он к вящей выгоде церкви отрекся от своего решения, на что он не пожелал согласиться. Долго терзали его, и была, наконец, мучителями составлена всенародная исповедь, при чтении коей присутствовали самые знатные лица города. Исповедь сия вызвала ужас и смятение неопишутые. По всей епархии в церквях читались для прихожан молитвы об избавлении от напасти, и каждый опасался, как бы дьявол не проник к нему в дом через печную трубу. На самом же деле признания эти исторгнуты были у бедного моего

наставника, когда он уже лежал в забытьи и твердил в бреду, что кругом кишит всякая нечисть. Очнувшись и узнав от меня, как гнусно его обманули, умирающий старик возрыдал. Он испустил дух на моих руках в присутствии своего лекаря, преисполненный отчаяния от шутовского посрамления его седин. Нам же успел он сказать, что уходит и, припав к стопам творца, будет молить господа отвратить сию бесчеловечную несправедливость. Несчастная мавританка весьма тронула его сердце слезами и раскаяниями, ибо до того, как объявить о суде божьем, он частным образом исповедал ее, благодаря чему ему открылось, сколь прекрасна душа, обитавшая в прекрасном теле. И он говорил о ней, как об алмазе, достойном украшать святой венец господа, после того как она расстанется с жизнью, раскаявшись должным образом. И вот, дражайший мой сын, поняв из того, что говорилось в городе, и из немудреных ответов несчастной мавританки, всю подоплеку одного дела, решил я по совету мэтра Франсуа де Ганжеста, лекаря нашего капитула, притворяться больным и оставить свою службу в соборе св. Маврикия и в архиепископстве, не желая обогреть рук своих в невинной крови, каковая вопиет к богу и будет взывать к нему до дня Страшного суда. Тогда выгнали прежнего тюремщика и на место его назначили второго сына палача. Он вверг мавританку в каменный мешок и, безжалостный истязатель, надел ей на руки и на ноги оковы весом в пятьдесят фунтов, а также деревянный пояс. Тюрьму стерегла стража из городских арбалетчиков и стража архиепископства. Девку мучили и пытали, дробили ей кости; сломленная страданием, она призналась в том, в чем обвинял ее Жан де ла Гэ, и была приговорена к сожжению на поле Сент-Этьен после стояния на церковной паперти в рубаше, пропитанной серой. Богатство ее должно было перейти к капитулу, и прочая и прочая.

Приговор этот оказался причиной многих волнений, кровавых стычек во всем городе, ибо трое молодых рыцарей Турени поклялись умереть за несчастную, но освободить ее любой ценой. Они вошли в город в сопровождении тысячной толпы нищих, поденщиков, старых вояк, солдат, ремесленников и прочих, коим названная девка в свое время помогала, спасая их от голода и иных бед. Рыцари обшарили все городские трущобы, где ютились те, которых она облагодетельствовала; все они поднялись и пошли к подножью горы Мон-Луи под заслоном военной силы названных рыцарей; в их ряды затесались беспутные молодцы и проходимцы, собравшиеся со всех окрестностей, и в одно прекрасное утро они окружили тюрьму архиепископства, с криками требуя выдачи мавританки, как бы для того, чтобы предать ее казни, на деле же тайно вызволить и, посадив на коня, вернуть ей свободу, ибо скакала она верхом, как наездник. В страшном людском водовороте, заполнившем все пространство меж стен архиепископства и мостами, кишело больше

десяти тысяч человек, да еще сколько забралось на крыши домов и высовывалось из окон, желая видеть мятеж. Даже на другой берег, за стены дальнего монастыря св. Симфориона, явственно доносились крики христиан;— тех, кои шли, не думая худого, и тех, кои осаждали тюрьму, намереваясь освободить бедную девку. Толкотня и давка в толпе горожан, жаждущих крови несчастной, к ногам которой упали бы все до одного, имей они счастье ее лицезреть, были столь велики, что задавили насмерть семерых детей, одиннадцать женщин и восемь мужчин: их нельзя даже было опознать, ибо останки их втоптали в грязь. И вот пасть сего толпища, сего Левиафана, яростного чудовища, разверзлась, и вопли его слышались даже в Монтиз-ле-Тур: «Смерть дьяволице! Выдайте нам ведьму! Мне кусок ее мяса! А мне клочок шерсти! Мне ногу! Тебе гриву! Мне голову! Мне то, чем она блудила! Давай сюда... Какой он, дьявол,— краснорожий? Покажут его нам? Зажарить его! Смерть, смерть ему!» Каждый кричал свое, но крики: «Жив бог, смерть дьяволу!» — неслись над толпой с такой яростью и ожесточением, что у людей стучало в висках и кровью обливалось сердце; вдобавок глухо доносились вопли из прилегающих домов. Дабы успокоить бурю, грозившую все опрокинуть, архиепископ догадался выйти из собора, с великой торжественностью неся перед собой святые дары. Это спасло капитул, ибо бунтари и названные дворяне поклялись разрушить и сжечь монастырь и перебить всех каноников. Хитрость архиепископа принудила нападающих отступить и ввиду недостатка съестных припасов разойтись по домам. Тогда туренские монахи, дворянство и горожане, опасаясь, как бы не начались наутро грабежи, сговорились на ночном сборище и отдали себя в распоряжение капитула. Множество солдат, лучников, рыцарей и горожан устроили облаву на бродяг, на бездомных, на пастухов, которые, узнавши о беспорядках в Туре, вышли на подмогу бунтарям. Многие из них были убиты. Гардуэн де Маилье, старый дворянин, вступил в переговоры с рыцарями, любовниками мавританки, и воззвал к их благоразумию. Он вопрошал их, неужто хотят они предать всю Турень огню и залить ее кровью ради смазливой девчонки! И если даже победа будет за ними, сумеют ли они совладать с проходимцами, которых привели с собой. Ведь эти разбойники с большой дороги, ограбив замки врагов, доберутся и до владений предводителей. И если уж рыцари, поднявши восстание, не одолели сразу, то могут ли они одержать верх сейчас, когда улицы очищены. Уж не думают ли они одолеть церковный капитул города, который не преминет обратиться за помощью к королю? И названный дворянин привел еще тысячи подобных доводов. Молодые рыцари возразили ему, говоря, что капитулу ничего не стоит дать узнице скрыться ночью, чем и будет устранена причина мятежа. На это мудрое и человеческое заявление ответил монсеньор де Цензорис, папский легат, разъяс-

нивший, что должно силе остаться за церковью и религией. И расплатилась за все бедная девка. Обе стороны договорились на том, что не будет никаких розысков против бунтарей, тогда уж капитул беспрепятственно мог приступить к расправе над оной девкой. А на сию церемонию стали стекаться зрители за десять лье в окружности. В тот день, когда после обедни дьяволицу должны были предать в руки властей для всенародного сожжения на костре, не только какой-нибудь простолюдин, но и аббат за ливр золота не нашли бы себе жилья в городе Туре. Многие приехали накануне того дня и ночевали за городом в палатках, на соломе. Съестных припасов не хватало, и многие, приехав с набитым брюхом, вернулись домой, щелкая зубами от голода, так ничего и не увидев, кроме полыхания костра. А всякий сброд немало поживился на дорогах, останавливая прохожих и проезжих.

Бедная куртизанка была замучена до полусмерти. Волосы ее поседели, она превратилась в скелет, обтянутый кожей, и оковы ее были тяжелее, нежели она сама. Если она в жизни и вкусила радостей, то дорогой ценой за них теперь расплачивалась. Те, мимо которых ее вели, рассказывали, что она так громко плакала и кричала, что сжалился бы над ней самый яростный ее мучитель. В церкви пришлось заткнуть ей рот, и она грызла кляп, как ящерица палку. Потом палач привязал ее к столбу, чтобы поддержать, ибо она падала с ног от слабости. И вдруг откуда-то взялись у нее силы, она сорвала с себя веревки и бросилась бежать по церкви и, припомнив прежние свои привычки, весьма проворно вскарабкалась на хоры, порхая, как птица, вдоль колонок и резных фриз. Еще немного, и она спаслась бы на крышу, но какой-то страж выстрелил в нее из арбалета и всадил ей стрелу в щиколотку. Столь велик был страх бедной девки перед костром, что даже с такою, почти совсем отбитой ступней, она еще долго бегала по церкви, невзирая на свою рану, наступая на раздробленную кость и обливаясь кровью. Наконец, ее поймали, связали, бросили в телегу и повезли к костру. Криков ее больше никто не слышал. Рассказ о беге ее по церкви утвердил в народе веру, что она действительно дьяволица. Нашлись такие, что клялись, будто летала она по воздуху. Когда городской палач бросил ее в огонь, она два-три высоко подпрыгнула и упала вглубь костра, который горел весь день и всю ночь.

На следующий день вечером я пошел взглянуть, осталось ли что от этой женщины, столь нежной и любящей, но ничего не нашел, кроме маленького обломка грудной кости, сохранившего, несмотря на столь сильный жар, еще некую влажность, и, по словам горожан, кость эта еще трепетала, как женщина, охваченная страстью. Я не сумею передать тебе, дражайший сын, какое великое огорчение лежало бременем на моей душе еще не менее десяти

лет, ибо не мог я забыть этого ангела, загубленного злыми людьми, и всечасно видел перед собой глаза, полные любви; словом, неизъяснимая краса бесхитростного этого создания сверкала и днем и ночью в моей памяти; я молился за оную женщину в церкви, где ее терзали. Наконец, скажу и то, что не мог я без содрогания и ужаса смотреть на великого пенитенциария Жеана де ла Гэ. Он умер, заденный вшами. Проказа покарала судью. Огонь сжег дом и жену менялы Жаана. И всех, причастных к тому костру, постигло наказание.

Все это, мой возлюбленный сын, и породило у меня те мысли, какие я изложил здесь, дабы они навсегда служили правилом поведения в нашей семье.

Я оставил духовное поприще и женился на вашей матери; с нею изведаль я сладость чувств и делил с ней жизнь, имущество и душу мою — словом, все. И она согласилась со мной в справедливости следующих предписаний. *Во-первых*, чтоб жить счастливо, надо держаться подалеже от служителей церкви. Их надо чтить, но не пускать к себе в дом, равно как и всех, кои по праву, а то и без всякого права, мнят себя выше нас. *Во-вторых*, занять надо скромное положение, не стремясь возвыситься, либо казаться богаче, чем ты есть на самом деле. Не возбуждать ничьей зависти и не задевать никого, ибо сразить завистника может лишь тот, кто силен подобно дубу, глушащему кустарник у своего подножья. Да и то не избежать гибели, ибо дубы в человеческой роще весьма редки, и не следует Турнебушам называть себя дубами, ибо они просто Турнебуши. *В-третьих*, не тратить больше четверти своего дохода, скрывать свой достаток, молчать о своей удаче, не брать на себя высоких должностей, ходить в церковь наравне с другими и таить про себя свои мысли, ибо таким образом они останутся при вас и не попадут к иным прочим, кои присваивают их себе, перекраивают на свой лад, так что оборачиваются они клеветой. *В-четвертых*, всегда оставаться Турнебушем и только, а Турнебуши суть суконщики и пребудут таковыми во веки веков. Выдавать им дочерей за отменных суконщиков, сыновей посылать суконщиками в другие города Франции, снабдив сим наставлением в благоразумии, вырастить их во славу суконного дела, обуздывая их честолюбивые мечтания. *Суконщик, равный Турнебушу*, — вот слава, к коей должны они стремиться, вот их герб, их девиз, их титул, их жизнь. И, пребывая навеки суконщиками, Турнебуши навсегда останутся безвестными, ведя жизнь смиренную, как безобидные малые насекомые, кои, раз угнездившись в деревянном столбе, просверливают себе дырочку и в тиши и в мире разматывают до конца свою нить. *В-пятых*, никогда не говорить ни о чем другом, как только о суконном деле, не спорить ни о религии, ни о правительстве. И если даже правительство государства, наша провинция, наша религия и сам бог перевернутся или вздумают шататься вправо или влево, вы, Тур-

исбуши, спокойно оставайтесь при своем сукне. И так, никому в городе не мозоля глаза, Турнебуши будут жить скромно, окруженные Турнебушами-младшими, платя исправно церковную десятину и все, что их вынудят платить силой — богу или королю, городу или приходу, с коими никогда не следует ссориться. Итак, надо беречь отцовское богатство, чтобы жить в мире, купить себе мир и никогда не должать, иметь всегда запас в доме и жить припеваючи, держа все двери и окна на запоре.

Тогда никто не одолест Турнебушей — ни государство, ни церковь, ни вельможи, коим при надобности давайте в долг по несколько золотых, не надеясь их увидеть вновь (я имею в виду золотые). Зато все и во все времена года будут любить Турнебушей, будут смеяться над Турнебушами, над мелкими людишками Турнебушами, над мелкотравчатыми Турнебушами, над безмозглыми Турнебушами... Пусть болтают глупцы, что им вздумается! Турнебушей не будут жечь и вешать на пользу короля, церкви или еще на чью-нибудь пользу. И мудрые Турнебуши будут жить потихоньку, беречь денежки, и будет у них золото в кубышке и радость в доме, от всех сокрытая.

Итак, дражайший сын мой, следуй моему совету: живи скромно и неприхотливо. Храни сие завещание в твоём семействе, как провинция хранит свои грамоты. И пусть после твоей смерти твой родопродолжатель блюдет мое наставление, как святое евангелие Турнебушей,— до тех пор пока сам бог не захочет, чтобы род Турнебушей перевелся на земле».

Письмо это было найдено при описи, произведённой в доме Франсуа Турнебуша сеньора де Везез, канцлера его высочества дофина, приговоренного парижским парламентом в дни мятежа против короля к казни через отсечение головы с конфискацией всего имущества. Письмо было передано губернатору Турени как историческая достопримечательность и приобщено к судебным протоколам Турского архиепископства мною, Пьером Готье, купеческим старшиной и старостой цеховых мастеров.

Когда автор настоящего повествования завершил, наконец, переписывание, разбор пергаментов и перевод их на французский язык с того малопонятного языка, на котором они написаны, даритель этих документов сообщил ему, что Горячая улица, по мнению некоторых лиц, обязана своим названием тому, что она бывает освещена солнцем дольше, нежели другие улицы в городе. Но вопреки такому толкованию люди проницательного ума увидят в этом наименовании пламенный след, оставленный дьяволицей. Автор разделяет их мнение. Рассказанное здесь наставляет нас не злоупотреблять плотскими радостями, а пользоваться ими разумно, радея о спасении своей души.

## СОДЕРЖАНИЕ

Евгения Гранде. Перевод Ю. Верховского . . . . .	
Силуэт женщины. Перевод Н. А. Коган . . . . .	
Второй силуэт женщины. Перевод Н. А. Коган . . . . .	
Ведьма. Перевод Н. Соколовой . . . . .	

Оноре де Бальзак

ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ

РОМАН. РАССКАЗЫ.

Редактор *М. Вайсман*.

Художники *Б. Шварев, Т. Борисова*

Сдано в набор 09.10.92. Подписано в печать 23.10.92  
Формат 60 × 88 1/16 Бумага офсетная № 2  
Гарнитура ТАЙМС. Тираж 50.000 Заказ 3279.

2-я типография изд-ва «Наука»  
121099 Москва Шубинский пер., 6

